...ШИХ ПОЛИТКАТОРЖАН И ССЫЛЬНО-ПОСЕЛЕНЦЕВ

М. Ю. АШЕНБРЕННЕР

ВОЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАРОДНОЙ ВОЛИ

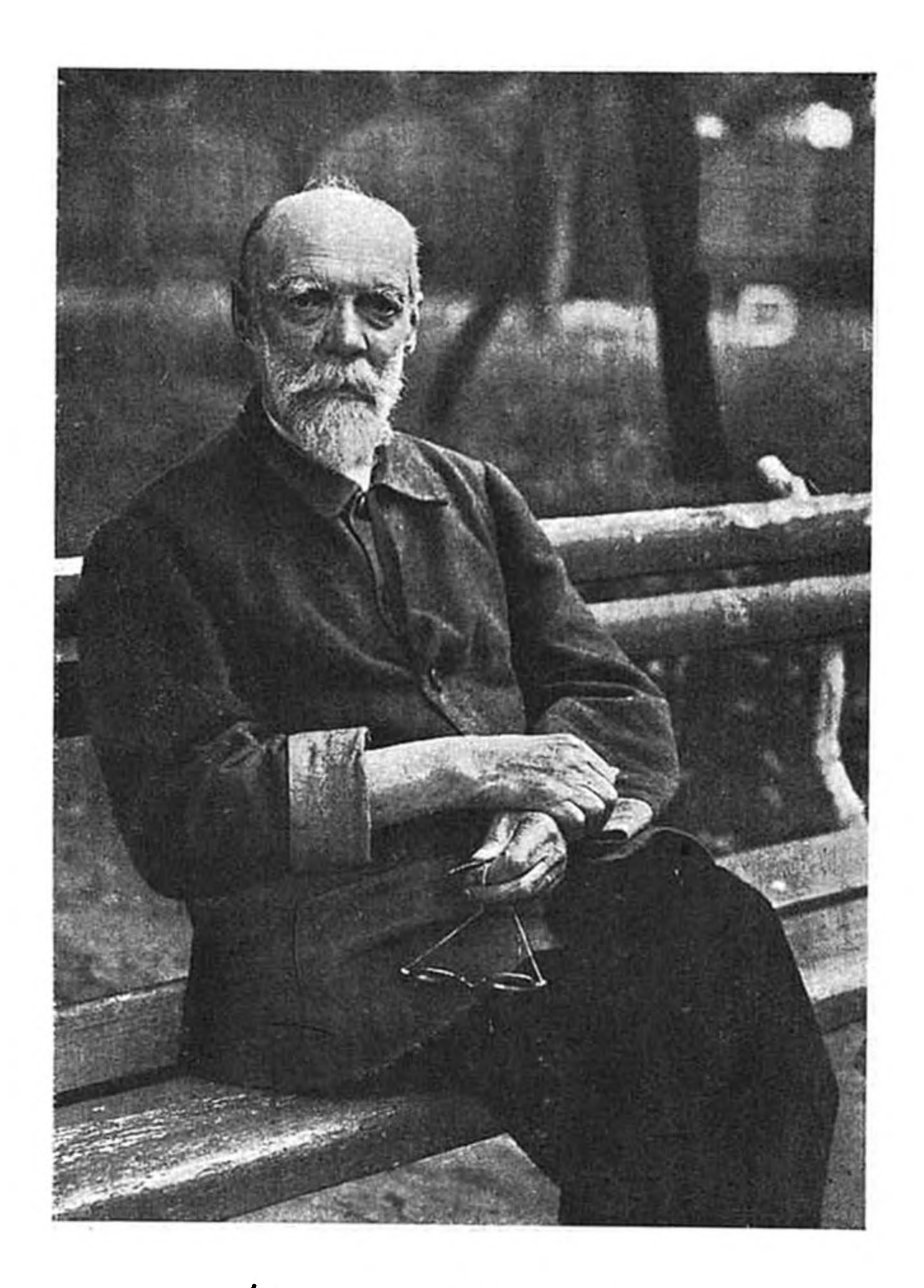
И ДРУГИЕ

ВОСПОМИНАНИЯ

(1860—1904 г.г.)

Редакция Н. С. Тютчева

МОСКВА
1924



Михаил Юльевич Ашенбреннер.

(1923 г.)

ОБЩЕСТВО БЫВШИХ ПОЛИТКАТОРЖАН И ССЫЛЬНО-ПОСЕЛЕНЦЕВ

М. Ю. АШЕНБРЕННЕР

ВОЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАРОДНОЙ ВОЛИ

и другие

ВОСПОМИНАНИЯ

(1860 — 1904 г.г.)

Редакция Н. С. Тютчева



МОСКВА
1924



Петрооблит. № 1293. Отпеч. 4.000 экз.

О М. Ю. АШЕНБРЕННЕРЕ И ЕГО ВОСПОМИНАНИЯХ.

Центральную часть воспоминаний М. Ю. Ашенбреннера составляют его очерки военно-революционной организации партии «Народной Воли». Военная организация «Народной Воли» захватывала в свое время целую сеть городов и местечек тогдашней России, имея два естественных центра, на севере—в Кронштадте и Петербурге и на юге—в Одессе и в Николаеве. Опорой ее была не только армия, но и флот и его части, на юге—в Николаеве, на севере—в Кронштадте. Тут же в Кронштадте и Петербурге помещался главный штаб военной организации, ее центральный кружок (Центральный Комитет), первые кадры которого были заложены еще в 1879—1880 г.г. Желябовым и Колоткевичем. Этот центральный кружок, в состав которого позже должен был войти и М. Ю. Ашенбреннер, являлся руководителем всей военной организации, находясь в то же время в непосредственном подчинении директивам Исполнительного Комитета. Главная деятельность М. Ю. Ашенбреннера протекала, однако, не в этой центральной части военной организации,—тут она еще не успела развернуться,—а в местных группах, именно на юге, в Одессе и в Николаеве, где он являлся, начиная с средины 1870-х годов, наиболее крупным лицом, группировавшим около себя наличные революционные силы в армии и отчасти во флоте. Этим же южным кружкам и их деятельности посвящены напечатанные ниже воспоминания М. Ю. Ашенбреннера. Для южных военных народовольческих кружков эти воспоминания имеют такое же значение, как большая работа В. Н. Фигнер: «Народная Воля после 1 марта 1881 г.» для общей истории военной организации, или как очерки Э. А. Серебрякова: «Революционеры во флоте», для морских кружков Кронштадта. Взятые в целом эти три работы дают богатый материал для характеристики военной организации народовольцев и их взглядов на то, как должен был быть совершен переворот в России, и к чему он мог стремиться.

Правительство придавало деятельности М. Ю. Ашенбреннера очень крупное значение, что и понятно. В «Обзоре важнейших дознаний» за первое полугодие 1883 года об Ашенбреннере находим такие строки:

«Из числа арестованных офицеров как по характеру деятельности, так и по значению, которым они пользовались в среде тайного преступного общества, несомненно выделяются: Похитонов, Рогачев и Ашенбреннер. Имея постоянные и близкие сношения с руководящими членами преступного сообщества, они в последнее время намечались как лица, на коих предполагалось возложить ответственные поручения и организацию отдельных предприятий. Деятельность первых двух вполне выясняется данными ими подробными и откровенными показаниями, подтверждаемыми прочими обстоятельствами дела. Что же касается Ашенбреннера, то он признал лишь принадлежность свою к «социально-революционной партии», заявив, что вступил в тайное сообщество в течение 1882 года, вследствие личных убеждений, которые складывались у него мало-по-малу в течение многих лет. Руководясь теми же убеждениями, он минувшей осенью взял 11-ти месячный отпуск и приехал в Петербург с тем, чтобы ближе познакомиться с членами партии, завязать с ними сношения, а затем, выйдя в отставку, окончательно посвятить себя революционной деятельности. Показание это не вполне точно,—прибавляют авторы «Обзора»,—знакомство Ашенбреннера с Петровым и Фигнер, по данным дознания, относится к весне 1881 года, и в этом же году Ашенбреннер уже положил начало Николаевскому кружку».

Показание это, действительно, не вполне точно, как читатель может видеть из всего текста воспоминаний М. Ю. Ашенбреннера; не вполне точны также и другие утверждения авторов «Обзора»,—тем не менее приведенная цитата очень ярко отражает отношение правительства к М. Ю. Ашенбреннеру. Его имя авторы «Обзора» ставят на одном ряду с именами Рогачева и Похитонова, считая всех троих кандидатами в центральный военный кружок, как то и было на деле. Все трое дорого поплатились за свою роль в военной организации. Похитонов вместе с Ашенбреннером был заточен в Шлиссельбург, где и нашел себе могилу. Рогачев был повешен, тоже в Шлиссельбурге, 10 октября 1884 г. (вместе с Штромбергом). Что касается М. Ю. Ашенбреннера, то долгое время после суда его считали как на воле, так и в Шлиссельбурге, тоже погибшим. Трудно теперь сказать, как сложилось в революционных кругах такое убеждение, но оно существовало и прочно держалось в течение нескольких лет. На воле, после приговора, которым 7 человек осуждались на казнь, в том числе и Михаил Юльевич, многие долгое время оставались в убеждении, что он действительно казнен («расстрелян»),

так же как и его сопроцессники, Рогачев и Штромберг, выданные Дегаевым, как, впрочем, и остальные подсудимые. Этот слух, в правдивости которого никто не сомневался, продержался чуть ли не до конца 1880-х годов, и только после того, как из Шлиссельбурга вышел В. А. Караулов (освобожден 15 ноября 1888 г.), он, и то не сразу, сообщил в Красноярске, через Н. С. Тютчева, некоторые сведения о Шлиссельбурге, в том числе и весть о М. Ю. Ашенбреннере. Только со слов Караулова впервые и стало известно на воле, что Ашенбреннер, которого считали все погибшим, жив и находится в Шлиссельбургской крепости [1]).

Но не только на воле, а и в самом Шлиссельбурге первое время твердо держалось убеждение, что М. Ю. Ашенбреннер—расстрелян. Первые годы в Шлиссельбурге Михаил Юльевич содержался в камере № 40, крайней угловой юго-западного крыла. Это был самый тяжелый период всей Шлиссельбургской жизни. Ашенбреннер, сам рассказывает о нем в одном из писем следующее: «Первые годы я сидел в № 40. Этот угол из восьми камер (четыре вверху и четыре внизу) отделялся от прочей тюрьмы выходными дверями. Рядом со мною, в 39-м номере, сидел больной и безгласный Юрковский. № 38 пустовал. В № 37 умирал Долгушин. Подо мной была пустая камера. Далее внизу сидели тяжко больные Геллис, Немоловский и Фроленко. Так что в этом углу я один был здоров и с больными не перестукивался». Несколько позже Михаила Юльевича перевели в одну из ближайших камер того же крыла, и у него оказался сосед—К. Ф. Мартынов (Борисевич). Оторванность от товарищей этим уничтожалась, но на смену ей пришла новая беда. Когда М. Ю. начал перестукиваться с Мартыновым, и на его вопрос: «кто он?», ответил, что он—Ашенбреннер, то Мартынов не только ему не поверил, но и осыпал его самыми резкими словами, при чем из дальнейшего выяснилось, что Мартынов считал Ашенбреннера давно погибшим вместе с Рогачевым и Штромбергом, и был убежден поэтому, что в соседней камере кто-то, вернее всего жандарм, мистифицирует его, выдавая себя за погибшего товарища. И Михаилу Юльевичу стоило больших усилий убедить своего соседа, что он действительно есть тот самый Ашенбреннер, за которого он себя выдает, до такой степени Мартынов, как и некоторые другие шлиссельбуржцы, был убежден, что он рас-

---

[1]) О Караулове см. у В. Н. Фигнер в книге «Запечатленный Труд», том II «Когда часы жизни остановились», изд. «Задруги», стр. 98, слова: «В 1888 году, перед выходом Караулова, мы стали давать ему маленькие поручения, прося дать весточку нашим родным. Но к нашему удивлению ни одно из поручений не было исполнено, хотя Караулов жил в таком сравнительно большом городе, как Красноярск».—Караулов не передал даже стихотворения «К матери», которое переслала с ним В. Н. Фигнер.

стрелян. К счастью, однако, и в этом случае оправдалась русская примета: живут долго те, которых преждевременно похоронили. Так случилось и с М. Ю. Ашенбреннером:—вот уже минует двадцать лет как он вышел из Шлисельбурга, и мы перед празднованием 82-ой годовщины со дня его рождения!

Эта 82-х летняя жизнь М. Ю. Ашенбреннера как бы разбилась на четыре двадцатилетия:—со дня рождения до начала 1860-х годов, до момента его сознательной жизни (1842—1862), с начала шестидесятых годов до начала 1880-х годов,—период подготовки к революционной борьбе и работы в рядах «Народной Воли»; затем двадцать лет Шлиссельбурга, и еще двадцать лет нового периода вплоть до революционных бурь нашего времени. До 1862 года или, точнее, до начала Польского восстания, мы видим М. Ю. Ашенбреннера в периоде формирования как взглядов его, так и характера. Тут он сначала кадет московского корпуса, военной бурсы того времени, потом юный офицер, глубоко воспринимающий веяния той эпохи. Он ученик Чернышевского и Добролюбова, сторонник Фейербаха, молодой прозелит наростающего революционного движения. Во время Польского восстания он попадает в разряд «неблагонамеренных», как озаглавлена одна из глав его военных воспоминаний, потом он офицер, проходивший тяжелую военную, в том числе боевую школу, и, наконец, в последней стадии этого двадцатилетия,—он в рядах военно-революционной организации. Потом, как уже сказано выше, двадцать лет его жизни отнимает Шлиссельбург, но за Шлиссельбургом новые двадцать лет свободной жизни. Ашенбреннер один из последних могикан народовольческого периода, прошел все стадии развития революционной России, от освобождения крестьян в начале 1860-х годов, до освобождения от царизма в наши годы. Его жизнь в этом отношении заслуживает тщательного изучения и подробного ознакомления с тем, как она шла,—она не только индивидуальна, но представляет и социальный интерес.

Теперь М. Ю. Ашенбреннер сам дает это описание в предлагаемом сборнике его воспоминаний. Они написаны были им не сразу, и не по заказу. Первыми в печати появились его воспоминания о Шлиссельбурге («Былое» № 1 за 1906 г.), потом военные воспоминания, потом о «Народной Воле». Из этих очерков особенно характерны для автора воспоминания о Шлиссельбурге, написанные сжато и схематично, но мастерски. Местами это даже не характеристика шлиссельбургской жизни за двадцать лет, а програма для дальнейшего изучения истории этой крепости, набросанная человеком глубоко, можно сказать, философски продумавшим ее судьбы за 20 лет, им там проведенные. В складе мышления М. Ю. Ашенбреннера есть вообще эта философская черта; и на воле, еще в 1860-х годах,

и в самой крепости он много занимался философией, да и в самих воспоминаниях он зачастую больше размышляет путем разного рода обобщений, чем дает простое описание, что обычно встречается у мемуаристов. Это делает воспоминания М. Ю. Ашенбреннера непригодными для любителей легкой мемуарной литературы, но тем более ценными для людей, желающих понять и осмыслить все нами пережитое за прежнее время.

Приблизительно такой же характер, как очерки о Шлиссельбурге, носят и воспоминания М. Ю. Ашенбреннера о военной организации «Народной Воли», представляющие, как мы сказали, центральную часть его книги. Дважды в своей жизни М. Ю. Ашенбреннер возвращался к воспоминаниям о военной организации «Народной Воли». Первоначально, вскоре после выхода из Шлиссельбурга, он поместил об этом небольшую, но очень интересную статью в журнале «Былое» за 1906 г. (кн. VII-ая), потом, уже в конце 1910 г., он написал ту большую статью на эту же тему, которая недавно еще была воспроизведена в № 7 журнала «Каторга и Ссылка». Обе эти статьи в некоторых частях повторяли одна другую, поэтому в настоящем издании, дабы избежать повторений, взята за основу вторая из них, как более полная и более новая по времени, но она несколько дополнена включением в нее целых отрывков из первой статьи. Едва-ли, однако, читатель заметит без указания со стороны это соединение двух статей в одну, так органически сплетается тут текст обеих этих работ. Происходит это потому, что оба указанные очерка написаны не только одной и той же рукой, но и по одному и тому же типу, столь свойственному М. Ю. Ашенбреннеру. Склонность к обобщениям и некоторой схематизации здесь, как и в статье о Шлиссельбурге, несколько превалирует над простым описанием событий. Автор, иногда даже к досаде читателя, слишком поспешно проходит мимо отдельных характеристик, а также более подробной передачи отдельных более значительных фактов, он скуп вообще на красочные описания; вместо характеристики фактов он слишком часто ограничивается простой регистрацией их места в набросанной у него схеме. Правда, в воспоминаниях о военно-революционной организации «Народной Воли» он уделяет больше внимания, чем в воспоминаниях о Шлиссельбурге, отдельным фактам, событиям, а также отдельным лицам; порой он становится тут даже просто бытописателем, и еще больше входит в эту роль в чисто военных воспоминаниях о своем прошлом; но в общем и тут он предпочитает путь схематизации пути художественных характеристик, и даже статью о военных воспоминаниях неожиданно для читателя кончает формулировкой нескольких положений для своей схемы. Словом, М. Ю. Ашенбреннер не художник-мемуарист, как, например, В. Н. Фигнер, обладающая тургеневским

талантом в своих описаниях прошлого; но про него не будет преувеличением сказать, что он мемуарист-философ. Его, быть может, не станут поэтому так много (и так легко) читать, как других, но более чем кого иного будут **и з у ч а т ь**.

Есть один пункт в воспоминаниях М. Ю. Ашенбреннера о военно-революционной организации «Народной Воли», который как раз в этом отношении заслуживает особенного внимания. Это именно то место II-ой части настоящей книги, где М. Ю. Ашенбреннер рассказывает, к сожалению, опять-таки чрезвычайно скупясь на разного рода подробности, изгоняя их с философской ригористичностью,—о приезде на юг делегата центрального военного кружка А. В. Буцевича, лейтенанта флота, впоследствии погибшего в Шлиссельбурге. Это место чрезвычайно типично для того времени, так как тут идет речь о планах переворота, выработанных в центре и привезенных Буцевичем для ознакомления с ними южных кружков. Революционное движение 1870-х годов, как, впрочем, и всего XIX века, начиная еще с декабристов, разрешало в сущности одну и ту же проблему: проблему о методах действия при совершении социального переворота. Что самый переворот должен быть совершен,—в этом ни у кого не возникало сомнений; что народ к нему в сущности уже подготовлен и ждет только сигнала к общему выступлению,—в это тоже, особенно в начале 1870-х годов, в момент безраздельного влияния Бакунина, глубоко верили в революционных кругах. Возбуждало сомнения и дебаты не эта вера, а только то, каким путем и какими средствами переворот должен быть и может быть совершен. Долгое время спустя после того, как движение той эпохи было разбито, все эти дебаты и разногласия казались нам чрезвычайно академичными и безнадежно оторванными от жизни. «Революционные планы 1870-х годов, даже когда они развивались очень серьезными людьми, кажутся нам теперь совершенно детскими»,—сказал даже однажды в «Истории моего современника» Вл. Г. Короленко. События нашего времени показали, однако, что эти планы социального переворота и эти ожидания, что он может придти столь же внезапно, как жених во полунощи, вовсе не были столь наивны и академичны. Напротив! История нам дала теперь колоссальный, можно сказать, **м и р о в о й** опыт, обладая которым мы можем иначе, чем еще в недавнее время, отнестись и к событиям прошлого. Через этот опыт, как через своего рода объектив, мы можем свободно рассмотреть такие детали и особенности прошлого, которые раньше были незаметны нашему еще невооруженному глазу. С этой же точки зрения мы должны отнестись и к тому рассказу о планах Буцевича, которые вводит в свои воспоминания М. Ю. Ашенбреннер. И если мы это сделаем, то увидим, как многие, прежде нам казавшиеся столь «детскими» предполо-

жения тех же народовольцев, обрисуются теперь пред нами совсем в иных чертах.

«Народная Воля» прежде всего была партией действия. Недостаток активизма—*воли к действию*—составлял коренную и самую пагубную черту русского революционного движения XIX века. Отсутствие этой воли к действию погубило, в сущности, еще декабристов, которые в 1825 г. на Сенатской площади были так близки, как это мы теперь знаем, к победе. Перед «Народной Волей», как партией действия, воплощавшей волевое начало в русском народе (всегда у него менее заметное, чем другие начала), стояла простая, конкретная и вполне достижимая, при тогдашнем состоянии и соотношении общественных сил, задача. Это задача—низвержение самодержавия. Тот период, когда, еще во времена бакунизма, перед взорами революционеров 1870-х г.г. рисовалась несколько туманная, то тем более грандиозная возможность всеобщего народного, главным образом, чисто крестьянского восстания, со всеми его последствиями для социального переустройства (союз вольных крестьянских общин, как основа для общежития), уже закончился. Во времена «Народной Воли» на такое всесокрушающее восстание уже не рассчитывали с догматической суровостью, как в предыдущую эпоху (1870—1876 г.г.), окрашенную могучим влиянием Бакунина. Не деревня, а город стал вообще теперь привлекать внимание революционных руководителей. Момент этот нашел чрезвычайно яркое отражение в одном замечательном документе той эпохи, именно в записке «Подготовительная работа партии», составленной Исполнительным Комитетом Народной Воли еще в 1879—1880 г.г. Для более ясного понимания многих мест в воспоминаниях М. Ю. Ашенбреннера напомним такой, например, абзац из раздела под литерой «в» этого документа. Этот раздел называется: «Городские рабочие», и мы в нем читаем:

«Городское рабочее население, имеющее особенно важное значение для революции как по своему положению, так и относительно большей развитости, должно обратить на себя серьезное внимание партии. Успех первого нападения всецело зависит от поведения рабочих и войска. Если партия заранее заручится такими связями в рабочей среде, чтобы в момент восстания имела возможность закрыть фабрики и заводы, взволновать массы и двинуть их на улицы (с сочувственным, конечно, отношением к восстанию),—это уже на половину обеспечит успех дела. С другой стороны, городские рабочие, в силу своего положения, явятся представителями чисто народных интересов, и от их более или менее активного отношения к восстанию, к мерам временного правительства, к самому составлению временного правительства значительно зависит весь характер движения и степень полезности революции для народа».

Ашенбреннер, а также В. Н. Фигнер в вышеуказанной статье неоднократно упоминают о попытках «Народной Воли» слить рабочее движение, тогда, конечно, еще только зарождавшееся, с революционным движением в армии, и эти их указания при сопоставлении их с приведенной цитатой принимают весьма показательное значение. Нет никакого сомнения, что эти попытки первоначально диктовались потребностями *практики* революционного движения, но в той же практике, как это всегда бывает, частью находила отражение, а частью—стимул для своего дальнейшего развития новая теория общественного переворота, вырабатывавшаяся в то время, а отчасти и уже выработанная народовольцами. С отрицательной стороны это новое состояло в принципиальном разрыве с бакунинскими упованиями на стихийно-самопроизвольное крестьянское восстание, из самого себя творящее, в порыве революционного вдохновения, новый строй и новые формы экономического быта. Этот практический разрыв с бакунинской теорией стихийного переворота нашел тогда и отражение в чисто теоретической литературе, в виде той критики, так называемого «бессознательного подражания», о которой М. Ю. Ашенбреннер так характерно упоминает не раз в статье о Шлиссельбурге. Эта теория бессознательного стихийного или коллективного подражания, созданная в то время Н. К. Михайловским (в 1878—1882 г.г.), была им всецело противопоставлена бакунинской вере в всеисцеляющее значение народной стихии. Теория социального переворота «Народной Воли» не могла не считаться, конечно, с ролью этой стихии в деле разрушения старого строя, но она поставила себе целью подчинить ее регулирующему руководству центральной власти, распоряжение которой должно было перейти к представителям народных низов. Не случайно поэтому народовольцы говорили иногда о «захвате власти», вкладывая в этот термин, впрочем, особое содержание.

Теория социального вопроса связалась у «Народной Воли» в силу сказанного с теорией организации *власти*,—с государственным началом. Здесь лежал последний этап разрыва народовольцев с бакунистами.

Чрезвычайно любопытно отметить, что в воспоминаниях М. Ю. Ашенбреннера совершенно не отразился момент бакунинской гегемонии в общественном движении. Сам М. Ю. Ашенбреннер его, можно сказать, совершенно не переживал, он прошел где-то над ним, над его головой, не задевая ничем ни его сознания, не отражаясь на его общем политическом поведении. Между тем М. Ю. Ашенбреннер во времена бакунизма находился в России и, можно сказать, чуть что не в самом центре деятельности так называвшихся тогда «южных бунтарей». Был он знаком и с ними лично, о чем он сам рассказывает в одной из глав своих

воспоминаний о военной организации. Так, например, еще в 1875 г. он встречался с таким характерным по тому времени народником—революционером, как М. Ф. Фроленко, с его будущим сотоварищем по Шлиссельбургу. Несмотря на это Ашенбреннер оставался в стороне от тогдашнего революционного движения. Он был причастен к нему, но оно его не захватывало и не могло захватить. Это случилось потому, что бакунинская теория общественного переворота не давала места армии, как самостоятельной организованной единице, между тем как Мих. Юл. продолжал быть с нею связанным. И так продолжалось до периода «Народной Воли», коренным образом изменившей всю постановку вопроса о самом перевороте и о способах к его достижению. Конечно, раз «Народной Волей» вместо подготовки общекрестьянского стихийного восстания с целями чисто социального переворота была поставлена задача переворота политического, как *пролога* к перевороту социальному,—то и для армии в этом случае нашлось вполне определенное и крупное место. В цитированной выше записке о «Подготовительной работе партии» об этом говорится в следующих выражениях:

«Значение армии при перевороте огромное. Можно сказать, что, имея за собой армию, можно низвергнуть правительство даже без помощи народа; а имея армию против себя, ничего, пожалуй, не достигнешь и с поддержкою народа. При настоящих условиях, однако, пропаганда между солдатами затруднена в такой степени, что на нее едва-ли можно возлагать много надежд. Гораздо удобнее воздействие на офицерство: более развитое, более свободное, оно более доступно влиянию. Между тем, в момент переворота, конечно, никто не может склонить солдат на сторону восстания лучше, чем популярный офицер, обращающийся к своим солдатам с соответствующими указаниями и предложениями. Наконец, если бы дух роты или батальона не допускал такого обращения, то командир все-таки может повести солдат не туда, куда приказано, может их удержать от пальбы, заставить отступить, деморализовать бесцельными переходами и т. д. В виду всего этого офицерство должно быть предметом самого внимательного воздействия», и пр.

Ашенбреннер сам являлся именно таким популярным офицером в своей среде, популярным и авторитетным не только для тогдашнего командного состава, но и для солдат. Лучше, чем кто иной, он мог выполнить на собственном примере всю набросанную здесь программу, так рельефно формулировавшей собственно то самое, что говорил Ашенбреннеру приехавший с севера Буцевич во время их свидания в 1882 г. Это была новая, чисто *реалистическая* постановка вопроса о перевороте, при которой целиком могли быть использованы силы всей армии и таких

военных, каким был Ашенбреннер. Неудивительно поэтому, что он тотчас же и всецело примкнул к этой новой организации революционных сил, быстро став кандидатом на одно из самых центральных в ней мест. К этому его толкали не только личные склонности, но и вся логика тогдашних событий.

Народовольцы в приведенном отрывке из записки о «Подготовительной работе партии» рассуждали как практики, ка́к люди, конкретно решающие известные задачи. В качестве практиков они должны были исходить при выработке своей тактики из того материала, который могли считать уже подготовленным для борьбы. Отсюда две характерные черты, очень ярко выступавшие в приведенной цитате, и повторяющиеся всюду у М. Ю. Ашенбреннера. Первая черта известный скептизм по отношению к солдатской массе; вторая—перенесение центра тяжести своего внимания на офицерские слои. Для военной работы народовольцев обе эти черты были очень характерными. Революцию они представляли себе как народное движение, направляемое регулирующим влиянием из известного центра. Отсюда их стремление занять все те пункты, из которых было бы удобнее всего проявлять такое регулирующее влияние, что и приводило их к необходимости иметь за собой прежде всего командный состав. Но из этого не следовало, разумеется, что солдатскую массу они оставляли на произвол судьбы, не интересуясь ее политическим воспитанием и ее самостоятельной ролью в перевороте. Это не могло быть просто уже потому, что они были *народниками*, как говорилось в программе Исполнительного Комитета,—т.-е. демократами, людьми стоявшими принципиально на классовой, как сказали бы теперь, точке зрения. Солдаты для них были—«народом», представителями идеи рабочего класса, и оставлять их без внимания они не могли, хотя и считали, что направлять туда для пропаганды и для политического воспитания офицерские силы—неблагоразумно. Эти силы, командные верхи, сохранялись ими для целей непосредственного переворота, в солдатские же массы для их организации и пропаганды они предполагали направлять и действительно направляли, как об этом говорят и В. Н. Фигнер и М. Ю. Ашенбреннер,—*городских рабочих*. Офицерский состав должен был указывать те места, где пропагандисты из рабочих могли бы найти наиболее благоприятную почву, предоставляя затем на их ответственность дальнейшую подготовительную работу к перевороту. Действуя таким образом, они достигли бы, как им казалось (вполне при том разумно), наибольших результатов при перевороте.

Но у тех же офицерских слоев в данном случае была еще одна чисто уже боевая задача, о которой также мы находим сведения в программе действий, развивавшихся Буцевичем перед Ашенбреннером. Буцевич привез с собой на юг план переворота,

исходным пунктом которого должен быть явиться захват на одном из смотров царя, с его приближенными, и истребление, если это потребуется, всей династии. Истребление не иносказательное и условное,—а прямое, физическое. Народовольцы и в этом случае рассуждали, как практики, полагающие, что революции совершаются суровыми мерами, исключающими всякую сентиментальность. Этой непреклонной суровостью отличался и тот план, который развивал Буцевич и который был полностью принят, при переговорах с ним М. Ю. Ашенбреннером. В свое время, может быть, царь узнал о такого рода планах, и неудивительно, что суд вынес по этому делу семь смертных приговоров. Не удивительно также, что и лично на М. Ю. Ашенбреннере сосредоточилось тогда особенное негодование правительства. Когда его арестовали—он уже был подполковником, человеком с большим военным прошлым. Среди арестованных он являлся самым старшим по возрасту,—ему исполнилось в момент ареста 40 лет, тогда как остальные арестованные были в возрасте 25—35 лет. О том, что он действовал, не отдавая себе отчета в последствиях своих поступков,—не могло быть и речи. Правительство не подозревало, конечно, что люди с таким серьезным военным опытом, настолько популярные в своей среде, могли бы перейти на сторону террористов «Народной Воли», угрожавших не только существованию старого строя, но и безопасности самой династии. Это должно было напомнить Александру III о временах декабристов и о том, как дед его Николай I ежегодно в день 14 декабря служил утром благодарственный молебен в ознаменование избавления от грозившей ему опасности, а вечером давал пышный бал в знак царского торжества над врагами. Александр III, может быть, и не праздновал так помпезно победу над своими врагами, но все-таки вздохнул, повидимому, с большим облегчением ,узнав об арестах членов военной организации. Не даром он сказал при известии о том, что захвачена В. Н. Фигнер, глава военной организации: «Наконец то арестована эта ужасная женщина». Недаром также он столь интересовался личностью М. Ю. Ашенбреннера, о чем рассказывает сам Мих. Юльев. в главе «Суд и следствие». Этот подполковник-революционер должен был ему казаться таким же исчадием ада, как и «ужасная женщина», столь долго давившая настоящим кошмаром на его сознание.

Не удивительно также, что долгое время после суда М. Ю. Ашенбреннера как в тюрьме, так и на воле считали погибшим...

Его миновала смертная казнь,—ему заменили ее бессрочной каторгой в Шлиссельбурге. Что такое был Шлиссельбург того времени—это видно из воспоминаний самого М. Ю. Ашенбреннера, напечатанных в настоящей книге. Шлиссельбург играл в то время роль «Сухой Гильотины», под ножем которой погибло

так много одареннейших и энергичнейших революционеров. Ашенбреннер был привезен в Шлиссельбург в числе тех 32 человек, из которых в первые же годы 17 вышли из строя, в том числе и Буцевич, о котором выше так часто нами упоминалось. И только один М. Ю. Ашенбреннер из числа членов тогдашней военной организации «Народной Воли» дожил до нашего времени. Какие бы испытания ни выпали на его долю в прошлом; как бы ни складывался общий ход жизни в настоящем,—он может спокойно думать о своей жизни: работа, которой он отдал когда то все свои силы, не осталась бесплодной! Она дала яркий пример того, *как* должны были жить революционеры и *чем* им следовало руководиться в своей борьбе.

Е. К.

МОЕ ДЕТСТВО.

(Письмо в редакцию [1]).

Я родился в Москве в 1842 году, в этом же году мой отец, инженерный офицер, был переведен на Кавказ, и я совершил первое свое путешествие до Харькова в дилижансе, а оттуда до Ставрополя на перекладных. Впоследствии, когда мы с старшим братом подросли, матушка нам рассказывала с негодованием как в дилижансе нашей бабушке Марии Христофоровне было неловко сидеть, потому что икона какого-то святого давила ее в бок, и бабушка выбросила эту икону в окно экипажа, проговорив: «Возят, как дикари, с собой своих идолов». Так как мы очень любили бабушку, то отнеслись к этому случаю весело и добродушно. Я был черномазый, подвижной и веселый мальчик, и отец меня называл «мухой». При своих разъездах по укреплениям он иногда брал и меня с собой, и так я увидел, очарованный, Казбек и Эльбрус. Отец, заметив мое восхищение горами, посоветовал мне выучить стихотворение Лермонтова: «Как то раз перед толпою соплеменных гор у Казбека с Шат-горою был великий спор». Когда я заболел коклюшем, отец вылечил меня довольно оригинальным способом. Во время обеда он подозвал меня к себе. У него в ногах лежал бурдюк с кахетинским вином. Он нацедил из бурдюка в стакан вина и сказал: «Ну, Муханов-Тараканов, я тебя буду лечить: пей, будешь здоров!» Я выпил с удовольствием, мне стало тепло и весело.

Кажется в 47 году Шамиль с большим скопищем подошел к беззащитному Ставрополю. Жители готовились к смерти; бабушка позвала меня и брата в свою комнату и сказала нам: «Слушайте, дети, черкесы возьмут наш город и нас всех больших перережут, а вас, может быть, увезут в горы и сделают вас своими рабами. Видите этот кинжал: он очень острый. Когда горцы ворвутся, вы приходите ко мне. Мы живыми не сдадимся. Я вас зарежу, а потом и себя тоже. Хорошо?» Мы наивно и покорно ответили: «Хорошо, бабушка!» К счастью генерал Евдокимов с большими силами подошел на выручку, и Шамиль со своими

---

[1]) По просьбе редакции М. Ю. сообщил краткие автобиографические сведения о своем раннем возрасте.

головорезами ушел в горы. Кажется в 49 году отец был переведен в Харьков, потом в Петербург и, наконец, в Москву. Во время Крымской кампании я уже был в корпусе. Товарищ по училищу и службе моего отца Тотлебен звал отца в Севастополь. Отец собирался уже ехать и хотел взять меня с собой, но среди сборов он скоропостижно скончался.

Более я ничего не помню из своего детства.

М. Ашенбреннер.

Декабрь 1923.
Москва.

ВОСПОМИНАНИЯ.

(Шестидесятые и семидесятые годы.)

I.

60-е и 70-е годы—время моей юности и молодости; с этой поры я и начну свои воспоминания. На своем отрочестве я не останавливаюсь. Мои записки не имеют автобиографического значения, а старо-кадетская жизнь описывалась многократно. На чисто художественное изображение детства и отрочества я не дерзаю. Но сказать несколько слов о старо-кадетском укладе нужно.

В корпус я поступил при старых суровых порядках. Носили тяжелые каски с султанами и тесаки. Большая каска на маленьком кадете была смешна и мучительна; внутренние винты и гайки больно давили голову. Небольшой ветер, раскачивая султан, валил с ног мальчика. Зимой носили шинели, подбитые ветром, т.-е. без подкладки, и нитяные чулки; допускались только суконные рукавицы и наушники. Плохие учителя неумело передавали свои скудные знания, поселяя в учениках лень и отвращение к учению и недобрые отношения к учителю. Педагогия наших воспитателей—ротных офицеров—исчерпывалась подзатыльниками, тумаками, лишением обеда и пр. Слушались и учились хорошо только у тех, кто умел внушить к себе любовь, а такие странные непонятные исключения бывали, только не для детей младшего возраста. Например, в старших классах в середине 50-х годов преподавал словесность друг Герцена и Белинского, поэт Василий Иванович Красов [I] [1]). Герцен в «Былом и Думах» говорит, что пылкий «жрец пафоса», при каждом свидании с Белинским, со слезами восторга, сообщал своему другу о нарождении нового гения среди его учеников кадет [2]). Наш

[1]) Римская нумерация в квадратных скобках относится к «Примечаниям», помещенным в конце книги. *Ред.*

[2]) О Красове Тургеневъ говорит в «Рудине»: «Полусумасшедший и милейший поэт нашего кружка».

тогдашний строй покоился на четырех китах: суровая дисциплина, шагистика, «рукоприкладство» и субботняя порка в цейхгаузе. В день моего поступления ротный командир капитан С., очень добрый человек и семьянин, погладил меня по головке и сказал мне с кроткой улыбкой:

«Учись и веди себя хорошо. У мини всякая вина виновата: за единички и дурное поведение высику: будь у тиби семь пядей во лбу—высику! У мини закон: помни день субботний. Виноват—значит марш в чикауз!»

И, действительно, по субботам водили в «чикауз» по несколько человек. Над одними производилась экзекуция, другие, попадавшие в первый раз, только смотрели. Регулярная порка, превратившаяся в обычай, создала особый вид молодечества: телесного наказания не стыдились и не страшились, но стыдились кричать, плакать и отпрашиваться, стараясь переносить наказание, не выдавая своих страданий,—и заслуживали этим общее одобрение товарищей. Бывали молодцы, которые хвалились, что молча выносили 50—100 ударов. Начальство на это реагировало тем, что давало одной розгой менее, т.-е. вместо 50—49, приговаривая: «Не хвались, что получил 50». В младших ротах ближайший надзор за поведением вне классов поручался кадетам старшего возраста—унтер-офицерам. Это была первая административная инстанция. Унтер-офицер имел право поставить провинившегося «под лампу», «у доски», «к стене», наказать «без пирога». И строгие из них этим правом пользовались широко; а другие «рукоприкладствовали» и наказывали «без пирога», смотря «по своему аппетиту», и съедали на глазах у наказанного конфискованный пирог. Правда, присвоение пирога было противозаконно, но кадет никогда не жаловался на кадета: это считалось фискальством. Корпусной мир делился на две части, между которыми мало было общего: с одной стороны кадеты, с другой—воспитатели, учителя и начальство. Фискалов и дурных унтер-офицеров жестоко допекали и подводили. Маленькие мстители за нарушение товарищеского неписанного закона были очень изобретательны и неутомимы в преследовании, и победа всегда склонялась на их сторону, как у лилипутов над Гуливером. И образование в военной закрытой школе 50-х годов не могло быть рациональным. Старые, заслуженные наставники и наблюдатели преподавали по устаревшим учебникам «от сих до сих», а ученики зубрили, подсказывали или тупо молчали. Притязания таковых далее 6 баллов не простирались [1]). Особенно типичны были немецкие и французские учителя. Например, Штюрцваге грузно подымался на кафедру, не спеша садился, вызывал мальчика, протягивал

---

[1]) 6 баллов по 12-балльной системе удовлетворительная отметка.

ноги и командовал: «Снять сапоги». На этот урок кадеты носили с собой ваксу и щетки для того, чтобы чистить сапоги Ш. Мстили таким учителям беспощадно. Расплатились с Ш. остроумно и окончательно. Однажды с него сняли обычным порядком сапоги и забросили их на печь, очень высокую и доходившую почти до потолка, и затем подняли страшный шум, чтобы привлечь дежурного офицера и помощника инспектора. Ш. сначала оторопел, потом, должно быть, сообразил, что на шум непременно придут и увидят его без сапог, и стал упрашивать не шуметь и отдать ему сапоги, обещая за это поставить хорошие баллы. Шум затих. Начались переговоры: «Доставай сам»,—отвечали ему.—«Но как же, господа, я их достану? Будьте умники, достаньте, пожалуйста».—«Полезай сам».—«Как же я туда взлезу?»—«Мы поставим доску и подсадим». Надо было спешить, и Ш. полез на печь, проклиная кадет, упрашивая их не шуметь и угрожая им. Как только он уселся на печке и стал натягивать сапоги, доску приняли: враг попал в ловушку, и класс огласился криками торжествующего победителя, на которые сбежалось со всех сторон начальство. «Что за гам? Старший! Где учитель?»—спросил помощник инспектора. Школьники молча смотрели на печь, и туда обратились взгляды начальства. Там сидел на карнизе, свесив ноги, учитель, весь измазанный известью и пылью, с забранными панталонами, не решаясь спрыгнуть. Дело было слишком скандально, чтобы его выяснить при открытых дверях. После этого кадеты не видели больше Ш. Добрые учителя развлекали детей любопытными, а чаще незанимательными баснословными сказаниями или историческими анекдотами, которые повторялись уже много раз.

В 4-м общем классе попадались взрослые, возмужалые, из тех, которые заживались по 2 года в классе. Они занимались разнообразным спортом, особенно гимнастикой, акробатистикой, развивали в себе басистый голос, читали в церкви апостола, окачивались холодной водой, ходили, переваливаясь, расстегнув три нижние пуговицы на куртке. Это были «старые кадеты или слоны». Учитель математики любил слонов, подтрунивал над ними и ставил им всегда 6 баллов. «Г. N, пожалуйте к доске!»—вызывал он слона и задавал ему самый элементарный вопрос:

«Скажите, пожалуйста, сколько в окружности можно провести диаметров?»—«Сколько хочешь!»—отвечал басом широкоплечий слон.—«Прекрасно, но позвольте, г. N, я, кажется, говорю с вами вежливо!? Какое же право вы имеете говорить со мной на «ты»? Вы полагаете, что вежливость необязательна для слона?! Потрудитесь разделить данную линию на 7 частей».—Молчание.—«Что же-с? Пожалуйте на Парнас; что в уме держите, несите на Парнас!».—Молчание... Тогда учитель басом

начинает нараспев: «Братие, взгляните на моя плечи»,—и запевает на 7-й глас «Славы и ныне»:

Украсил бог небо звездами,
А кадетский корпус дураками.
Песнь тебе всегда приносим . . .

Весь класс тихо повторяет эти стихи церковным напевом.— «Идите, господин слон: 6 баллов».—Это было, по крайней мере, забавно. В высших классах специальные, т.-е. военные науки преподавались едва ли лучше. Полковник К., заслуженный преподаватель фортификации, излагал свой предмет очень картинно: «Гг., чему, скажем, теперича равняется высота бруствера полевого укрепления? Очень просто: средний балл, скажем теперича 6, в этом окне 6 стекол; у человека 6 отверстий; митрополит ездит на 6 лошадях, высота бруствера, скажем, теперича 6 футов».

Эта система—наследие мрачных времен—не считалась с психикой; дисциплинарный устав и катехизис были ее нравственным законом. Своей целью она поставила создание безусловных исполнителей усмотрения и храбрых безответных воинов и творила бы она покорных слушателей—автоматов, если б попутно и непроизвольно не сложилась кадетская спартанская община. Единицы обезличивались: они склонялись под железной рукой устава, а спартанская община, сильная взаимной выручкой и чувством товарищества, служила защитительной оболочкой в неизбежном антагонизме кадета с начальством. Эта система, описанная здесь беглыми штрихами, существовала неизменно многие годы и, казалось, пустила глубокие несокрушимые корни. А при первом дыхании свежего весеннего воздуха, при первом луче света, она исчезла, как дурной сон, правда, оставив после себя кое-какие пережитки. Но все дикое, грубое, омертвелое обречено на гибель, а хорошее, жизнеспособное осталось.

Когда наступила перемена [1]), бурбоны-офицеры исчезли, как «привидения при крике петуха». Явились хорошо воспитанные офицеры. Один ротный командир капитан О. изучал заграницей педагогию. Ручная расправа исчезла вместе с бурбонами, и телесное наказание стало выходить из обихода, хотя директор корпуса генерал Лермонтов частенько возглашал: «Стыд, срам, срамота, розгу дам!». Но чудом из чудес было появление образованных учителей иностранных языков. Лукавые кадетики, желая поднять на смех немца, попросили однажды объяснить что-то из тригонометрии; учитель не только объяснил, но затем охотно помогал и по другим предметам. Специальные науки преподавали молодые офицеры с академическими значками. Простое перечисление преподавателей по общим предметам в специальных

[1]) При военном министре Д. А. Милютине.

классах покажет, как изменилась учебная часть: их имена еще до сих пор не забыты. Статистику преподавали Корсак, Покровский, С. С. Муравьев (потом проф. Казанского университета), законоведение—Лялин (перев. Шиллера), историю Альбертини, Ватсон, Дювернуа. В 3-м специальном, который был учрежден только что, преподавали Н. С. Тихонравов (словесность), М. Н. Капустин (законоведение), С. М. Соловьев (историю), Покровский (статистику), Я. И. Вейнберг (физическую географию). Когда я был во 2-м специальном, и состав учителей, и их отношения к нам, и способы преподавания, да и самые предметы преподавания изменились. Между учителем и учениками возникло сближение. С почтением я вспоминаю двух учителей, наших друзей, М. и Л. От М. мы впервые услышали о Белинском, Чернышевском и Добролюбове. Он указал нам на «Современник». Я попал во 2-й специальный класс очень юным, 16 лет, по успехам на экзаменах, но не по развитию, и читал до знакомства с М. только романы. Первая серьезная статья, которую я прочел сознательно, с увлечением это—«Литературные мелочи за прошлый год» Добролюбова. Добролюбова мы читали и читали, но Чернышевский имел на нас более сильное и прямое влияние. Его мы знали наизусть, его именем клялись, как правоверный магометанин клянется Магометом, пророком Аллаха; так что Тургенев ошибался, когда называл «Чернышевского простой змеей, а Добролюбова очковой». Лучше сказать наоборот. Другой учитель Л. сделал для нас не менее. Он познакомил нас с Герценом. Были и между нами молодые люди, которые, познакомившись с этим писателем, полюбили его всей душой. Знакомство же с идеями Герцена сообщило им направление, которому они остались верны до старости. Их пленила в Герцене глубина мысли, выраженной в такой красивой форме, широта проницательного ума, блестящее остроумие, великая сила сарказма,—но этим могли восхищаться и эстетики; эти же некоторые чувствовали за его сатирой «невидимые слезы», любовь к родине, истине, справедливости, жажду свободы и уверовали в этого учителя и остались верны его заветам. Другие же, когда с них слетел блеск молодости, «поумнели». Л. входил в класс. Мы ставили «махального», и начиналось чтение: он читал нам сочинения Герцена «Колокол», «Полярную Звезду», издания эмигрантов Головина, Долгорукова и т. д. 3-й специальный класс существовал недолго, несколько лет, и состоял из 3-х отделений: инженерного, артиллерийского и генерального штаба. Общие предметы преподавали профессора Московского университета. Я шел по отделению генерального штаба, и весь курс наш состоял в том, что профессора читали лекции по поводу данных нам тем для сочинений. Сочинения же давались для того, чтобы приучить писать по источникам. Наши сочинения были, конечно, ребя-

ческим компиляциями, лучшую часть которых составляли мысли и данные, записанные за профессором, и выписки из источников. Но эти чужие мысли мало согласовались с кадетской отсебятиной. Приучить нас к обращению с источниками и критическому отношению к ним и к самостоятельности выводов, конечно, не удалось. По словесности была, например, такая тема: сравнить типы Гамлета и Дон-Кихота и разобрать тургеневский взгляд на эти типы. Для сочинения служили источниками, кроме Гамлета в переводе и Дон-Кихота на испанском языке и во французском переводе, Гервинус о Шекспире—на немецком, Гизо о Шекспире—по-французски, статьи Белинского и проч. По истории: история распространения христианства в России, история казачества, история Галицкой Руси; источники: летописи, акты исторические, акты археографической комиссии, многотомные истории христианства Филарета, Макария и многие другие книги на разных языках. По законоведению: права дворянства до издания жалованной грамоты Екатерины II; источники: Токвиль «Старый порядок и революция», еще что-то и, наконец, Полное Собрание Законов Российской Империи.

II.

Я был произведен в офицеры и остался на службе в Москве. Связи с корпусом у меня не порвались: там еще учился мой родственник Леонид Ашенбреннер; вместе с тем завязались знакомства со студентами. От них я получил следующие литографированные издания: Фейербаха «Сущность религии», его же «Сущность христианства», Герцена «С того берега» и «Былое и Думы», Бюхнера «Сила и Материя», и несколько номеров «Колокола». Однажды два или три приятеля Л. А., кадеты старшего возраста (но другого кадетского корпуса), мне поведали, что они составили тайное общество и собираются в корпусных подвалах по ночам. В одной классной комнате был небольшой закоулок с дверью—склад географических карт, военных планов и т. д. В этом месте они подняли половицы и спустились в подполье, исследовали его, выбрали довольно изолированный угол и, вырубив в капитальной стене небольшую камеру, увешали ее бока одеялами, поставили стол, покрытый черным сукном, а на столе положили череп и два обнаженных кинжала. Вся обстановка была натаскана постепенно из цейхгауза, артиллерийского, зоологического и физического кабинетов, а затем там появился литографский станок. В это время университетская тайная литография должна была на время прервать свою работу, и мне передали одну рукопись, которую я и предложил кадетскому тайному обществу налитографировать, что и было исполнено очень хорошо. Коридорному сторожу они платили, и тот им

содействовал. В это время в корпусе появились обличительные стихотворения; предметом обличения было начальство, особенно директор корпуса генерал Л. Вскоре тайная кадетская литография провалилась. Ночью фельдфебель нестроевой роты, делая обход, заметил, как из подполья вылезал сторож. Сторож на допросе покаялся. Литография была захвачена, но директор корпуса О. не разглашал инцидента, и открытие обошлось без последствий для участников-кадет. Вскоре ко мне зашли три кадета и заявили, что они хотят для небольшого ручного самодельного типографского станка добыть шрифт, и просили меня отправиться с ними в воскресенье в словолитню Семена в качестве офицера-воспитателя. По праздникам учащиеся допускались к осмотру таких заведений. Машины показывал молодой парень. Я должен был отвлечь его внимание для того, чтобы дать возможность кадетам набить свои карманы шрифтом, который лежал в больших и глубоких ящиках вдоль стен. Так и было сделано. Но когда мы дома осмотрели добычу, оказалось, что у нас не хватало некоторых гласных и согласных, а слишком много восклицательных и вопросительных знаков. Нужно было сделать новый и более осмотрительный поиск. Второе, хорошо рассчитанное покушение, было удачней. Затем в корпусе появились печатные обличения, и начальство страшно всполошилось. На Л. А. пало подозрение потому, что он прославился своими стихотворными произведениями еще в средних классах, и эта поэтическая слава довела его до солдатской шинели. Экзамены кончились. В старшей роте готовились к спектаклю: в актовом зале устраивали сцену. Во время этой праздничной, веселой суеты А. был арестован в карцере. Вместе с тем директор ген. Лермонтов обратился к старшей роте с такими словами: «Среди вас есть дурной товарищ, который вас выдает: откуда я узнал, что Б. вернулся из отпуска пьяным?—От А. Кто мне донес, что у В. дурная болезнь, а С., Д. и Е. играют в карты?—Опять А!.—Стыд! срам! срамота! Такого испорченного кадета я исключу из корпуса!» Кадеты слушали его с иронической улыбкой. Когда же он кончил, раздались голоса: «Мы не верим ни одному вашему слову! Мы знаем доносчика. Зачем вы посадили А. в карцер, а теперь черните его за глаза?! Позовите его сейчас и повторите при нем ваши слова!».—«Я не могу его освободить,—ответил директор,—он арестован за распространение пасквилей и за это пойдет в солдаты!».—«Это новая ложь!»... Объяснение принимало бурный характер, и генерал удалился, а кадеты в ту же минуту побежали в карцер, сломали двери и сообщили А. о том, что было. А. бросился в кабинет директора, квартира которого выходила на большую площадку обширных сеней, по обеим сторонам которых вели вниз в швейцарскую две широкие лестницы. А. бешено ворвался в кабинет почти по

следам директора, Л. хотел забежать за письменный стол, но был настигнут, и А. без дальних объяснений, обозвав его «подлецом», дал ему пощечину и отправился в роту. Вслед за ним выбежал на площадку и Л. По лестнице в это время поднимались рабочие с досками и переводинами для театральной сцены, и дежурный по корпусу вышел из своей комнаты должно быть для наблюдения за ними. Л. был вне себя и прокричал: «Бросай тес, лови разбойника А.!» и, обращаясь к дежурному капитану С., сказал: «Арестуйте этого разбойника: он меня сейчас ударил по лицу!» Но арестовать его уже было невозможно без крупного скандала. Он был среди товарищей, которые его не выдавали. На другой день был праздник; в 7 часов вечера распускали весь корпус по домам. За А. приехала мать; но в приемной ее уже ожидали товарищи А. и, рассказав ей в чем дело, предупредили, чтобы она не вызывала сына к себе потому, что его тут же арестуют. Старшая рота в отпуск не пошла. Кадеты хорошо знали, что ночью будет сделана попытка арестовать А., и решили отразить ночное нападение. Раздевшись, они положили около себя обнаженные тесаки, выбрали караульных, изголовье А. перевязали с изголовьем другой кровати, а его тюфяк прикрепили к кровати, чтобы его не вынесли сонного на тюфяке, или вместе с кроватью. Затем все улеглись. Наступила тишина. Ночью два или три раза проследовал по спальне дежурный офицер и отдал приказание служителю убавить огня в лампах. А потом с двух сторон спальни вошли две команды солдат служительской роты, под начальством дежурного по корпусу и командира служительской роты. Когда солдаты направились к кровати А., раздались сильные крики, и вся рота, в нижнем белье с тесаками, бросилась на солдат и жестоко их избила. Атака была отбита, и противник бежал. Но нужно было закрепить за собой результаты победы, и вот, в 8 часов утра на другой день, той доле Москвы, которая рано встает, довелось увидеть на улицах удивительную процессию. Посредине улицы шла стройным порядком рота взрослых кадет, со своими унтер-офицерами на местах, в самом растерзанном виде: куртки, панталоны были разорваны в клочья, лица и руки в крови, многие несли в руках разорванные и окровавленные подушки и одеяла, рубахи и проч. Несомненно, что некоторым бойцам и довелось получить несколько ударов кулаком в жару битвы, по солдатской неосторожности, при самозащите, а, может быть, и умышленно. Но несомненно также, что побиты были солдаты, а не кадеты, и что кадеты измазали себе лица и рубахи солдатской кровью, изорвав умышленно в клочья свое белье и платье. Один кадет выломал себе зуб, который шатался, и наколотил себе синяки. И эта процессия шла по Москве, привлекая к себе изумленных прохожих, шла к генерал-губернатору: генерал-губернатор Тучков приветливо принял

кадет, доверчиво выслушал их рассказ, не скрыл от них своего возмущения и отпустил их, сказав, что сию минуту телеграфирует государю о ночном избиении сонных кадет. Через день генерал Л. был отставлен. Но взволнованная среда не может сразу успокоиться. Вместе с главным основным течением возникают побочные, сообщающие ему особенную окраску. Так было и в данном случае. Один кадет, товарищ А. по классу и роте, в минуту общего упоения победой, собрал около себя слушателей и с большим пафосом стал проповедывать, что бога нет. Сначала его выслушивали молча и довольно равнодушно, но дальнейшая аргументация заинтересовала некоторых. Он говорил, указывая на ротный образ: «Вы видите этот образ, я надругаюсь над ним; если есть бог, то пускай меня за это разразит гром небесный, или пусть подо мной расступится пол, и я провалюсь в преисподнюю. Если этого не случится, значит бога нет!»—«Верно!» —ответили ему некоторые увлеченные такой постановкой вопроса. Сейчас же Мюнхеймер снял образ, сорвал ризу и, сломав икону, стал топтать обломки ногами... «Ну, что же, г.г.!, где громы небесные?» За этим последовало краткое молчание, как бы в ожидании свидетельства свыше. «Вы видите, я цел—значит бога нет!»—«Верно!»—ответило несколько голосов. Тогда они схватили обломки и бросили в камин. Дня через 3 приехал из Петербурга генерал-адъютант Ж. для расследования обоих случаев. А. и М. были арестованы. Директор отрицал пощечину, утверждая, что А. обругал его подлецом и только замахнулся на него, но ему удалось отвести удар. А. заявил, что дал ему полновесную пощечину и даст при первом случае еще другую. Дело окончилось тем, что А. был назначен в солдаты на 6 лет в дальние гарнизоны, а М. на три года. Директор уволен в отставку и выехал заграницу лечиться от флюса.

III.

Та войсковая часть, где я начал службу, была переведена на новые квартиры, верстах в 35 от Москвы, и к нам был назначен новый командир полковник Балбеков, пожилой, заслуженный воин, украшенный крестами за венгерскую и крымскую кампании. С прежним командиром, полковником П., мы ладили и поверили недоброй оценке, сделанной им новому командиру. «Г.г.! сказал он нам,—на вас идет гроза, и, я думаю, это вас соединит». Дело в том, что вследствие разнохарактерного состава общества офицеров и в силу того, что тогда существовали выборные должности казначея и квартирмейстера [1]), за которых общество отве-

[1]) А также и библиотекаря и заведывающего столовой, в избрание которых также вмешивались командиры, и в этом случае приходилось платиться своим желудком и читать отвратительные «Московские Ведомости».

чало своим карманом,—возникали почти повсеместно в войсках партии. Желание провести на эти должности своих кандидатов, желание, поддерживаемое некоторой наиболее влиятельной по своему служебному положению частью общества, было несомненной причиной разлада. Полковник П. был уступчив и тактичен, и при нем мы жили довольно согласно, и неизбежные столкновения вызывались разнохарактерностью состава и причинами общего характера. Для общества было важно знать, как отнесется к предстоящим выборам новый командир: внесет ли в нашу среду смуту и разлад или соединит нас? Наружность Б. не располагала в его пользу. Простоватое лицо с зачесанными вперед височками, узенькие бакенбарды от ушей до углов рта, высоко подвязанный галстух, грудь колесом, беспокойная и ненужная суетливость человека, который, видимо, хотел быть вездесущим и все исполняющим. Вечно он носился в своей длинной, ветхой шинели нараспашку по казармам, кухням, цейхгаузам, конюшням, мастерским, всюду вступая с офицерами в разговоры, часто бесполезные, словно ему хотелось убить как-нибудь время. Положим, это были служебные встречи; но с ним невозможно было разминуться и там, куда мы ходили по своим личным делам: в библиотеке, столовой и даже на местном базаре и в местных лавках. Встречного офицера он осматривал с ног до головы, словно мерку снимал, и отрывисто задавал ему чисто формальные вопросы: давно ли на службе, где учился, сколько лет от роду, женат или холост? Один остряк уверял даже, что командир спросил у кого-то, не имеет ли он особых примет на теле? Наши сведения о новом командире дополняли некоторые добровольцы: младший штаб-офицер Г., самое значительное по чину лицо после командира, взявший на себя миссию сближения общества офицеров с командиром, но в сущности имевший в виду только свое личное сближение с ним, и адъютант Ч., по обязанности посещавший ежедневно Б. на квартире.—«Г.г.,—говорил Г. в столовой,—я узнал, что вчера из Москвы привезли командиру целый обоз мебели, ковров, фортепиано, ящики, должно быть, с книгами, картинами и множество роскошных вещей: честное слово, видел своими глазами!»—«Должно быть забежал на кухню и пошептался с денщиками!», пояснил соседу остряк N. N. «Сегодня, г.г., приехали повар, кондитер, домоправительница и горничная». «Ручаюсь вам, что Г. лизал тарелки», — коментировал N. N.. «Из послужного списка командира видно, что он женат на очень знатной польке: чуть ли не из рода Ягеллонов» [1]),—сообщил адъютант Ч. Это окончательно спутало все наши представления о Б. А через

---

[1]) M-me Балбекова происходила из богатой польской семьи, кажется, Струмилло.

неделю прибыла, в отличном дорожном экипаже с остальным своим штабом, и сама командирша, красивая, стройная молодая дама с темными строгими глазами, в черном платье. Через несколько дней новое событие очень взволновало кой-кого, особенно адъютанта Ч.: m-me Б. посетил ксендз. Вместе с тем Б. показался нам в новом виде; попрежнему он бегал всюду, но теперь, фамильярно хватая встречного за рукав, спрашивал: «Обедали? Ужинали?»—и тащил к себе. Увидит издали на улице офицера, прибавит шагу и закричит: «Кушали? Идите ко мне завтракать!». Выборы прошли как нельзя лучше: командир не только не вмешивался, а остался совсем в стороне. М-me Б. принимала нас очень любезно, гостеприимно, но казалась холодной и гордой; однако, ее тихий музыкальный голос был очень привлекателен: «тихий, нежный голос большая прелесть в женщине». С каждым новым посещением приходилось изменять первоначальное мнение, и молодые люди входили в гостиную к m-me Б. с неуловимым чувством ожидания встретить что-то новое, неиспытанное, интересное, увлекательное. И более чуткие скоро поняли, что их отчуждала и умаляла не гордость и холодность аристократки и чужестранки, а нравственная прелесть ее высоко-развитой личности. Какая-то обаятельная зона, которая и притягивала и ставила на свое место,—отталкивала от нее мало развитых и испорченных, а лучшие, юные, легко и охотно поддавались ее влиянию. М-ме Б. была очень образованная женщина, отличная музыкантша, а сам Б. играл недурно на виолончели, к великому изумлению старших офицеров, которые этим были несколько скандализированы. Хозяева пригласили нас бывать запросто, ежедневно, по воскресеньям и праздникам были назначены обеды, а по четвергам вечера, обязательные для всего общества: семейных и холостых; четыре молодых офицера занимались музыкой, и m-me Б. стала руководительницей этого музыкального кружка. Другая небольшая группа была привлечена к ней силою иного сродства. Она нам рассказывала с такой теплотой о несчастьях своей дорогой родины, которая тогда восстала, и это была простая и трогательная жалоба; но по временам в ее речах мы слышали голос возмущенной до глубины гражданки. Умышленной тонкой пропаганды не было: она свободно провозглашала свои задушевные убеждения и открывала свою взволнованную душу: истина как бы говорила сама за себя. Когда она заметила, что мы слушаем ее с уважением и симпатией, она стала с нами так проста, добра и доверчива, как сестра. Но в одном случае мы решительно не поддавались ее влиянию. Эта искренно верующая женщина была глубоко огорчена неверием своих новых друзей. Мы, действительно, тогда исповедывали философское учение Людвига Фейербаха. Может быть, она опасалась за наше вечное спасение, а, может

быть, она знала, какую силу дает вера, и горячо желала сообщить эту силу тем, кому предстояли особенные испытания, и тут обнаруживалась пылкость ее характера. Она советовала, упрашивала, умоляла и, встречая непреодолимое упорство, угрожала, стучала с досадой ногой и, наконец, обращалась к мужу с просьбой: «Б., да помоги же мне!» Б. ставил вопрос иначе: «Я вам дам, батюшка, такую книгу, что вы пальчики оближете! Читали вы Лакордера? Нет! Вот это человек! Вы только прочтите, останетесь довольны».—«Прошу вас, прочтите, пожалуйста»,— уговаривала m-me Б.—Лакордер—друг Ламеннэ [II]. «Если вы возьмете книгу,—продолжал Б,—я вам в ножки поклонюсь, а когда вы ее прочтете, вы мне в ножки поклонитесь!»

— «Но мне некогда: я занят службой, я читаю по-французски очень медленно, а между тем нужно ходить в казармы»,—отговаривался А.—«Б.,—обращалась к мужу m-me Б.,—освободи А. от службы, чтобы он не ходил в казармы»... «Изволь, мой друг! Освобождаю вас от казарменных занятий, а когда прочитаете, мы вам дадим книгу еще почище этой!» Так и было сделано. M-me Б. играла нам польские гимны и революционные песни. От нее мы впервые услышали запрещенную тогда Марсельезу. Носила она глубокий траур. Встречали мы часто у нее ксендзов, людей несравненно более светских и просвещенных, чем наши попы, и, наконец, познакомились там с капитаном генерального штаба Жверждовским [III]. Жверждовский заходил к одному из наших товарищей Г-му, недавно исключенному за «историю» из инженерной академии, и там он откровенно беседовал с офицерами о текущих событиях. Я поневоле должен судить о тогдашних обстоятельствах ретроспективно. Но мне кажется, что и тогда мое юношеское, неопытное разумение постигало непреклонную и железную силу характера этого человека и его прямолинейность. Для него не существовало никаких сомнений. Чувство долга повелевало ему ломить все, что мешает достижению цели; но, вместе с тем, бросались в глаза его практичность, умелость, бессознательная ловкость, может быть, укрепленная наследственностью. Сочетание этих свойств и поразило меня, вероятно, потому, что мы, русские, в этом отношении отставали от поляков. Эта характеристика может показаться недостаточно обоснованной: я видел Жверждовского два-три раза и, повидимому, не должен доверять своему юношескому суждению. Но впечатления молодости так ярки, а моя настоящая опытность не вносит никакой поправки в ту юношескую оценку. Историческая же справка подтвердит мои выводы: деятельность в Литве Жверждовского-Топора была энергична, хотя и кратковременна, а кратковременность такой деятельности у нас является общим правилом. Жверждовский состоял при штабе гренадерского корпуса в Москве. В московском гарни-

зоне было достаточно войсковых частей для пристрелки новых ружей. Между тем Жверждовский обратился к Б. с просьбой пристрелять, для ускорения, значительную партию этих ружей при нашем батальоне, в виду немедленного отправления ружей в действующую армию. Эту пристрелку очень тщательно исполнил наш заведующий оружием. Через некоторое время мне пришлось по делам ехать в Москву, и командир просил зайти на квартиру Жверждовского за какой-то справкой. Когда я позвонил, мне отворил двери жандармский унтер-офицер и пригласил войти. Я сообразил, что случилось что-то неладное. Там меня спросили, кто я и зачем явился. Я объяснил, что командир приказал мне зайти в штаб гренадерского корпуса за служебной справкой, что, не застав там капитана Жверждовского, я, по указанию писаря, отправился к нему на квартиру. Меня спросили, почему же я пошел за справкой не в свой штаб, а в штаб гренадерского корпуса. Я ответил, что наш штаб в городе Ярославле и за всеми справками мы обращаемся в ближайший штаб. Мое имя и место служения записали; я поспешил домой, чтобы предупредить Б. Но там уже все было известно. M-me Б. меня встретила словами: «Вот это патриотизм: Жверждовский ушел умирать за свободу отчизны и ушел не с пустыми руками!». Жверждовский воспользовался совершенным доверием командира корпуса барона Рамзая и вызвался сам доставить в действующую армию громадный транспорт с оружием, боевыми припасами, деньгами, мундирными и амуничными вещами под прикрытием сильного отряда, и сдал этот транспорт вместе с прикрытием в литовских лесах повстанцам; а затем вскоре явился под именем Тонора одним из главных начальников Литовского революционного отдела. Карьера его была непродолжительна: он сделал неудачную попытку овладеть городом Борисовым, был отбит, а потом в одной битве попал в плен и повешен Муравьевым. Однажды вечером Б. рассказал нам, что в одном гвардейском полку, в последнем деле, выбыло из строя несколько офицеров и что я назначен начальством в этот полк, как имеющий право, по успешному окончанию курса, на перевод в гвардию, а потому должен отправиться на войну. Я ответил при всех, что не желаю этого перевода. «Почему?— наивно спросил Б.,—ведь вас переводят в гвардию с понижением [1]) одного чина, и, таким образом, вы выигрываете чин: да там за перестрелки схватите крестик, другой; мой совет ехать и ехать!». Я ответил, что «не желаю принимать участия в этой несправедливой войне»... Что это за странный человек, этот Б., думал я, неужели он думает, что нам суждены лишь благие порывы, а совершить ничего не дано?—«Но ведь я не могу сде-

---

[1]) Перевод в гвардию тем же чином давал выигрыш 2-х чинов. *Ред.*

лать такого донесения,—добавил Б.,—я донесу, что вы по болезни не можете воспользоваться этим счастливым случаем. Если это представление будет уважено—счастье ваше!»—«Я знала, что вы так ответите»,—сказала m-me Б., протянув мне руку. Однако, командиру замаскировать мой отказ не удалось. Один из постоянных нахлебников Б—х давно и пристально следил за тем, что там творится, и написал обстоятельный донос, в котором и меня не забыл. Высшее начальство прислало следователя, Б. держал себя при расследовании уклончиво и неловко, m-me Б. открыто и гордо. «Почему вы ходите в трауре?»—«По отчизне... Что вы там ищите, г-н офицер?»—«Я ищу, сударыня, Марсельезу и революционные песни».—«Это вот здесь».—«Скажите, пожалуйста, полковник, чей это портрет в арестантском халате висит над роялью?»—«Это, знаете ли, портрет одного родственника жены».—«Но отчего же он изображен в кандалах?»—«Я думаю, что причуда художника!»—«Ах! нет, Б., зачем ты говоришь неправду?! Это портрет Конарского» [1]). Офицерам не предлагали вопросов. Для меня дело кончилось благополучно. В течение следующего года меня переводили четыре раза: из Москвы в Аккерман, оттуда в Екатеринослав, затем в Миргород и, наконец, в Ташкент. Два товарища были переведены в армейские полки на Волге. Один из них не хотел служить и вышел в отставку. А командир был исключен из службы без пенсиона.

Лет через пять, вернувшись из Туркестана, я разыскал в Петербурге старого своего сослуживца и очевидца только что рассказанной истории и узнал о дальнейшей судьбе четы Б—х. M-me Б. тоже «не с пустыми руками» пришла на служение своей отчизне. Все свое большое состояние она отдала на «дело» и затем осталась с мужем в нищете. Б. постарел и опустился. Они жили в Петербурге в глухих местах, на чердаке. Уроки музыки, которые давала м-м Б., были их единственным рессурсом. Она сама стряпала, мыла полы, обшивала мужа, чистила ему сапоги... Последний раз товарищ встретил его у Гостиного двора: как прежде он бежал, и длинная, ветхая его шинель развевалась по ветру. Он страшно обрадовался встрече: расцеловался и прослезился... вспоминали старину... Потом Б. внезапно промолвил: «Пойдемте, я вам покажу хорошее местечко». Они пошли к Казанскому мосту. «Смотрите! Убей меня бог! Через три года здесь будут резаться: славная будет потасовка!..»

---

[1]) Капитан польских войск Симон Конарский после восстания Польши в 1830—1831 г.г. эмигрировал в Италию, примкнул к тайному обществу «Молодой Европы» (потом «Молодая Италия»), потом образовал общество «Молодой Польши», побывал в Польше и основал в Париже газету «Polnoc». С 1836 г. жил нелегально в России и Польше, деятельно подготовляя восстание. В 1838 г. был арестован в Вильно и 15 февраля 1839 г. там же расстрелян. *Ред.*

Вскоре они с женой покинули Россию и поселились где-то заграницей.

IV.

Главный наш начальник генерал Г. учился, кажется, во времена Пушкина, в Царскосельксом лицее и был человек деликатный, стойкий и просвещенный. Он вводил во вверенных ему войсках новое тогда стрелковое искусство и, повидимому, полюбил всей душой это дело и связанные с ним другие занятия. Должно быть, мысль его была совершенно поглощена этим делом, ибо о чем бы он ни говорил, он к телодвижениям, сопутствующим слова, припутывал невольно какие-нибудь технические движения: гимнастические, фехтовальные и проч. Мне приказали явиться к нему перед отъездом. Когда я вошел в приемную, он на один момент принял фехтовальную позицию en garde, а потом очень приветливо поздоровался со мною. «Ну, вам придется ехать далеко!—сказал он и приподнял несколько голову, открыл рот и протянул вперед руки, изображая стрельбу на большое расстояние при высоком прицеле. «Там жарко, очень жарко... Я смотрю на увлечения молодежи вот так». Он приставил ладонь перед правым глазом, прищурив левый, как будто держал в руке ручную мишень с дырочкой в центре для поверки спуска курка. «Я за вами буду следить»... Он сделал шаг вправо и стал смотреть на какую-то далекую точку через мою голову, изображая должно быть процесс глазомерного определения расстояния... «И возьму вас обратно через несколько лет». И, действительно, через несколько лет, когда он уже занимал очень высокий пост, он меня возвратил из Туркестана и встретил очень ласково. Новый ближайший начальник, сменивший Б., так спешил меня выслать, что не выдал даже денег на дорогу, объявив, что прогонные я должен получать в попутных интендантствах [1]). Но денег и там мне не дали, потому что я не имел свидетельства о неполучении их дома, в своем батальоне. Так как мне очень не хотелось возвращаться за свидетельством туда, откуда меня выслали в 24 часа, а своих денег у меня было рублей 15—18, то я и последовал совету знакомых студентов поискать случая и отправиться с каким-нибудь обозом, которые тогда перевозили товары из одного большого города в другой. До Харькова я ехал на пароконном фургоне с приказчиком колониального магазина. В Харькове я очень скоро пристроился к обозу, который вез в Одессу разные товары на 20 или 25 повозках.

---

[1]) Окружные интендантства тогда были только что учреждены, и офицеры, не стоявшие в постоянных отношениях к ним, не знали толком новых порядков.

Красивый, кудрявый, могучего сложения парень лет 30—35, Асеев, запросил с меня 5 рублей. Я согласился. «Ну так пойдем, барин, в полпивную!» Там Асеев спросил водки и закуски и, когда я сказал, что не пью, он огорчился и удивился: «Как же ты ахвицер, а не пьешь?.. Ты выпей хоть французской!» Нам дали красного цвета сладкую водку. «Что ты, барин, не ехал по казенной почте? Или ты бедный такой? Так я тебе уступлю». Я восстал против уступки, сказав, что в Одессе у меня будут деньги. Мой чемодан положили на дно воза, упаковали товары, обернули воз рогожами и увязали, сделав впереди рогожные будки. Асеев подстелил для меня свой полушубок, на который я положил подушку, а под нее узелок с бельем, и вот мы тронулись. Каждую повозку везли три крупные, сильные лошади. Самый воз со стороны походил на большую копну сена. Лошади шли мерным шагом, а рогожная копна тихо качалась, вздрагивая слегка, когда колеса натыкались на неровную колею. Возы поскрипывали. Лошади тихо качали головами и отмахивались хвостами. Пахло дегтем, а по временам наносило струю махорки. С ближнего воза доносился тихий говор, а иногда и песня. Выезжали мы рано утром и делали по холодку первую упряжку верст в 25. По большим торговым трактам тогда всюду на этом расстоянии были разбросаны постоялые дворы, иногда по два, напротив друг друга. Там мы кормили лошадей и отдыхали всю жаркую пору дня и по холодку делали вторую упряжку, подвигаясь еще верст на 25. Передовая повозка вела весь обоз, и потому на очередном извозчике лежала большая ответственность. Остальные, свободные, спали в будках, если не было своего или общего дела, за исключением последнего, хвостового, тоже очередного, который следил и за целостью вещей и за порядком. Обоз заезжал только в свои излюбленные дворы на основании хозяйственных или других соображений. Конечно, для хозяина было выгодно накормить 60—70 лошадей и 20 извозчиков; а кормили извозчики своих лошадей отлично, и сами ели хорошо и пили не мало. Вот почему, когда обоз подъезжал ко двору, на крыльцо, навстречу выходил хозяин с приветом и большой посудиной водки и подносил «встречную чару» тут же; также при отъезде хозяин подносил «отвальную». И эти чарки в счет не ставились. За лошадьми они любовно ухаживали, давая им вволю овса и сена. Сами ели вкусно и много: жирные, прелые щи с мясом, крутую гречневую кашу с маслом, жареную баранину, иногда птицу; пшеную кашу с молоком, пироги, огурцы, арбузы, запивая это изрядным количеством водки, квасу и чая. Иногда разгуляются и начинают угощать друг друга водкой, затягивают песню и пускаются в пляс; тут я не мог уклониться от общего веселья и угощения. Сам я не имел возможности есть так много и хорошо, несмотря на все их настоятельные просьбы,

что их, видимо, смущало, так как они, взяв меня с собой, считали меня как будто несовершеннолетним членом своей артели. Я тратил на харчи 10—15 коп. в день, и этого было для меня довольно. Мне давали на 5 коп. большую миску щей с куском хлеба и на 5 коп. достаточную порцию каши. Однажды в пути я захотел переменить белье: из полушубка Асеева на меня насели насекомые. Я поднял подушку и узелка с бельем не нашел: полушубок сбился на сторону, и мой узелок провалился через петли веревочного переплета. Асеев посоветовал мне отдать кухарке на постоялом дворе помыть белье, которое было на мне. Около 11 часов утра мы остановились на постоялом дворе в каком-то небольшом городе. Пообедали, и артель завалилась спать, а я пошел на кухню и стал просить кухарку помыть белье; к нашему разговору прислушивался молодой широкоплечий парень в рубахе и босиком и сказал: «Пойдем, барин, со мной в баню, я вас вымою и выпарю, и белье помою». Мне понравилось такое предложение, и я пошел к нашему возу для того, чтоб положить под подушку золотые часы с цепочкой. Из будки торчали ноги Асеева. Я осторожно стал прятать часы, но Асеев вскочил и спросил: «Чего тебе, родимый?» Когда я рассказывал в чем дело, лицо Асеева делалось все строже. «Что ты, родимец? Господь с тобой! Одумайся! С кем ты пойдешь в баню? Это первый жулик. Он тебя исколотит, отнимет деньги, а то и убьет: за ним водится. А еще ахвицер, ученый! Словно ребенок, не понимаешь! Ну, погоди, рыжая собака!! Слушай, ты поди как будто идешь с ним в баню, а я побужу наших ребят: мы его поучим»—и проучили!.. Другой раз, когда мы ехали по Херсонской степи, ночью, Асеев вел обоз. Ему захотелось спать. Он толкнул меня и говорит: «Спать хочется, садись, родимец! На 7-й версте будет косогор, разбуди. Пуще всего не трогай вожжу, не путай коней: кони сами знают». Я с удовольствием сел на его место, а он завалился и захрапел. Ночь была тихая, светлая; навстречу ласково шелестел ветерок. Мне чудился тихий шопот, и как будто степь дышала. Я замечтался... Где я был тогда—не знаю, только не на своем месте. Когда я очнулся, мне показалось, что мы едем косо; и я инстинктивно схватил вожжи и стал неумело заворачивать тройку. Лошади топтались, я дергал, и вот наш воз пошел как-то боком, наклоняясь правой стороной куда-то вниз. Лошади прибавили шагу, потом пошли рысцой, колеса застучали. Сзади загрохотали другие повозки. Движение все ускорялось, и, наконец, наша и следующие повозки бухнулись, словно выпалили из двустволки вздвоенным ударом. Асеев мгновенно поднялся на ноги и осматривался кругом с недоумением. «Что ты наделал, родимец!—зашептал он:—эка беда, эка беда! А еще ахвицер! Я же тебе говорил—разбуди меня на 7-й версте. Что теперь будет с нами? Ну ахвицер! Ну!..»

К месту катастрофы сбегались с криком извозчики. Нас окружали. Все кричали, размахивали руками. Асеев молча и сокрушенно поворачивался то в ту, то в другую сторону. Из общего крика выделялись слова: «Ты спать?..»—«Братцы? это не я, а ахвицер».—«Как ахвицер? Почему ахвицер? А ты, ахвицер, не за свое дело взялся? Так ты спал, а за себя посадил ахвицера!». Наконец, этот нестройный хор завершился единогласным восклицанием: «Штрах!! Оштраховать обоих! Штрах и на ахвицера: не берись не за свое дело!» Тогда говор принял более спокойный характер, и сам Асеев повеселел и занял в суждении равновесное положение. На Асеева наложили ведро водки, на меня четвертную ($2^1/_2$ штофа). Но Асеев стал горячо защищать меня, ссылаясь на мою бедность. Однако, никто не сомневался в моей виновности. После упорных переговоров, пошли на компромисс: решено было, что я поставлю штоф, а Асеев от себя прибавит еще что-то. На первом же постоялом роспили штрафное вино, и я пил—иначе и быть не могло; а потом пели и плясали, а надо мной смеялись и говорили: «А вот завтра на вторую упряжку посажу вместо себя ахвицера, а сам завалюсь, как барин!»...

Когда мы ехали между Вознесенском и Одессой, где-то на открытом поле, как мне казалось, мы увидели колодец-журавель. Обоз свернул и стал поить лошадей. И по мере того, как справлялись с делом, одна повозка за другой выезжали на дорогу, и, наконец, весь обоз вытянулся, только последний воз стоял против колодца на дороге, окруженный большой толпой евреев, которые страшно галдели. Сюда сбежалась из какой-то невидимой лощины, словно из-под земли выросла, вся еврейская колония с детьми и женами. Обоз остановился, и туда побежали все наши. Что там делалось, я не понимал, но ко мне подбежал взволнованный Асеев, и тогда дело объяснилось: «Родимец! поди прикажи жидам отдать ведро. Надень цаблю да крикни на них: как вы смеете, жиды, обижать мужиков! Отдайте ведро, а то я вас такие, сякие! Да погрознее!» Я было спрыгнул с воза, чтобы бежать на выручку, но Асеев остановил меня и убедительно доказывал, что «без цабли жиды не признают тебя за ахвицера, и не послушают». И я нацепил саблю; однако, жиды были гораздо умнее, чем думал Асеев, и меня не испугались, и пришлось мужикам, взамен арестованного ведра, заплатить, кажется, по копейке или по грошу за лошадь. С тех пор мой престиж несколько упал. Но, тем не менее, мы дружно доехали до Одессы и очень тепло распрощались, особенно с Асеевым.

V.

В местах моего последующего служения я встретился с несколькими офицерами и одним солдатом, живыми и достовер-

ными свидетелями драматического эпизода, случившегося в 62-м году [1]. Отчеты об этих событиях были помещены в русских заграничных изданиях. О начале этой истории я имею скудные сведения; но развитие ее давало тогда несомненное право на некоторые выводы, может быть не слишком смелые.

Вопрос об отношениях благожелательного дворянина к вскормившему и вспоившему его мужику, или интеллигенции к народу, в 60-х и 70-х годах считался неразрешимым, проклятым вопросом. Говорили, что между мужиком и интеллигентом существовала непроходимая бездна, а между тем чуткая совесть призывала последнего посвятить свою жизнь служению этому народу для того, чтобы уплатить ему священный долг. Появление на сцену интеллигента-разночинца мало изменило это положение. Попрежнему между двумя лагерями лежала пропасть. История, о которой я рассказываю ниже, дает интересное разрешение конфликту: она показывает, при каких обстоятельствах «мужик в серой солдатской шинели и дворянин в эполетах» протянули друг другу руки через эту бездну. В этом состоит высокий интерес совершенно забытой истории, о которой я говорю.

Небольшая группа молодых офицеров бригады, расположенной в Варшаве, сблизилась с известными польскими революционными деятелями офицерами: Сераковским, Домбровским [IV], который был впоследствии главнокомандующим войсками парижской коммуны, и Потебней [2]. На своих совещаниях они пришли к признанию необходимости и практической осуществимости организации военной силы для борьбы с существующим политическим и общественным строем России. Истинными учредителями первой организации или, как они выражались, ядра или кадров русской революционной армии, были русские офицеры Арнгольдт, Сливицкий 2-й и Каплинский [V]. Были ли Домбровский и Сераковский вдохновителями русских офицеров, я не знаю. Возможно, что эти высокодаровитые и опытные люди сообщили им первый толчок. Как бы там ни было, они скоро отошли в сторону: у них было на руках много своего дела, так что первый революционный кружок состоял, кажется, из следующих офицеров стрелковой бригады: Арнгольда, Сливицкого 2-го,

---

[1]) Я встретился в 1864—1865 г.г. с офицерами, которые, не состоя в кружке Арнгольдта, близко к нему стояли и скомпрометировались: в Аккермане с высланным туда Невежиным, в Ташкенте с Плешковым (убит при штурме Ура-Тепе) и с Андреем Петровичем Чайковским, который был в 1863 г. в Академии. Эти трое присутствовали на панихидах по расстрелянным. Чайковский отсидел некоторое время в крепости; впоследствии был генералом.

[2]) Потебня был тоже русский офицер, перешедший на сторону польских повстанцев и убитый в битве с русскими войсками под Песчаной Скалой 4-го марта 1863 года.

Каплинского, Фенина, Новицкого, Кутузова, а последнюю фамилию я забыл. Они постановили организовать другие кружки в ближайших войсковых частях и приступить к пропаганде между солдатами, для чего захватить в свои руки сводную учебную команду стрелковой бригады. В состав учебной команды входило, если не ошибаюсь, около 75 молодых солдат, которые по окончании годового курса возвращались в свои роты, а состав учебной команды возобновлялся. При команде находилось человек 12 унтер-офицеров инструкторов и человека 4 преподавателей. Заведывал учебной командой Арнгольдт, его ближайшими помощниками были Сливицкий 2-й и Каплинский. Пропаганда дала поразительные и неожиданные результаты, и в этом нет ничего удивительного. В эпоху общественного пробуждения, связанные силы переходят в живую форму, и усчитать перераспределение вызванных сил нелегкое дело. Пропаганда между солдатами оказалась действительней, чем между офицерами.

Конспирация в военной среде невозможна: офицеры слишком тесно связаны друг с другом разными узами. Школьные связи, личная дружба, совместная служба, ежедневные встречи, весь бытовой склад соединяют их в одну семью. Около членов кружка группируются близкие членам его офицеры, которые знают слишком много, но способные только на сочувствие чисто платоническое. Горячие, неосторожные речи в присутствии таких лиц дело неизбежное. Святые узы товарищества выручают 99 раз из 100, но для провала достаточно и одного случая. Когда дело было в полном развитии, Арнгольдт и Сливицкий 2-й напечатали в «Колоколе» прокламацию к офицерам русской армии и призывали их к борьбе с существующим политическим и общественным строем, оканчивая воззвание словами: «Мы, на смерть идущие, вам кланяемся». Эту прокламацию я прочитал впоследствии. «Колокол» тогда не попадал к офицерам. Старший брат Сливицкого 2-го Сливицкий 1-й (капитан) знал очень много. Однажды он явился к командиру 4-го стрелкового батальона полковнику X. и сообщил ему, что, по долгу службы и присяги, он сейчас же отправится к наместнику и доложит ему о военном заговоре, составленном Арнгольдтом и Сливицким 2-м, с целью ниспровержения существующего порядка. X., конечно, был изумлен этим откровением, может быть он не поверил бы доносчику, во всяком случае, его более поразила необычайная особенность этого доноса—предательство товарищей и брата. Он стал умолять Сливицкого 1-го оставить это намерение. Сливицкий 1-й ответил, что по обязанности службы он пришел только заявить, что идет с доносом к старшему начальнику и что его намерение непоколебимо. Говорили, что X., стараясь смягчить его, упал на колени и со слезами умолял отложить, по крайней мере, свой донос на несколько часов, чтобы дать возможность спастись брату

и товарищам заграницу. Тогда Сливицкий 1-й стал угрожать и самому командиру. В эту минуту вошел адъютант и, увидев такую небывалую сцену, вообразил, что командир сошел с ума... Сливицкий 1-й отправился прямо к наместнику. Наместник давал аудиенцию по определенным дням, и Сливицкому 1-му пришлось направиться к помощнику наместника генералу Рамзаю. Сделав донос, Сливицкий 1-й, в награду за верность, просил перевода тем же чином в гвардейский царскосельский стрелковый батальон—награда, которую в военное время дают за особенные военные подвиги, так как это равняется повышению на два чина. Рамзай обещал ходатайствовать. Арнгольдт, Сливицкий 2-й и Каплинский были арестованы. Кажется, Фенин и еще кто-то другой пытались бежать заграницу, но были остановлены. Один из них отравился, другой застрелился [1]). Новицкий и Кутузов также были арестованы. Ночью об аресте Арнгольдта, Сливицкого 2-го и Каплинского узнала учебная команда и, по своему почину, с оружием в руках бросилась на Александровскую цитадель, ворвалась туда, обезоружила караул и освободила арестованных офицеров. Но в крепости ударили тревогу, со всех сторон собирались большие массы войска, Арнгольдт, Сливицкий и Каплинский, не желая бесполезного кровопролития, уговорили команду удалиться, простились с нею и остались под арестом. В ту же ночь они были перевезены в Ивангород. Молодой офицер Берлинский, совершенно непричастный к делу, потребовал, чтобы и его арестовали, так как солидарен с арестованными. По приговору полевого суда были расстреляны Арнгольдт, Сливицкий 2-й и унтер-офицер Ростковский. Каплинский пошел на 6 лет в каторжные работы [2]). Учебная команда [3]) была арестована. На допросе «с пристрастием» никто из солдат не проговорился. Унтер-офицер Щур умер под розгами, не сказав ни слова. Остальные пошли в арестантские роты, за исключением нескольких человек, переведенных на нестроевые должности в отдаленные батальоны.

Между тем командир царскосельского стрелкового батальона граф Ш. собрал своих офицеров и держал им речь в таком смысле:

---

[1]) Так ли это? Офицер Фенин перешел на сторону польских повстанцев и затем скрылся заграницу, где и умер всего несколько лет тому назад. Может быть, это другой Фенин? (Примечание, сделанное ред. «Былого», где первоначально печаталась эта статья в 1907 г.)

[2]) Официальные сведения об этом деле перепечатаны из № 130 «Русского Инвалида» за 1862 г. в сборнике Богучарского «Государственные преступления в России». Т. I, стр. 114—115 «Русская Историческая Библиотека», № 1), а некоторые дополнительные, напечатанные в № 143 «Колокола», перепечатаны в сборнике Богучарского «Материалы для истории революционного движения в России в 60-х годах», стр. 28—29 «Русская Историческая Библиотека», № 2).

[3]) Фехтовальная школа. *Ред.*

«Гг.! я никогда не оказывал давления на ваши решения. Мы жили согласно, и я предвижу ваш ответ. В нашу семью просится капитан Сливицкий, предавший своего брата и своих товарищей».

Конечно, общество офицеров заявило командиру о своем нежелании служить с таким человеком. Говорили, что и другие гвардейские части отказались принять его в свою среду. Артиллерийский офицер Огородников с товарищами отслужили панихиду по расстрелянным. Какой-то батюшка «прошептал господу богу на ухо» эту панихиду. За это Огородников и несколько человек офицеров были уволены со службы и заключены в крепости. Огородников оставил очень интересные записки о своем заключении в Новогеоргиевской крепости, напечатанные, кажется, в «Историческом Вестнике» [1]).

VI.

И я попал в «неблагонамеренные». Обыкновенно таковых переводили в отдаленные гарнизоны, но, вероятно, я был очень неблагонамеренный, потому что исправительная мера, примененная ко мне, была оригинальнее. Я, как вечный жид в миниатюре, перекочевывал, нигде не задерживаясь, из Москвы в Аккерман, оттуда в Екатеринослав, потом в Миргород и, наконец, в Туркестан. Правда, грозное: «иди, иди, иди», в применении к гонимому офицеру, принимало обычную форму «предписания» с приложением прогонных денег и вовсе не было страшно. Также несомненно, что всюду мне сопутствовала дурная аттестация, и командиры старались сбыть меня с рук при первом случае; но я был очень молод и любознателен, и эти переезды мне были приятны.

В Миргороде я имел счастие видеть декабриста Матвея Ивановича Муравьева-Апостола [VI]. Там я прожил часть осени и зиму 1864 года. Д-р К. имел небольшую, но хорошую библиотеку и любил молодежь, которая ему отвечала тем же. Однажды я был у доктора, и он предложил мне отправиться на литературный вечер с благотворительной целью к декабристу Матвею Ивановичу Муравьеву-Апостолу, который жил тогда в своем имении верстах в 26 от города. Я и мой приятель N приехали туда задолго до начала. Нас ввели в комнату, которая была больше похожа на теплицу, чем на приемную. Через несколько минут послышались шаги, и за цветочными горшками мелькнул силуэт высокого, плотного, седого человека. Это был хозяин. Мы встали, и он подошел к нам и на наш глубокий поклон ответил рукопожатием. Муравьев-Апостол мне показался свежим и здоровым стариком. Он спросил, где я учился

[1]) См. «Исторический Вестник», 1882 г., №№ 6—9. *Ред.*

и давно ли на службе, и, заметив мой штабс-капитанский чин, спросил: «Не служил ли я прежде в гвардии?» Мне так хотелось сказать ему о любви и почтении военной молодежи к нему и его друзьям. Вероятно, это желание отразилось на моем лице, в моих взглядах и нерешительных попытках сказать ему более, чем нужно было ответить на его вопросы. Но мне показалось, что приветливое его лицо стало серьезно; я смутился и замолчал. Он любезно улыбнулся, протянул нам руку и спросил, не играем ли мы на биллиарде, и ушел, а нас провели в биллиардную. Между тем, концертный зал наполнился публикой: съехались не только из ближайших уездов, но и из Полтавы. В первом ряду сидел Муравьев-Апостол с своими родными и гостями из Петербурга; некоторые из них участвовали в вокальном отделении вечера. Из литературного чтения я помню только, что д-р К. читал поэму Некрасова «Филантроп»; по окончании программы публику пригласили пить чай в столовую. Кругом стен тянулись мраморные прилавки, уставленные чайной посудой, фруктами, печением и проч. На обратном пути извозчики и кучера не могли достаточно нахвалиться приемом: их сытно накормили, а лошадям дали вволю овса и сена. Хохол, который нас вез, называл Муравьева «наш гетман».

В 70-м году поздней зимой, вечером в каком-то большом промышленном селе на Волге, проезжая из Казани в Нижний, я вошел на почтовую станцию и просил смотрителя дать мне поскорей лошадей. Смотритель просил обождать немного и указал на комнату для проезжающих. Я вошел и увидел сцену, мне непонятную. Человек пятьдесят стояли молча, полукругом, несколько шагов отступя от стола, и смотрели в угол под образами. В толпе было несколько человек, очень хорошо одетых, гораздо больше было мастеровых, были крестьяне и крестьянки. За столом в красном углу сидел небольшого роста седой старик, с розовым лицом, в ситцевой рубашке и мещанском сюртуке; рядом с ним сидели девочки лет 8—10 в ситцевом платье и высокая, молодая женщина в простом сарафане. Толпа, поглощенная какою-то мыслью, затаив дыхание, смотрела на них. Не слышно было ни шороха ни вздоха. Строгое выражение лиц, на которых не было заметно ни малейшего следа праздного любопытства, необычайная тишина, расстояние, на которое толпа почтительно отступила от сидящих в красном углу, взоры, прикованные к ним, все это меня сразу захватило, и я стал смотреть туда, куда смотрели все... Я шопотом спросил соседа: «Кто он?» Он тихо ответил: «Из Сибири, Бестужев» [VII].

Так мы стояли и смотрели на Бестужева, пока смотритель не доложил ему, что лошади готовы. Бестужев и его спутницы стали одеваться, и толпа заволновалась... Когда путники двинулись, толпа почтительно расступилась и молча кланялась им

в пояс. И они кланялись. Смотритель подтвердил мне, что это был Бестужев, а если это так, то это был Михаил Бестужев, так как его братьев уже не было в живых.

VII.

Я простился с родными, повидался в Москве с друзьями и отправился в Ташкент. На пути между Нижним и Казанью познакомился с семьею Абориновых, которая возвращалась из Москвы в Уфу. Молодая девушка лет 17 и юноша лет 18 были так милы, так простосердечны и дружелюбны, что мы всю дорогу оставались неразлучными и весело проболтали. Мне было 22 года, но я был моложав и походил на игрушечного офицерика, и они не замедлили со мной подружиться. К нам подходили не раз отец и мать—люди патриархально простодушные и добрые— и вступали в беседу. Старший А—в пожелал узнать, куда и зачем я путешествую, и когда я сказал, что еду не по своей воле на войну, в жаркие туркестанские пустыни, все они отнеслись ко мне с глубоким состраданием, и с этого момента я стал членом этой семьи, обласкавшей и пригревшей меня. Они без труда уговорили меня ехать с ними в Уфу и прогостить у них хоть недельку. Там я узнал, что А. богатый золотопромышленник и очень уважаемый человек и что молоденькая дочь его уже около года замужем. В Уфе я прожил недели две, хотя старик А. и уговаривал меня отложить свой отъезд еще на две недели, обещаясь меня самолично доставить в Оренбург, через Троицк, куда он выезжал по своим делам. Старшие А—вы говорили мне «ты», а молодые называли просто по имени. Старики любовно журили меня, когда я этого заслуживал, так же, как своих детей. На ночь, когда они удалялись, мы втроем целовали руки у А—х; они нас крестили и шептали молитву, а потом целовались с нами. После обеда, когда А—вы уходили отдыхать, мы оставались одни, и у нас начиналась длинная беседа. Эти хорошие, но простосердечные дети считали причиной добра и зла в жизни добрую и злую волю, вложенную в сердца людей богом, и не помышляли о социальном происхождении морали. Подавленный авторитетом любимых писателей, я и мысли свои выражал афоризмами, взятыми у них. Так я доказывал, что «собственность есть кража», «что государство есть заговор имеющих собственность против неимущих». Они слушали меня с большим удивлением, но признавали мои рассуждения правильными, оговариваясь только, что «наш папаша добрый христианин и не обижает своих рабочих, заботится о них, как о своих домочадцах, и они его любят». Это так и было. Затем они неожиданно спрашивали меня: «Правда ли, что бога нет, как доказывают ученые?» Разрушать их детскую веру я считал делом жестоким

и напрасным потому, что вера их была глубока, счастливила их, а я, поклонник Фейербаха, говорил им вещи в сущности для них очень темные: что в бога можно верить или не верить, но доказывать его бытие невозможно, потому что положительное и отрицательное решение этого вопроса одинаково несостоятельно, что «теология есть в сущности антропология»: «каковы люди, таковы их боги», ибо «бог есть обожествленная сущность человеска» и «богословие есть человекословие»; что религиозная цель состоит в том, чтобы преобразовать «поклонников в работников», «кандидатов загробной жизни в студентов настоящей жизни», «полуангелов и полуживотных (по Лютеру) в людей, полных людей» (все это из Фейербаха). Они удивлялись, верили моим словам и, как это часто бывает, принимая, повидимому, новшество, оставались при своей старой глубокой вере. Когда я беседовал, я закуривал сигару. Дело в том, что, отправляясь на войну в неведомую страну, я предвидел, что мне предстоят испытания, и для душевного успокоения я купил себе несколько сотен сигар, следуя указанию Писарева, что «сигара действует очень благотворно на мыслящего реалиста». Когда я закуривал сигару, кто-нибудь из моих собеседников становился настраже у дверей. «Вам достанется, если папаша увидит, что вы курите: папаша не любит табачного запаху», говорили мне. Я, старый кадет, нашел компромисс, который привел моих друзей в восторг: подставил к печке стул, открыл трубу и курил, стоя на стуле, чтобы дым уходил в трубу. Эта уловка была для них так нова и так их заинтересовала, что они сами поочереди стали пускать дым в отдушину. Однажды, в тот момент, когда молодая дама курила на стуле в трубу, а мы ожидали своей очереди, дверь отворилась, и вошел отец. «Это что такое? Поди сюда! Дохни на меня! Ах какая гадость! Молоденькая женщина, а от нее воняет табачищем! Как тебе не стыдно! Михаил Юльевич, ты старший и должен удерживать их от глупостей, а ты учишь молокососов курить!» Я извинился и объяснил, что только один курил, а его дети забавлялись, пуская струи дыма в трубу. Он успокоился и рассмеялся, но упросил меня бросить курить, по крайней мере, до отъезда. Перед отъездом старик А—в позвал меня в кабинет и предложил мне денег на дорогу. Я горячо благодарил его, но от денег отказался, так как у меня их было более, чем достаточно. Все же семья осыпала меня подарками и взяла с меня слово писать им с дороги и с места, а на возвратном пути заехать к ним погостить. Мать надела на меня серебряное распятие на цепочке и подарила серебряную гребенку, отец заставил меня взять рублей на 25 гривенников, чтобы платить ямщикам на чай, дочь подарила вязаный из зеленого шелка кошелек с серебряными кольцами, а сын серебряную спичечницу. Я промчался быстро по прекрасной Башкирии. Кузов повозки—

плетеная корзинка—был поставлен по середине длинных дрог, и бешеная езда на отличных лошадках была спокойна и приятна. В Оренбурге я узнал, что вновь сформированный Туркестанский стрелковый батальон, куда я был назначен, уже подходит в форту Перовского.

На пути в Ташкент мы с попутчиком гр. Т. заехали в Орске к приятелю Т., купцу Мякинькому. Мякинький принял нас очень радушно: облобызался с нами и усадил в бухарскую палатку, поставленную на дворе. Мы сели на ковер по-турецки, т.-е. поджав ноги калачиком. У нашего хозяина все было по-азиатски, и так странно было видеть в азиатском облачении облик русского купца, с энергичными чисто купецкими телодвижениями. Он дружелюбно смотрел то на меня, то на Т., и его живые серые глаза улыбались, а чисто-русская речь сыпалась, как горох. Потом эта маленькая седенькая фигурка в зеленом шелковом халате, в шитой золотом тибитейке, в синих, расшитых шелком шароварах из замши, быстро вскакивала и энергично отдавала на татарском языке приказания прислуге. Вся прислуга—его же приказчики—были татары, и угостил он нас по-азиатски: пловом и пельменями с уксусом. Этот цветущий старик лет 65 водил уже давно свои караваны в Хиву и Бухару и дал нам не мало полезных советов. «Вы, г.г., напрасно везли с собой закуски: все это протухнет. Вы, ваше сиятельство, охотник: возьмите с собой котелок, да треногу, да медный чайник. Купите здесь гречневой крупы и малороссийского сала. Поедете по Иргизу, там дичи видимо-невидимо. Из дичи варите бульон, а на бульоне варите кашицу с салом. Только в Кара-Куме вам будет трудно. Запаситесь бутылками, обшитыми кошмою, и берите в дорогу вареной воды, а еще лучше чаю. Вода в Кара-Кумах горько-соленая, да и та встречается на станциях; а станции длинные, по-ихнему 5—6 таш, по-нашему верст 40—50, а кто их мерил? А поедете берегом Дарьи, там опять в камышах да в зарослях саксаула водятся фазаны». Мы сказали, что взяли с собой несколько бутылок коньяку: «Это хорошо,—одобрил он,— только вы, г.г., не пейте никогда водки; водка по такому климату нездорова; когда нужно—пейте спирт, понемножечку, наперсточком; боже вас сохрани! не пейте водки, а спирт пейте наперсточком и будете здоровы!» Под его диктовку мы записали русскими буквами необходимые татарские слова, вопросы, ответы и счет.

VIII.

Здесь, на рубеже Европы и Азии, мы вступали в область чуждой нам культуры. Русские шли завоевывать эту область, вероятно, для того, чтобы поднять ее на высшую ступень; но

для этого цивилизаторы должны были, конечно, сами опуститься на некоторую ступень, чтобы подать свою (вооруженную) руку будущим собратьям. Все условия жизни, службы, передвижения в этой стране были не похожи на наши русские. Станции располагались там, где были колодцы, и были очень удалены одна от другой; станционных домиков не было: кой-где стояли землянки, кой-где войлочные юрты. Станциями заведывали казаки-урядники, зачастую безграмотные.

Ученый Северцев рассказывал [1]), что на одной станции смотритель, прочитав по складам вслух в подорожной: «Министру (вместо магистру) зоологии Северцеву давать и пр.», спросил его: «А ты, братец, кто же будешь? Кухня министра зоологии что ли?» — «Да, кухня; а вот погоди, сейчас поедет сам министр зоологии!» Упомянув имя этого замечательного человека, расскажу кстати еще один случай с Северцевым. Он был большой оригинал и не считался ни с какими свычаями и обычаями; одевался очень небрежно, приходил в гости, когда ему вздумается, иногда часов в 6 утра, по холодку, когда хозяева спали, и без церемонии снимал сюртук и располагался на диване с ногами; брал книгу и читал, не обращая ни на кого внимания. Однажды, в Ташкенте, я пришел часов в 8 утра в один семейный дом; хозяева еще почивали, а Северцев сидел без сюртука на диване и курил трубку-носогрейку. Махорка трещала и извергала фонтаны пылающих искр, которые падали на него и на диван. Северцев никогда не тратил слов на пустые разговоры. Он молчал, и я молча стоял около дивана у окна. Северцев бросил два или три взгляда на меня, быстро поднялся со словами: «Стойте смирно! Не шевелитесь! Не вертите головой!» И, бросившись к столу, схватил стакан и приложил его к моей груди у борта сюртука: в стакан свалилась сороконожка. «Вам наука очень обязана: это очень редкая разновидность полосатой (кажется, так он назвал) сороконожки».

Продолжаю. Когда к станции подъезжали путники, оттуда выезжали в разные стороны верховые с арканами на поиски табуна. С поля приводили иногда диких, иногда малообъезженных лошадей. В упряжке принимали участие все обитатели станции. Лошади лягались, кусались, били повозку; их то оглаживали, то колотили чем попало и неистово ругались. Когда

---

[1]) Был перед тем захвачен коканцами в плен во время экскурсии и возвратился из плена обезображенным; впоследствии погиб в России почти такой же смертью, как другой ученый Федченко, тоже знакомый туркестанцам.

(Ник. Алексеев. Северцев (1827—85), зоолог и известный путешественник по Средней Азии. *Ред.*)

все было готово, пассажиры и ямщик осторожно садились; толпа мгновенно разбегалась, и бешеная тройка, не переставая бить повозку, мчалась, как вихрь, куда глаза глядят, иногда в противоположную сторону. Ямщик не управлял лошадьми, озабоченный как бы усидеть на месте да не уронить вожжей. Отчаянная скачка продолжалась верст 8 — 10, и тройка начинала умерять аллюр; тогда ямщик пытался направить ее, куда следует. Это не всегда удавалось сразу, но в конце-концов искусная политика награждалась успехом: давая волю тройке натешиться и умаяться, ямщик добивался покорности, а затем не трудно было удержать в руках бразды правления. Конечно, если повозка и сбруя были неисправны, а ямщик неопытен, то катастрофа была неизбежна. К счастью, наш путь пролегал на 1000 верст по равнине, где встречались только маленькие трещины да кочки. Памятна мне станция Дамды, где мы потерпели крушение. Лошади неслись, бог весть куда; в это время киргиз, лет 16, упустил одну вожжу и, наклоняясь, чтобы ее подхватить, упал с повозки, увлекая за собой все вожжи. Мы оглянулись назад: ямщик лежал, а через минуту мы были уже далеко. Т. осторожно влез на передок и наклонился, чтобы поднять вожжи, а я его крепко держал; но вожжи или волочились или закручивались в колесе. Закрутившиеся вожжи все круче и круче сворачивали тройку направо: лошади топтались, метались, лягались и, наконец, остановились. Нужно было воспользоваться этим, и мы осторожно вышли из повозки. Т. взял на себя очень опасное дело: распутать вожжи около задних ног дикой пристяжной, а я стал перед тройкой в надежде удержать ее своим присутствием. Но мы потерпели неудачу: лошади бросились вперед, сбив меня далеко в сторону, и умчались. Мы видели, как встряхнулась повозка, из нее посыпались разные вещи; а через несколько минут она скрылась из вида. Посоветовавшись, мы приняли ошибочный план: мы разделились, Т. пошел по следам повозки, а я пошел назад проведать ямщика. Весьма слабо обозначавшаяся колея на твердом грунте меня вела очень недолго и пропадала, и мне пришлось итти по соображениям на север. Было около 5 час. пополудни, и солнце находилось слева. На месте крушения я вырыл большим складным ножом, который у меня был в кармане, крест, а затем время от времени делал кресты на своем пути. Жара была страшная, и меня стала мучить жажда. Ямщика я не нашел: натолкнуться на него случайно было дело мало вероятное, а разыскать его можно было, только обладая соколиным зрением киргиза. Солнце заходило, а я, измученный, тащился куда-то на север и думал только одно: наступит ночь, станет прохладно; покажутся звезды, я буду итти по тому же направлению, пока не выбьюсь из сил, или пока не замечу огней на станции, или в каком-нибудь ауле.

В сумерки я неожиданно увидал близко перед собой какую-то квадратную темную фигуру, которая словно из земли выросла. Я подошел и увидал малорослого, но широкоплечего пастуха киргиза с длинным посохом, конец которого загибался крючком, как у библейских пастухов; на поясе висела чашка в футляре и пшак в ножнах (нож вроде финского). Я спросил его по-татарски, где станция Дамды, и объяснил, как умел, что он получит ахча (деньги), если проведет меня туда. На мне была красная кумачевая рубаха, ворот которой застегивался двумя топазовыми запонками. Он мне указал рукой вправо и назад и сказал: «якши» (хорошо) и вместе с этим оборвал эти запонки, пояснив свое насилие словом «силау» (подарок). Ворот рубахи откинулся, и показался нательный крест. Он схватился за крест и стал его тянуть с такой силой, что цепочка врезалась мне в шею. Такая наглость возмутила меня, и я вынул из правого кармана складной нож. Нож ему показался привлекательнее креста; он крест выпустил и хотел вырвать у меня нож; но в этом ноже было мое последнее спасение, и я, отступив в сторону, раскрыл нож и, со словами «иок» (нет), сделал угрожающее движение; тогда он полез в другой карман и вытащил оттуда серебряную спичечницу. Я ему объяснил, что при себе не имею ахча и что на станции я выкуплю захваченные им вещи. Он повернулся, и мы пошли, но куда, — это оставалось для меня загадкой. Долго мы шли; стало темно. Он вдруг остановился и стал прислушиваться и всматриваться во что-то. Минут через 10, со словом «кайсак» (казак), он повернул направо. Скоро и я заметил, что к нам несутся всадники с разных сторон. Это были казаки с Т. Один казак уступил мне свою лошадь, и мы все отправились на ближайшую станцию. Т. шел около часу по следам повозки, подбирая то подушку, то сумку, то корзинку и т. д. Он не терял надежды добраться до станции засветло, но ему было тяжело нести подобранные вещи. К счастью, навстречу ему выехал урядник с несколькими казаками, которые и рассказали, что, отправляясь по службе из одного укрепления в другое, они встретили пустую повозку недалеко от станции, перехватили ее, отвезли на станцию и, оставив одного казака для охраны вещей, выехали на розыски. Разыскав Т., они, по его указанию, поехали искать меня. Моих крестов не видели, а, отделившись далеко друг от друга, чтобы не терять из вида соседа и осмотреть большее пространство, шли лавой (или облавой) и часа два искали меня. На станции казаки хотели избить киргиза за грабеж, но мы этого не допустили. Вещи я отобрал у киргиза и расплатился с ним деньгами. Мы щедро вознаградили казаков за их великую услугу нам, а также послали денег ямщику, который сильно расшибся и был отвезен в ближайший аул.

IX.

В форте Перовском я догнал свой батальон и расстался с Т. В состав батальона входило несколько человек таких же штрафованных, как и я, кто за панихиду, кто за близкие связи с кружком Арнгольдта [IX]. Понятно, что такие офицеры жили с солдатами хорошо — разделяли с ними труды и опасности, честно и заботливо относились к их интересам, прислушивались к их голосу, считались с солдатскими желаниями, не изводили солдат формализмом; всегда были вежливы и человечны, даже с провинившимся; а в силу этого между солдатами и офицерами возникла не уставная, искусственная связь, а естественное дружное сотрудничество для достижения ближайшей цели. Неподавленная самодурством, жестокостью, барским отношением свысока солдатская личность сохраняла ту бодрость, которая ей была необходима в исключительных обстоятельствах. Такая постановка дала блестящие результаты. Батальон совершил беспримерный поход в 2.500 верст по жаркой и почти безводной пустыне [1]), от Самары до Ташкента, и пришел на место в полном составе: больных и отсталых было менее, чем обыкновенно. Трудности похода я считаю достаточным описать в самых беглых чертах. Дорога до Аральского моря пролегала по бесплодной пустыне через солончаки и по пескам от колодца до колодца. Колодезной горько-соленой воды не хватало отряду, и пища, когда ее варили, была противна. Около Аральского моря колонна продвигалась по длинной песчаной пустыне Кар-Кум, и здесь вода встречалась еще реже. Эта пустыня, как живая, дышала жарким дыханием и передвигала свои части: ветер переносил высокие холмы с места на место, а дорога вилась между холмами сегодня здесь, завтра там. На такой зыбкой почве пешеходу трудно управлять движением ног. Но верблюды, благодаря упругой подошве, расползающейся при давлении ноги, как крутое тесто, шли уверенно.

Духота в Кара-Кумах томительная, а когда подует благодатный ветерок, то мелкий песок проникает всюду: за пазуху, в голенища, в рот, ноздри, уши. Эта часть путешествия была очень тяжела, но когда вышли на Дарью, стало не легче.

Большие реки Сыр-Дарья, Аму-Дарья и малые горные речки в Туркестане разливаются не весной, а летом, когда в горах тает снег. Путь наш лежал по берегу Сыр-Дарьи. Река выходила из берегов и затопляла дорогу. Интересно, что разлив и быстрое течение размывают правый берег Дарьи (течет в мери-

---

[1]) До Дарьи, конечно, безводной, при чем наш путь пролегал более чем 400 вер. по Кара-Кумским пескам. От форта Перовского батальон протащил на своих плечах 4 крепостных пушки до Ташкента.

диональном направлении), и укрепления на этом берегу приходится переносить все дальше и дальше на восток. Переправа в брод через небольшие горные речки, напр., Арыс, Чирчик, Зерявшан и др., возможна только на рассвете: в полдень прибывала вода, и сильное течение сносило и опрокидывало не только пехотинцев, но всадников и повозки. По разливам Сыр-Дарьи нашим солдатам приходилось волочить на своих плечах тяжелые крепостные пушки, по пояс в воде. К перевозке орудий была приспособлена верблюжья упряжка. Верблюд — незаменимое вьючное животное, но, как упряжное, ниже своей славы может быть и потому, что караван-баши злоупотребляют его выносливостью, полагая, что верблюд может обходиться вовсе без еды и питья. Несчастное измученное и голодное существо ложится, и тут уже никакие истязания не помогают. Поэтому солдатам и приходилось всю дорогу тащить пушки на лямках, как бурлаки тянут барку. Когда же мы вступили в Ташкентский оазис, стали попадаться крутые подъемы и спуски. Особенно мучительны были походы по безводным местам. На большой и прямой дороге между Ташкентом и Самаркандом лежит Голодная степь, по которой каждому туркестанцу пришлось проследовать раз 10, 12. Она тянется 120 верст между Чиназом на Дарье и Дизаком в горном ущелье. Воду для людей и животных нужно брать с собой: чем больше воды, тем больше перевозочных средств, чем больше перевозочных средств, тем больше нужно воды. Поэтому воды брали мало и отпускали солдатам недостаточные порции ее. Пустыню же проходили в двое суток, делая по 60 верст, а такой переход тянулся около 20 часов. И солдаты, без видимого раздражения, без проклятий, мужественно и безмолвно страдали, умирая от жажды и усталости. В каждой роте есть один-два, иногда несколько героев, людей вполне сознательных. В больших и малых делах они увлекают за собой всех, и авторитет их для солдат выше авторитета офицерского. Понять таковых и отнестись к ним с подобающим уважением обязан всякий порядочный и разумный начальник. Солдат не «святая скотина», а такой же незнакомец, такой же сфинкс для нас, как и мужик.

Завоевание Средней Азии осуществлялось военными экспедициями, которые неизбежно обусловливали одна другую: захватывая область в ее естественных границах, наталкивались на необходимость округления своих новых владений, а затем приходилось искать новых естественных границ и т. д. После экспедиции отряды не всегда возвращались на свои квартиры, например, перед взятием Самарканда значительный отряд оставался около года на передовой линии у Яны-Кургана, в Тамерлановском ущелье. Здесь, летом, офицеры и солдаты жили в шалашах из прутьев, камыша, цыновок, а на зиму офицеры строили себе

домики из глиняных комков; солдаты обитали в землянках. Зимою в этих краях идут непрерывные дожди, а по ночам — снег, и бывают небольшие морозы. Землянки заливались водой и рушились; глиняные хижины таяли. Неудивительно, что при таких обстоятельствах в отряде свирепствовал пятнистый тиф. В антрактах между экспедициями солдатам отдыхать не приходилось: они возводили укрепления, строили казармы, лазареты, казенные здания. Смертность между солдатами была велика, хотя туркестанские войска пользовались улучшенным довольствием и многие продукты стоили очень дешево: баранина, пшеничный хлеб, фрукты, рис, пшено, ячмень, клевер. Картофеля же, капусты, гречневой крупы, ржи вовсе не было в первые годы, а сахар, свечи для солдат были недоступны по цене и чай они пили с кишмишом. В штаб-квартирах службы было очень мало; для офицеров это был сплошной праздник: играли в карты, кутили, охотились на фазанов, кабанов, тигров, бывали у знакомых семейных. Библиотек и книжных магазинов тогда не существовало; читали очень мало. Кажется, в 1869 году впервые открылись любительские спектакли.

Всем известно, как беспощадны приговоры военного суда и как редко военные подсудимые получают оправдание. Может быть поэтому я ничего не слыхал о готовности осужденного солдата принять кару, как возмездие за содеянное преступление. Кроме того, солдата предавали суду за утраченную отвертку, за потерянную пуговицу, за пропавшую портянку. Мало привычный к обобщению, к отнесению частного случая к общей причине, солдат менее вооружался против военных постановлений и драконовских порядков, чем против формалистов и бессердечных начальников. В Туркестане и, сколько мне известно, на Кавказе до покорения, а также в турецкую кампанию солдат не предавали суду за подобные маловажные, да даже за более важные проступки. Другими словами, когда воинские части должны были служить той цели, для которой их готовили в мирное время, самые непререкаемые, неустранимые, воспитательные, исправительные и карательные максимы естественным путем сокращались до нуля. Отсюда неудивительно, что запасные, побывавшие на войне, являются благодарной почвой для пропаганды и революционно настроенным элементом в войсках, переведенных на мирное положение. И такое умаление уголовной практики в военное время нисколько не беспокоило властей. Да и нельзя было судить солдата, например, за промотание отвертки или шомпола, потому что после каждой битвы составлялся акт об испорченных и утраченных винтовках, амуниции, строевых и обозных лошадях и т. д., и некоторые командиры так щедро пользовались этим правом, что у них в цейхгаузах накоплялся второй комплект оружия и амуниции, выведенных в расход, и они сами не знали,

куда сбыть все это. От другой же, более важной уголовщины, например, от воровства, буйства, частных случаев неповиновения или дерзости, роты и батальоны иногда огораживались самосудом; при этом товарищеская расправа отличалась варварской жестокостью,—например, за воровство назначалась беспощадная порка. Может быть, этой жестокостью солдаты афишировали свою ненависть к узаконенному судилищу.

X.

Большое влияние на молодежь имели два замечательных человека: А. Е. Баранов [VIII] и А. В. Пистолькорс. Баранов, герой минувшей турецкой войны, служил в нижегородских драгунах — в первом по доблести полку русской армии. Блестящие подвиги Баранова при Баш-Кадык-Ларе и Кюрюк-Дара записаны в военных летописях. В одной из этих битв наш правый фланг никак не мог сломить турецкие боевые линии, за которыми стояли большие массы иррегулярной кавалерии. За нашим правым флангом стояли два драгунских полка: Нижегородский и Северский (кажется, или Тверской) с конной батареей. Два младших офицера, именно эскадронный командир Баранов и батарейный командир, если не ошибаюсь, Кульгачев, составили отважный план и решительным его выполнением содействовали поражению неприятельской армии. Кульгачев неожиданно заскакал с своей батареей в тыл лево-фланговым турецким батальонам и стал их расстреливать картечью. Картечь косила турок, которым некуда было податься: ни вперед, ни назад, пока не опомнилась турецкая кавалерия, стоявшая за этой пехотой. Всей массой она налетела на батарею Кульгачева и в один миг захватила ее, порезав постромки, перебив лошадей, изранив артиллеристов. В этот момент Баранов, кажется, с двумя эскадронами, ударил на турецкую кавалерию, отбил батарею обратно и рассеял иррегулярные турецкие полчища. За это дело он получил георгиевский крест. Баранов был практическим воспитателем молодежи, ходившей под его начальством на штурмы.

Обособленное военное общество жило своей исключительной жизнью, но видоизменялось в некотором соответствии с развитием русского общества, несколько отставая от него. Когда в обществе вымирал тип «Героя нашего времени», между военными встречался еще Печорин, хотя в это время уже нарождалась новая разновидность офицера: офицера-гражданина (Арнгольдт, Сливицкий 2-й и др.). Печорин не уживался в столицах: его тянуло на Кавказ, где жизнь кипела ключом. Военное движение 60-х годов Печорин прозевал, может быть, потому, что был уже в высоких чинах. Вероятно, в силу специальных усло-

вий военной среды дальнейшее превращение печоринского типа совершилось в одном направлении: Обломовых встречалось сколько угодно, а о Рудиных никто не слыхал. Затем, в 70-х годах в психическом мире военных происходила сложная дифференциация, мало заметная близко стоящему наблюдателю. Ясно определенные, резко очерченные характеры, вроде Печорина, Обломова, исчезали или превращались в иные формы. В социальном мире происходили сложные перемены, которым отвечало в мире психическом сложное брожение. Однако, во второй половине 70-х годов в русском обществе снова народился резко очерченный тип революционера, и к началу 80-х годов в военной среде снова оживает разновидность офицера-гражданина. В нашу критическую эпоху [1]), мне кажется, происходит тот психологический синтез, который строит два резко очерченных типа. Типические черты как бы мобилизуются, и выясняются две враждебные друг другу группы: революционеров и «патриотов»; конечно, есть и средние группы, но они расплывчаты и неустойчивы.

Пистолькорс, прослуживший на Кавказе около 20 лет, явился в Туркестан уже в больших чинах, украшенный многими боевыми отличиями. Он был начальником туркестанской кавалерии. Духовное его родство с Печориным было несомненно; но тут мы имеем дело с представителем вымирающего типа, и этим объясняется некоторая спутанность его характеристики [2]). Много лет вел он на Кавказе войну на два фронта: и с горцами и с начальством. Почему именно враждовал он с начальством, я не знаю. Очевидно, борьба с горцами служила ему только развлечением и не насыщала его мятежную душу: он принадлежал к боевому типу вечно недовольных и протестующих; в военной среде таких было не мало, и назывались они «беспокойными». В Туркестане своими злыми сарказмами и ядовитыми насмешками он создал себе много врагов, между которыми были и благородные люди, и, наконец, враги соединенным натиском одолели его, и только генерал Кауфман, ценивший его военные доблести и дарования, отстоял его. Пистолькорс уехал уже в генеральских чинах после Самаркандского похода на родину, в Остзейский край и там скоро умер. Эта крупная личность была привлекательна для молодежи, которою он окружал себя. Жил он широко, и ежедневно у него собирались. Там иногда было можно встретить людей с громкими именами; но под его кровлей исчезали все чиновные и сословные неравенства. Блестящий граф и поручик из плебеев встречались как товарищи, и такие отношения не прекращались за порогом его дома. Вечером,

[1]) Автор писал свои «Воспоминания» в 1906—1907 г. *Ред.*

[2]) Говорят, Пистолькорс был героем романа Л. Н. Толстого «Набег».

играли по маленькой в коммерческие игры, потом ужинали. За ужином вина было более чем достаточно, и начиналась живая общая беседа, при чем центральной фигурой был всегда сам хозяин, блиставший умом и парадоксами. Пистолькорс был очень образованный человек, и у него была хорошая, и в те времена единственная в Ташкенте, библиотека. Он отчасти руководил чтением своих молодых друзей: я, например, знал Сен-Симона и Фурье только по наслышке, и он заставил меня прочитать этих авторов в подлиннике. Хотя застольные беседы у Пистолькорса протекали прихотливо, но никогда не были банальны: наш хозяин не терпел пошлости. Молодежь, склонная к доктринерству, подымала теоретические споры, которым он придавал особенную остроту своими меткими замечаниями. Словом, беседы Пистолькорса походили на эпикурейские вечера. Замечания Пистолькорса были всегда интересны. Однажды, например, он так резюмировал предшествовавший спор: «Слушал я вас, г.г., с глубоким вниманием. Взгляните на него, г.г. Сидит он, поджав ноги, как китайский божок, и, с детской улыбкой на розовом лице, ломает, попирает, разрушает, и, по его следам, все трещит и валится, как за медведем в лесу. У вас женский склад ума: вы мыслите не аналитически, а, пожалуй, интуитивно. Все, что вы говорили—это слова, слова, слова, которые нам приходится принять на веру». Ему оставалось только прибавить: «укажите нам дело». Однако, этот отважный, но усталый человек заканчивал скептической сентенцией: «Ведь разрушать легче, чем созидать»...

Особенно любопытны были развлечения этого кружка, имевшие также в виду и боевую подготовку молодежи, пикники без дам, охота на кабанов и тигров. Поздно вечером кавалькада выезжала крупной рысью за город. За офицерами ехала дежурная полусотня, со значком начальника кавалерии из черного шелка с серебряными кистями, на полотне которого была вышита мертвая голова и два пистолета накрест. За городом лошадей пускали марш-маршем по прямому направлению, минуя дорогу. Дружная скачка горячила и коней и всадников, и они рисковали на такие волтижерские подвиги, на которые не решились бы в другое время: сползали на крупе лошади с кручи, прыгали через стенки и широкие арыки, карабкались по едва доступным подъемам и, наконец, выезжали на широкую поляну в роще, где уже пылали костры. Там спешивались и садились на ковер в большой, нарядной бухарской палатке, отвесные стенки которой были поставлены полукругом, и приступали к приготовлению в большом котле жженки или глинтвейна. Казаки, которых обильно угощали спиртом, садились тоже полукругом по ту сторону палатки. Когда загорался ром в котле, жарился шашлык, и хор запевал песню. Пистолькорс отдавал приказ

казакам: «начинай!», и казаки открывали пальбу боевыми патронами в палатку, пули летели над нашими головами. Тут, по примеру Пистолькорса, некоторые удальцы приподымались под каким-нибудь предлогом, стараясь это сделать так же непринужденно, как он. Такие удалые выходки повторялись все чаще и чаще по мере того, как выпивалась жженка, а Пистолькорс кричал: «Целься ниже!» Пули свистали над самыми головами, и тогда жгучее удовольствие становилось весьма опасным.

Охота на кабанов была безопасна и выгодна. Войсковые части отправляли охотников командами, со всем необходимым для дальнего промысла, и оттуда, время от времени, высылались на арбах в батальонные штабы битые туши для продажи и на улучшение ротной кухни. Каждая рота приваживала много собак-дворняжек. Солдаты, оторванные от родины и родных, привязывались к этим верным и полезным животным. В походах ротные собаки бежали перед авангардом. На аванпостах рыскали перед цепью и своей бдительностью и чуткостью чрезвычайно облегчали сторожевую службу. Во время битвы они находились при ротах; но, как только рота вступала в сферу ружейного огня, они, поджав хвосты, уносились к обозам. Ротные собаки делали охоту на кабанов совсем безопасной. Мужественно нападая на зверя, целыми стаями, они так его занимали, что охотник подходил вплотную и стрелял в упор. Охота на тигров была очень опасна и не обходилась без жертв до приезда в Ташкент кн. Барятинского, который применил к этой охоте ружья, стреляющие разрывными пулями.

Теперь я попытаюсь дать характеристику другого выдающегося человека. Капитан Чайковский [1]), получивший образцовое воспитание в учебной воинской части, принял роту в боевом батальоне. Ч. был безусловно честный человек, строгий, энергичный. Не суббота для человека, а человек для субботы— было принципом его управления. На свою роту он смотрел, как на распутный сброд, и стал насаждать в ней казарменные порядки, подобные тюремным. В мирное время фанатики дисциплины нередко добиваются удивительных эффектов, подобных тем, которые показываются в цирке. Таких командиров боятся, слушаются и ненавидят, а недобрые чувства—плохая гарантия для порядка и дисциплины. К тому же пылкий Ч. иногда позволял себе обзывать роту в целом составе бранными словами, вроде: «арестанты, варнаки» и пр., не считаясь ни с личным достоинством ни с l'ésprit de corps своих боевых товарищей, а это являлось уже двойным оскорблением. И вот, перед экспедицией, солдаты громко заявили: «Первая пуля нашему ротному командиру!». Предостережение, переданное ему, он принял

---

[1]) См. прим. V. *Ред.*

с гордым презрением. В походе пехотные офицеры ехали верхом; это было разумное отступление от порядков мирного времени. Офицеры ехали чаще всего в голове колонны, а не на своем месте. Ч. в походе шел пешком перед своей ротой. Солдаты раздражались, полагая, что Ч. хочет вести их по безводной пустыне церемониальным маршем. Однако, они скоро заметили, что он идет с ними не для бесполезного стеснения их своим присутствием, а по иным, более разумным соображениям, и стали с особенным вниманием приглядываться к нелюбимому, но отныне интересному командиру. По приходе на бивак офицеры располагались на своих складных кроватях, пили чай, обедали и т. д., предоставляя унтерам все заботы о солдатском отдыхе и пр., и в этом не было ничего дурного, потому что солдаты великолепно обходились без офицера, призывая его, когда это нужно. Ч. сначала самолично делал всевозможные распоряжения, контролировал их исполнение, а затем уже вспоминал о себе. Суровый, без дружелюбной улыбки, без приветливого слова, без веселой шутки—что так привлекает солдатские сердца,—он, несмотря на свою усталость, шел проведать своих больных и делился молча с ними своим чаем и сахаром так деловито, словно он раздавал казенный сапожный товар. Отношение к нему солдат стало меняться: к нему стали относиться со смешанным чувством недоверия, суеверного страха и невольного уважения. Потом, в малых стычках, в полевых делах, на штурмах, в схватках на улицах неприятельского города, он всегда был впереди, спокойный, решительный, бесстрашный, распорядительный и особенно внимательный к раненым. Это создавало ему известность в отряде, и об нем заговорили посторонние солдаты: «Ну и молодец же командир N роты!» С этого времени рота Ч. стала гордиться своим командиром; да и сам Ч., может быть, незаметно для себя, а, может быть, после тяжелой душевной драмы, изменил своему прежнему credo. Люди такой категории, люди долга, своеобразно понимаемого, при благоприятных обстоятельствах из Савла делаются Павлом.

В кружке Пистолькорса господствовала полная свобода слова, и неблагонамеренные речи выслушивались сочувственно: почему же, в самом деле, за стаканом вина не поговорить о меньшем брате, не погорячиться о добре? Радикальные же политические, а чаще экономические разговоры, велись не на людях, а в другом месте, в тесной дружной семье: но и тут они были бесплодны, оставаясь в сфере благих пожеланий.

XI.

Распространяться о туркестанских битвах после Манчжурской кампании не приходится. Коканцы, бухарцы, туркмены

нападали на наши маленькие отряды, в 2 или 3 тысячи человек, большими нестройными массами в несколько десятков тысяч. Эти храбрые и лихие наездники на превосходных лошадях были очень дурно вооружены и совсем неорганизованы. В полевых делах они были не стойки, в укрепленных городах держались упорнее. Старинные, разнокалиберные, гладкоствольные, неповоротливые пушки стреляли только ядрами да картечью. Бесчисленные фальконеты шумели, но не поражали. Пехоты, дурно обученной и плохо вооруженной, было немного, и она заблаговременно уходила, а если ей это не удавалось (например, при Зари-Булаке), то ложилась под нашей картечью. Большие кавалерийские массы, пользуясь своим численным превосходством и быстротою коней, окружали русский отряд. Как черные грозовые тучи, мчались со всех сторон на маленькие русские группы эти конники, и казалось, что надвигающаяся лавина сейчас обрушится и поглотит жалкую горсть людей; но эта горсть метала по всем направлениям молнии: картечь, гранаты, ракеты. Боевые ракеты, оставлявшие за собой огненный след, пугали лошадей и производили неописуемое смятение в неприятельских колоннах. Отбитая кавалерия быстро уносилась назад, и тогда артиллерия противника становилась легкою добычей. После одного такого дела (при Ирджаре), когда неприятельская артиллерия за завалами была нами взята и наш батальон, батарея и несколько сотен казаков получили приказание проследовать вперед и занять два больших лагеря, брошенных бежавшим неприятелем, наш командир полковник Пищимуки, начальник этого отряда, поставив, где нужно было, часовых в неприятельских лагерях, расположил свой отряд на позиции вне этих лагерей. Тут ему доложили разъезды, что около лагеря бродит отборный и хорошо вооруженный отряд бухарских кавалеристов, который назывался «бессмертными» (человек сто, вооруженных двустволками и револьверами), и что в нескольких верстах, на пути неприятельского отступления, медленно тянутся тяжелые орудия, увезенные неприятелем заблаговременно с позиций. Пищимуки, взяв с собою казаков, отправился вперед, чтобы захватить пушки, а если возможно, то и «бессмертных», а меня назначил, вместо себя, начальником. Так как в нашем отряде были офицеры старше меня чинами, то я и полагал, что он меня оставил за командира нашего батальона, а начальство над авангардом, за его отъездом, переходит к старшему в чине. День был очень жаркий; с раннего утра мы ничего не ели; жажда нас мучила, и я отпускал своих стрелков командами к берегу Сыр-Дарьи за водой. Вскоре мне доложили, что казаки грабят бухарский лагерь. Посланный туда офицер сообщил, что казаки берут только съестное, чай, рассыпанный по лагерным улицам, чайную посуду да палатки, чтобы укрыться на

сегодня от зноя. Кто знает, какой тяжелый багаж несет на себе в походе пехотинец, тот поймет, что солдат не в силах унести с собой еще и бухарскую палатку. Поэтому я и дозволил своим стрелкам взять по несколько палаток на роту да чаю на заварку, а вскоре прибыл к нам командующий войсками и в свите его комиссия для описания военной добычи. Генерал прослышал о разграблении лагеря и прибыл для того, чтобы самолично учинить расправу над виновными. Мои объяснения он признал неосновательными и пригрозил мне полевым судом за разграбление лагеря. У стрелков комиссия отобрала десятка два палаток, а у казаков, кроме палаток, некоторое количество ценного оружия и уздечек, украшенных серебром и бирюзой, и т. п. Ходатайство за меня начальника кавалерии и вернувшегося Пищимуки сначала встречено было холодно, но когда начальник авангарда указал генералу на новые трофеи, т.-е. на захваченные им пушки и на кучку пленных «бессмертных», при чем заявил, что будто я с своей ротой содействовал этому пленению, чего на самом деле не было,—то командующий смягчился и решил оставить без последствия дело о разграблении лагеря, но пообещал вычеркнуть меня из наградных списков.

Перед штурмом надевали чистое белье, и в отряде наступала жуткая тишина, только издали,—оттуда, где делались штурмовые лестницы,—долетал неприятный стук забиваемых гвоздей, который подымал в душе беспокойство: казалось, рядом сбивали большой гроб, который завтра опустят в братскую могилу. Штурму предшествовали разные действия: рекогносцировка, постройка насыпи для батарей и ложементов для пехотного прикрытия, бомбардировка крепости, измерение крепостного рва и т. д. Самое развитие боя редко совпадало с диспозицией. Например, при штурме Ходжента предполагалось, что правая, самая сильная колонна ворвется первая в город и отворит Кленауские ворота левой колонне; но правая колонна была отбита, а левая сама овладела воротами. Предполагалось, что в голове штурмующей колонны пойдут охотники с лестницами, а на деле колонна, пустившаяся бегом, обогнала охотников, медленно тащивших длинные лестницы. Невысокая передовая стена была взята без труда, и атакующие, поднявшись на ту сторону рва, оказались перед воротами между двумя башнями, из бойниц которых стреляли в упор, а сверху летели камни и бревна. Сгоряча солдаты принялись разбивать ворота прикладами, но приклады без толку ломались, тогда вспомнили о шанцевом инструменте, забытом в ложементах, и о лестницах, брошенных, как оказалось, перед первой стенкой. Такое упущение ставило атакующих в чрезвычайно опасное положение. К довершению неурядицы начальник колонны был жестоко избит камнями; но этот опытный и славный воин сумел быстро восстановить

порядок: охотников оставил за первой стенкой, приказав им энергично обстреливать крепостные бойницы, и немедленно отправил расторопных людей за шанцовым инструментом в ложементы. Раньше, чем были доставлены лестницы, топоры и ломы, солдаты, с помощью штыков, вбитых в отвесную глинобитную стену, стали подыматься; они лепились, как стрижи, по всей стене до зубцов. Обстреливаемые охотниками защитники крепости стали прятаться, а потому и хуже направлять огонь, камни и бревна. Перевешенное наверху стены для метания бревно принималось от неприятеля, передавалось из рук в руки и осторожно опускалось на землю, не задевая людей внизу. И в тот момент, когда явились первые топоры и ломы, которыми начали разбивать ворота, какому-то солдату пришло в голову воспользоваться спущенными бревнами, как тараном. Эти тараны действовали очень удачно, а главное, кипучая и дружная поголовная работа занимала всех, и этим изглаживалась опасная мысль о неудаче с ее роковыми последствиями, и, взамен неизбежного при неудаче недоверия к командирам, явилась мысль, хотя и неясная для всех, о соединенных усилиях офицеров и подчиненных, как о необходимом условии не только для исправления ошибки, но и для победы. И солдаты в таких случаях отличаются большей чуткостью, чем те офицеры, которые склонны приписывать себе успех, а неудачу относить на счет солдат. И отношение солдат к офицерам, честно разделяющим с ними труды и опасности, с одной стороны, и к парадным командирам, деятельность которых в бою иногда слишком стушевывается— с другой, резко различное: за первых они жертвуют жизнью, а вторых третируют со скандальной дерзостью, которую вынести могут только люди отпетые.

Наконец, в проломанные ворота ворвалась колонна. По диспозиции, она должна была занять все башни влево до Сыр-Дарьи, привести в негодность неприятельскую артиллерию на стенах, сдать раненых на берегу Дарьи в баркас, посланный из вспомогательного отряда с той стороны реки, и двинуться оттуда кратчайшим путем к цитадели, на помощь к третьей колонне, назначенной захватить цитадель. Все это было легко исполнено, хотя на улицах приходилось брать баррикады или, лучше сказать, земляные насыпи солидной профили. В одном месте, едва только голова колонны повернула в широкую улицу, как с большой баррикады последовал залп из фальконетов и ружей. За один момент перед тем солдатик, из самых незаметных в 4-й роте стрелкового батальона, Сахаров, оттолкнул своего ротного командира и прикрыл его своим телом, а через несколько секунд упал на его руки смертельно раненый. Жизнь этого офицера была куплена ценою великой и благородной жертвы, на которую он добровольно не согласился бы. Понятно, что этот офицер

считал себя потом всегда в долгу перед солдатами. Этот залп вывел из строя около десятка солдат потому, что неприятель сделал ошибку: если бы колонна втянулась в улицу, то результат был бы несравненно губительнее. Зарядить вторично свое оружие защитники баррикады не успели потому, что несколько человек солдат инстинктивно, а может быть, и по расчету, бросились бегом вперед, увлекая за собой всю колонну; таким образом, сильная баррикада была взята.

Описание других битв было бы повторением сказанного с небольшими вариациями.

Я возвратился в Россию уже в штаб-офицерском чине.

XII.

Либеральные начинания той эпохи были разбиты встречным течением. В силу интерференции волна слилась с долиной, и тьма поглотила свет. Какие перемены внесла эта коллизия в военную касту? Но русская весна 60-х годов была так скоротечна, что не успела всколыхнуть хорошенько военные слои; а наступившая мгла слишком искажала очертания каждого образа, и я чувствую, как почва ускользает под моими ногами при попытке уловить что-нибудь особенно новое в людях и делах их до начала нового периода, т.-е. до конца 70-х годов. Неудивительно, что в те времена, которые я описываю, времена процветания сатиры, мне вспоминаются ясно только гоголевские типы из военной среды да их деяния. Замечательно, что рассказы из военного быта 50 — 70-х годов наших больших писателей, напр., военные рассказы Толстого и Гаршина, обходят мирное время и воспроизводят картины и типы военного времени. Насколько мне известно, только Иванович [IX] дал несколько замечательных очерков из «мало знакомого быта» в мирной обстановке[1]). В рассказах из военного быта мирного времени описывалось обыкновенно офицерское общество да изображался удивительный тип русского Фигаро — офицерского денщика, и только в очерках из военного времени мы встречались с героическим образом русского солдата. И это не даром. Гарнизонная служба сплачивает солдат в одну безразличную массу, и героические, или индивидуальные, выступления при этом едва ли возможны. Мирный режим у нас создает хорошо натасканного эквилибриста и аккуратнейшего исполнителя, напоминающего собой старо-немецкого капрала. Но при этом бросаются в глаза природные способности русского солдата, не привитые казармой. Молодые солдаты вообще отличались удивительной восприимчивостью и гибкостью. Даровитый рус-

[1]) Лучшие рассказы Тхоржевского относятся к военному времени.

ский человек, как Протей, способен к быстрым и разнообразным превращениям. Фабричный рабочий, земледелец, мещанин, мастеровой и пр. и пр. с большой скоростью превращался в центавра-кавалериста, в морского волка, в солиста на корнете, или другом инструменте, в полкового фельдшера, в канцеляриста, вершающего в сущности за спиной адъютанта все канцелярские дела, в сановитого швейцара, в дворника-цербера и, как показали недавние события, в сознательного крамольника. И до всего этого они доходили, главным образом, своим умом, потому, что казарма пыталась из них сделать только будочника и бессловесного автомата. Вся строевая подготовка в роте и преподавание в ротной и полковой школе в сущности лежала на солдатах же — унтерах; а на офицеров возлагалось общее руководство и направление обучения и воспитания. Иначе и быть не могло потому, что начальство слишком подозрительно относилось к сближению младших офицеров с солдатами. Солдату давали строевую выправку и от него требовали знания на зубок солдатского катехизиса («словесности»), исправности, безусловной исполнительности и показного искусства. Потом наскоро сколачивали шеренги в роты, роты в батальоны. Занятия стрельбой были продолжительнее и, может быть, немного основательнее. На смотрах-экзаменах показывали товар лицом, для чего мало-по-малу слагалась длинная серия фокусов, которые совершались по общему соглашению. Ротные командиры обманывали полкового; все гуртом обманывали начальника дивизии и т. д. Понятно, что без содействия солдата такие операции невозможны. Солдаты даже отмечали свое содействие в данном случае соответствующим термином: «Мы пригнали начальнику дивизии (или другому инспектору) наушники». Я, как участник подобных манипуляций, утверждаю, что таким путем удавалось пустить пыль в глаза самому опытному, осторожному и сведущему инспектору.

«Человек в футляре» поможет читателю вообразить себе солдатского педагога; только скрытая задача воспитания — отупение воспитываемого — проявлялась в войсках откровеннее. Для решения этой задачи приходилось соединять несоединимое: государству нужны были врачи, техники, юристы, учителя и т. д., т.-е. специально образованные, но при этом послушные и обезличенные люди; государству также нужно было пушечное мясо, но одушевленное героизмом. И для такого дела находилось более чем достаточно упорных сотрудников.

Небольшая сцена из военной жизни покажет, какая при этом выходила путаница. Мы на экзамене для производства в унтер-офицеры окончивших курс полковой учебной команды. Председательствует командир полка, полковник Стоколов, крупный, кряжистый человек с большой головой, стриженной под гребенку;

бакенбарды его кустятся и на скулах топорщатся; говорит он зычным голосом. Перед комиссией читает красивый солдатик звонким голосом что-то про диких свиней и про охоту на них. «Довольно! Расскажи, что прочитал», — останавливает его полковник. Лицо солдатика краснеет, брови подымаются, лоб морщится, губы беззвучно шевелятся, и он время от времени подается или, лучше сказать, суется всем телом вперед. Очевидно, бедняга все понял, но не находит выражения для своих мыслей; наконец, встряхнувшись, он произносит: «Кабан... ваше высокоблагородие!» — «Ну, что же такое кабан? Расскажи, братец, понятнее, пояснее!» — «Свинья, ваше высокоблагородие!» — «Сам ты свинья! Пшол! Животное! Полюбуйтесь на эту скотину!» — гремит Стоколов и гневно качает головой в сторону преподавателей. На смену выступает очень бойкий батальонный писарь, и законоучитель (полковой священник) заставляет его прочитать «Верую». Писарь трещит, как электрический звонок. «Скажи, братец, что такое значит: «И воскресшего в третий день по писанию?» — «Значит, ваше высокоблагородие, Христос воскрес и расписался!» — отвечает тот без запинки. «Осел! Где же он расписался?!» Писарь, не смущаясь, старается подыскать ответ, но это ему не удается. «В разносной книге что ли, болван?!» — «Так точно!» — радостно отвечает тот. «Дубина! Пшол!» — кричит весело Стоколов, и на лице его сияет довольная улыбка. Третий солдатик на вопрос: почему последняя неделя поста называется страстной, выговаривает стремительно: «Потому, ваше высокоблагородие, что на седьмой неделе Христос предался всем страстям своим!» Батюшка с упреком замечает: «Опомнись! О ком ты это говоришь!! — «Экая скотина! Экая дурачина!»—тихо и любуясь солдатом, произносит Стоколов: он доволен и лучше батюшки понимает, что солдатик по непривычке к мышлению только дико выразился; это сейчас же подтверждается. На вопрос: каких прав лишается солдат, приговоренный к каторге? — тот дает топорно выраженный, но верный ответ: «Лишается воинского звания, лишается, ваше высокоблагородие, всего своего имущества и своих отеческих чувств!» (т.-е. права состояния, семейные права). Экзамен прошел блистательно: все удостоились производства в унтер-офицеры; Стоколов остался очень доволен и благодарил. Таких знаний и такого развития было за глаза достаточно для солдата, лишь бы строевая и дисциплинарная выправка кандидата соответствовала требованиям командира.

Каждый солдат, кроме действительно необходимых сведений, должен был знать наизусть, напр., все начальство, по восходящей линии до министра, с подробным указанием на чины, титулы, должностное положение, имя, отчество и т. д. И на инспекторских смотрах высшее начальство неизменно получало смешные ответы,

напр.: «Кто я таков?» — спрашивает начальник дивизии молодого солдатика, совсем сбитого с толка солдатской словесностью. «Вы изволите быть, ваше благородие, его превосходительство генерал... генерал... генерал-бомбардир! Ваше благородие!» — «Сами вы бомбардир и рота ваша бомбардирская!» — обращается обиженный генерал к ротному командиру. «А кто у тебя, братец, командир полка», — спрашивает он другого. — «Г-н Блинов, а прозывается он Попов!». (Блинов полковой командир, Попов — батальонный) — «Да, я вижу, подполковник Попов, что и батальон ваш бомбардирский!»... — «Ну, скажи ты, какие у меня глаза?» Этот вопрос мог бы поставить втупик весь полковой штаб с командиром полка во главе. Солдатик топорщится на генерала и молчит; на выручку ему спешит капральный, нашептывая: «голубые, голубые, голубые». — «Глупые, ваше превосходительство!» — выкрикивает солдатик тем тоном, каким было сказано когда-то: «Эврика!» — «Ну, полковник Блинов, я могу поздравить вас с великолепными результатами зимних занятий в полку!» — иронизирует генерал. Однако, смотр сходит благополучно, потому что подобные неудачные ответы получались очень часто, да, к тому же, они скрашивались «молодецкими» ответами; значит, все обстояло благополучно.

Зимою роты расквартировывались по деревням и находились на хозяйском довольствии, при чем хлебный паек, т.-е. 1 пуд 28 ф. муки в месяц на солдата, следовало отдавать хозяину, но этого никогда не бывало. В конце месяца сельское или волостное правление уступало следуемый крестьянам провиант за несколько ведер водки и выдавало ротному командиру квитанцию, где говорилось о получении полностью пайка и о том, что постояльцы никакой обиды хозяевам не причиняли. «Прощенный» крестьянами провиант составлял весьма значительную доходную статью для полка, поступая в экономические суммы. Не трудно понять, как велика была эта мужицкая жертва. Если в деревне, напр., на постое находилось, положим, 30 человек, то, взамен двух, а может быть, одного ведра водки, деревня уступала роте ежемесячно 50 пудов с лишним муки. О хищении и безгрешных доходах распространяться не стоит. Всякий старослужащий знает на этот счет факты, могущие показаться на первый взгляд небылицею. Один командир держал лошадей, чуть ли не круглый год, на подножном корму, подкармливая их к смотру, как говорили насмешники, цитварным семенем. Другой командир получал с отхожего места при полковом лазарете 400 рублей в год: он вовсе не топил там камин, который следовало топить непрерывно целый год для вентиляции, а справочные цены на топливо в тех местах были очень высокие. Не стану говорить о грошах, которыми пользовались иногда в свою очередь младшие начальники. Беспокойных обличителей беспощадно

гнали и выживали из полка; к равнодушным относились благожелательно, а сотрудников отличали и выдвигали. Так, фактор хищения влиял на все другие отношения в полку, совершая искусственный подбор плутов. Так укоренялась и ветвилась сама система хищения, заражая и развращая даже солдат. Лучшие, честнейшие солдаты, выбираемые ротой в артельщики, начинали мало-по-малу мошенничать. Для устранения этого ввели новых выборных от каждого капральства (взвода) — «комитетчиков» — для надзора за артельщиком. Эти контролеры или делились с артельщиком или молча смотрели, как их товарищи обманывают своего же брата. Некоторые ближайшие начальники, которым было слишком больно видеть такое распутство, а искоренить его они были не в силах, упрашивали или, превышая власть, запрещали солдатам выбирать лучших людей в артельщики, чтобы спасти их от соблазна и падения, а высшее начальство прямо таки постановило ни в коем случае не выдавать артельщику на руки более 30 рублей.

Плутовская организация развертывалась, пуская отростки и разбрасывая свои ядовитые споры, а честные люди приходили в отчаяние от своего бессилия. Разговоры в дружеском кружке не могли обходить такой жгучей темы и невольно склонялись к насильственному решению, может быть, по свойству военного человека не развязывать, а разрубать гордиевы узлы. Речи о притеснениях, произволе, казнокрадстве старших, о податливости младших прерывались возгласом: «Нет, г. г., я обругаю публично N N вором и дам ему в морду!» — «Напрасно, — следовало возражение, — тебя отдадут под суд, а все останется постарому!» — «Самодура повалить не трудно, но уничтожишь ли этим самодурство?» (Добролюбов.) Всем становилось ясно, что наши домашние дела пребывают в тесной связи с общими делами и порядками в России, и сказанная в эту минуту удачная цитата, напр.:

За кого ж ти роспинався,
Христе, сыне божий?
За нас добрых? Чи за слово
Істини? чи, може,
Щоб ми з тебе насміялись?
Воно-ж так і сталось!
Храми, каплиці і иконы
І ставники, і мірри дым,
І перед образом твоим
Неутомленні поклони
За кражу, за війну, за кров,
Щоб братню кров пролити просять:
А потім в дар тобі ж приносять
С пожару вкрадений покров...

(Шевченко).

— воспламеняла отзывчивую душу и просветляла сознание, создавая боевое настроение у людей, вовсе несклонных к рево-

люционному протесту, но поставленных в безвыходное положение: или сделаться подлецом, или погрузиться в тину пошлости, или восстать против порядков, сеющих черную неправду и потому роковым образом пожинающих бурю. Так сама жизнь подготовляла девственную почву к будущему посеву освободительных идей в общественных слоях, наименее доступных литературным и иным влияниям. Более стойкие и чуткие рвались к свету, менее стойкие изнемогали и безнадежно погибали: и пробуждение людей к свету не обходится без жертв. В военной среде жертвы эти для более интеллигентных, но менее приспособленных к грубым и жестоким условиям военной жизни, напр., для военных врачей, принимали такой вид: доктор Иван Никанорович Никаноров, искусный, опытный и счастливый врач, имел обширную практику не только в городе и его окрестностях, но и в дальних уездах. Для своих разъездов он держал бричку и пару лошадей; в этом состояло все его богатство, так как он был бессребренником. Дела у него было достаточно, и полковой кошмар, повидимому, его не захватывал. Однако, полковая жизнь, как спрут, втягивает в пучину все, что попадает в ее сферу. Он работал в лазарете, ездил на практику и напивался, что до поры, до времени не мешало ясности его суждения. Однажды он просил меня ночевать у него. «В последнее время я много шалил и чувствую себя нехорошо. Я говорю, я сам доктор и знаю в чем дело, а все-таки страшно». Всю ночь около его кровати горела свеча, и там же стояла водка. Когда он стал забываться, перед его лицом явилась страшная голова с рогами. Эта прозрачная образина, по его словам, просвечивала, как бы освещаемая сзади бенгальским огнем, и меняла красный цвет на зеленый; но на этом фоне сверкали огненые глаза. «Я не знаю, что мне делать? Принять ли хлоралу или выпить водки?» Он выпил водки, успокоился и, кажется, заснул. Разъезжал он и летом в теплом пальто, подымая меховой воротник, чтобы не видеть «теней», которые неслись по воздуху по сторонам экипажа. Он погонял кучера в тщетной надежде обогнать эти видения. Кучер-денщик терял голову, лошади мчались и натыкались на камень или встречную повозку. Однажды утром, часов в 5, ко мне прибежал этот денщик. «Пожалуйте, ваше в-дие, к Иван Никаноровичу: они нездоровы». Иван Никанорович сидел на кровати, всклокоченный, свесив ноги. На столе была водка и сардинки. «А, здравствуйте, батальонер! Со мной беда! Я говорю: Выпейте водки, вот сардинки. Я доктор, я говорю и понимаю, что со мной галлюцинации, а все-таки страшно... Вчера вечером заиграла музыка тихая, печальная и приятная: открылося вот это окно, и в окно вошла моя покойница-жена в белом платье... Вдруг она пропала, а окна стали открываться и захлопываться, а из окон закричали: «Иван Никанорович,

не болит ли у тебя голова?» Мне это было, я говорю, очень неприятно, и я лег и закрыл голову подушкой. Когда все прошло, я сел на кровати... Смотрю, а с правой стороны, внизу, пять теней, а с левой — четыре. Правые кричат: «Иван Никанорович! пей больше — наш будешь!» А левые: «Не пей, Иван Никанорович, а то умрешь!» Ну, я был, я говорю, в затруднительном положении и решил по большинству голосов. А все же послал за вами».

Другой, очень способный молодой врач, был вынут из петли, третий зарезался, четвертый спился и сделался полковым шутом и т. д. Правда, половина врачей, мало-по-малу влезла в казенный «футляр»; очень немногие, окончив обязательный срок, бежали из военной службы и, насколько я знаю, только три врача вступили в 1882 г. в военную организацию [1]). Офицеры пили, и с горя, и с радости, и от скуки, и для компании, и по инерции, и по привычке, ставшей повелительной потребностью. Солдаты пили несравненно менее, а расплачивались за это удовольствие несравненно дороже. По службе, думаю, солдаты были исправнее г.г. младших офицеров. Самыми лучшими служаками были молодые солдаты; на третий год службы они начинали опускаться. Разумеется, в каждом полку бывали офицеры службисты — по призванию и службисты, так сказать, эстетики. В начале 70-х годах еще дослуживали николаевские могикане; они били солдат нещадно. Мне показывали одного старого офицера, который сломал себе руку, ударив солдата. Один капитан, пробуя пищу из черпака, ударил кашевара, стоявшего в уровень с краями котла, где варилась пища на две роты: кашевар упал в котел и сварился там. Пищу выбросили и заставили капитана купить продукты на свой счет, а дело замяли, отставив убийцу от должности. Рукоприкладство мало-по-малу выходило из обихода; но окончательно не прекращалось до 80-х годов. Секли штрафованных по назначению ротного, батальонного и полкового командира, а также по приговору судов полкового и окружного. В некоторых войсковых частях в 70-х годах, в зависимости от личных взглядов начальства и от состава командиров, рукоприкладство и сечение применялось очень редко. Делая, так сказать, выставку разных монстров, было бы недобросовестно с моей стороны не упомянуть, что в течение 20-летней службы я встречал не мало командиров разного ранга, о которых я вспоминаю с уважением, иначе казарма и лагерь превратились бы в Бедлам, или, по меньшей мере, в арестантские роты.

---

[1]) По официальным данным известен лишь один врач: Владимир Витальевич Чаушанский, младший врач 159 пехотного Гурийского полка. В 1882 г., по распоряжению военного министерства переведен из Самары в 7 Кавказский линейный батальон, в Дагестанскую обл. Впоследствии—известный доктор. *Ред.*

XIII.

Какую роль играла личность в полковой жизни? Несомненно, командир полка давал тон и направление полковой жизни: он пользовался большой, пожалуй, неограниченной властью и нередко вторгался в личные и семейные дела офицеров (о солдатских нечего и говорить). Умные и властные командиры держали общество офицеров в кулаке, действуя по правилу divide et impera. Предприимчивые, или лучше сказать, суетливые, но недалекие командиры не всегда достигали той же цели. Эти командиры зарывались и вызывали своей бестолковостью протесты и создавали «истории», которые высшее начальство, оставаясь всегда на стороне командира полка, однако же, не одобряло из опасения огласки. Но власть командира полка была поставлена так твердо, что не терпела большого умаления даже в руках командира слабохарактерного. За спиной такого командира стояли фавориты (иногда батальонный командир, иногда полковой адъютант и пр.). Временное проявление самостоятельности, смена фаворитов и бестактность командира придавали внутренней полковой политике капризный характер и вносили бестолковщину и смуту во все дела. В начале 70-х годов еще дослуживали командиры-бурбоны. Самомнение этих людей умерялось их здравым смыслом и опытностью, а грубость — их податливостью и наклонностью к соглашению, если только они встречали знающего и трудолюбивого человека. Это была невольная дань малообразованного человека человеку большего развития. Бурбоны любили прикидываться добродушными простачками, но отличались большой ловкостью, иногда коварством. Общество офицеров, жившее дружной семьей, связанной товариществом, могло рассчитывать на успех в своих столкновениях с начальством; в противном случае возможны были только единичные протесты обиженного или «беспокойного» человека. Жалобы на командиров или «претензии» на смотрах редко разрешались удовлетворением истца. Вот несколько пояснительных сцен к вышесказанному.

По окончании лагерного сбора, полк N отправлялся на зимние квартиры, по деревням. Командир полка Сыропустов, очень пожилой, крупный человек, с маленькой головой и небольшими беспокойными глазками, собрал всех штаб и обер-офицеров и делал им такое напутствие:

«Ну, слава богу! Отбыли высочайший смотр благополучно. Спасибо! Теперь пойдете по деревням. Смотри у меня, не опускайся! Не спи, тово, как ево... на лавровых листьях! Я, знаете, как говорится, еду, еду... тово, а приеду не спущу! Ну, там прикладка, прицелка, разборка, гимнастика, значит, и прочее; да развивайте солдатскую башку: надо давать пищу солдатской

мозговине. Рассказывайте, тово..., ну про 12 год, про Суворова. Да, работай, старайси, потому принимал присягу! Взялси, значит, за гуж, ну и тяни, тово, как ево!..»

Этот командир был очень дерзок: на больших учениях он нередко изрекал такие любезности: «Капитан N, куда роту завел?! Рухавка!» Или: «Штабс-капитан X., что вы мыла объелись что ли?!» Или: «Чево смотрите на роту, поручик Z., словно корова на новые ворота!»

Разместились по деревням. При штабе батальона, в заштатном городе, осталась 4-я рота, которой командовал капитан Родениус. Его молоденькая жена Катерина Ивановна, очень умная и симпатичная, никак не могла свыкнуться с военным строем жизни, с распущенностью, безделием, с упрощенными, бесцеремонными отношениями сослуживцев - офицеров друг к другу и к солдатам; особенно ее возмущало грубое вмешательство командира в личные дела офицеров и его сквернословие по их адресу. С блеском в глазах, с недоумением, она спрашивала: «Да как жы вы, г.г., позволяете этому бурбону так вас оскорблять?» Наконец она запретила упоминать в ее присутствии о командире. Остальные три роты стояли в ближайших деревнях. Командир 3-й роты, молодой офицер штабс-капитан Басистый жил с подругой-мещаночкой, которая где-то училась. Муж этой мещаночки проживал в губернском городе и смотрел на сближение жены с офицером весьма равнодушно. Этот офицерский кружок жил очень дружно, отчасти потому, что ладил со своим командиром майором Таракановым. Родениус с женой и Таракановым бывали у Басистова, а Басистый с Настей бывали у них. Однажды Тараканов получил от командира полка секретную бумагу такого содержания: «По дошедшим до меня сведениям, штабс-капитан Басистый живет с женщиной легкого поведения, мещанкой Настасьей Фетисовой, водит ее в театр и на гулянье, выдавая ее за свою жену. Предлагаю вам произвести строгое дознание и донести мне о последующем, а штабс-капитану Басистому объявить, что за поступки, марающие мундир и позорящие честь офицера, он будет предан суду общества офицеров». Тараканов тотчас же пригласил к себе Родениуса и Басистова на совещание. Тайны полковой политики им были известны. Они не замедлили открыть минера, который собирался взорвать Басистова. Это был некий W., интриган и сплетник, имевший несомненное влияние на командира; поэтому признали за благо отправить Настю на время погостить к родным; однако, они чувствовали, что этого было недостаточно. «Пойдемте, г.г., к Катерине Ивановне, посоветуемтесь с нею», — предложил Родениус. Узнавши в чем дело, Катерина Ивановна с негодованием воскликнула: «Как смеет этот бурбон позорить порядочную женщину! Привезите сейчас же Настю к нам; а вы, майор, напишите ему,

что Настя служит у меня няней. Да и напишите, что она подаст на него жалобу в суд за клевету». Такой выход отводил стрелу, направленную в Басистого, и позволял рассчитывать на реванш. Так и вышло. Тараканов к акту дознания, вполне обелявшему Басистова, приложил письмо, в котором сообщал полковнику, что Настасья Филипповна Фетисова, замужняя, служившая нянькой у жены Родениуса, глубоко обиженная нареканиями, угрожает привлечением к судебной ответственности командира полка за клевету, и прибавил, что, по словам мирового посредника Г., по судебным уставам, за такое деяние военно-служащие подлежат заключению до 3-х месяцев, что сопровождается увольнением от службы; а потому и советовал это дело потушить, успокоив обиженную женщину извинением. И что штабс-капитан Басистый почтительнейше просит командира для своей реабилитации сообщить имя клеветника для привлечения его к ответственности». Дело кончилось благополучно. W. утратил свое влияние; командир стал несравненно осторожнее и деликатнее. В интересах истины должен сказать, что этот командир в турецкую войну оказался храбрым воином.

Иногда полковая «история» безвыходно запутывалась, и взаимные отношения окончательно портились к обоюдной невыгоде. Полковник Чебушев стройный, высокого роста человек, с курчавой головой, учился в университете; служил сначала в гвардии, участвовал в обороне Севастополя и по окончании войны вышел в отставку, так как гарнизонная служба ему была не по душе. Очень богатый человек, он, кажется, служил по выборам и, как близкий родственник знатного вельможи, был лично известен покойному государю Александру II. Однажды государь спросил его: зачем он оставил военную службу? Такой вопрос равносилен приказанию, и Чебушев был назначен командиром N-ского полка. Чебушев был не только большой барин, но и настоящий джентльмен. Всегда спокойный, деликатный, доброжелательный, он не терпел формализма и канцелярщины. «Смотрите, г.г.,—говорил он своим штабным,—не утопитесь в чернилах!» Казенные и солдатские интересы имели в его лице самого бдительного сторожа: «Солдатский грош—священный грош! Вы сначала хорошо накормите солдата, а потом спрашивайте с него». «Берегите казну: она, матушка, складывается из трудовых копеек». При нем вышли из употребления сами собой кулачная расправа и телесные наказания. Сам он никогда не применял последнего, и, глядя на него, младшие начальники обходились без зуботычин и розог. Дантист, бригадный командир, меланхолично жаловался: «Как земля носит?! Как бог терпит?! Россия в опасности!!! Это не солдаты, а кадеты!». Чебушев, отличный стрелок и прекрасный наездник, поставил стрелковое дело так основательно, что N-ский полк

неизменно оставался первым по стрельбе. Он вывел из обихода нелепую бесконечную муштровку, которая вместе с переутомлением порождает отвращение. Одинокий человек, он занимал двухъэтажный дом с садом; держал превосходных лошадей, и повсюду за ним бегала куча собачек-крысоловок: «бес, бесовка, чорт, чертовка и т. д.». Заедет к нему кто-нибудь из батальонных командиров: «Прикажите-ка оседлать вашего конька, проедемся». И они скакали, и по городу, и за городом, заезжая в казармы, лазарет, швальню, мастерские, пекарни, гауптвахту, стрельбище и т. д. «Ну, адмиральский час близко! Поедем ко мне, закусим». Ел он много и вкусно. Вино выписывал из Крыма бочками. Несмотря на университетское образование, он казался очень нескладным человеком. Вскоре после приезда, он пригласил к себе на вечер всех офицеров с полковыми дамами. Дамы расселись и молчали. Сам хозяин не находил темы для разговора: он оставался на высоте положения только когда угощал. Офицеры перекидывались коротенькими фразами о служебных делах. Наконец, Чебушев заговорил:

«Вот вы смотрите альбом,—это итальянские виды: Венеция и пр. Я был в Швейцарии и в Алжире был... В Швейцарии есть две горы: одна высокая, а другая... э-э-э... низкая... На высокую гору можно подняться, а на низкую невозможно. Я только забыл, как эта высокая гора называется? Э-э-э, дай бог памяти! Так вот на языке и вертится: на Н начинается... Да! Мон-блан!.. Кажется, Мон-блан? а может быть, и не Монблан... А вот как называется низкая гора ни за что не припомню!»

Он замолчал и, мало-по-малу, дамы стали перешептываться, полагая, что Чебушев исчерпал тему. Минут через 10, Чебушев ударил с досадой кулаком по колену и закричал: «Фу ты! Никак не могу припомнить, как эта гора называется, чтоб ей пусто было!»

Итак, наступили золотые дни для N-ского полка, и только одна тучка на минуту омрачила ясный небосклон над ним. На царском смотру долго ждали выхода государя, задержанного делами. Чебушев позволил солдатам «оправиться», и несколько человек одной роты уселись на пыльном месте и замарали свои белые панталоны, а затем не почистились. При прохождении церемониальным маршем государь, указывая на грязные панталоны, строго проговорил: «Свиньями одеты!» Все начальство, начиная с командующего войсками, а более всех Чебушев, были подавлены высочайшим выговором. В эту минуту бригадный командир, не зная в чем дело, подошел к Чебушеву и спросил: «Что сказал государь?» Взволнованный Чебушев бешено ответил: «Государь сказал, что вы свинья!» Тот убежал, как ошпаренный. Однако, после смотра государь подозвал Чебушева и, положив ему руку

на плечо, сказал: «Не печалься, Чебушев. Я тебя знаю и очень ценю. Ты исправишь свою оплошность, а полк твой представился все-таки очень хорошо».

Но мало-по-малу счастливое положение стало изменяться к худшему. Чебушев впутался в какие-то аферы по скупке и продаже хлеба. Аферисты его бессовестно обманули, и он потерял несколько десятков тысяч. Около этого времени у него стал бывать некий майор Дудкевич, служивший в другом учреждении. Вскоре Чебушев перевел Дудкевича в N-ский полк и назначил заведывающим хозяйством. Дудкевич воспитывался в иезуитской коллегии, потом вступил в военную службу, в Севастополе был ранен и вышел в отставку с пенсией; потом опять поступил на службу. Это был человек ловкий, вкрадчивый и бесконечно любезный. При встрече или прощаясь с вами, он долго не выпускал вашей руки, нежно ее пожимая и осторожно притягивая к себе, как будто он хотел, чтобы вы упали к нему на грудь; он смотрел на собеседника с таким умилением и говорил так сладко, точно хотел с ним похристосоваться. А когда от него сторонились, потому что он не внушал особенного доверия, тогда он удваивал свои сентиментальности. С появлением на сцене этого персонажа, резко изменились прежние почти товарищеские отношения Чебушева к более близким его приятелям: подполковнику Муханову и другим младшим офицерам. И раньше бывали в полку недоразумения, но они разрешались всегда к общему удовольствию. Теперь каждый пустяк раздувался в инцидент и сопровождался запальчивыми и неджентльменскими объяснениями: словно вместе с Дудкевичем вселилась в полковую семью нечистая сила. Приятели Чебушева, искренно его любившие, были оскорблены его необъяснимым охлаждением. Дудкевич начал свою хозяйственную деятельность очень удачно: в один тон с командиром. Чебушев был тогда весьма озабочен выяснением не показных, а истинных размеров припека. Две или три комиссии делали опыты, давшие неблестящие результаты. Новой комиссии, под председательством Дудкевича, удалось установить прочно иную, более выгодную норму и, таким образом, уловить куда-то исчезавшие 6, 7 фунтов с пуда. Вместе с тем он уловил окончательно в свои сети Чебушева. Заручившись слепым доверием командира, он изменил курс так резко, что злоупотребления по хозяйству бросались всем в глаза, за исключением ослепленного командира. Некоторые офицеры тщетно пытались открыть ему глаза на деятельность Дудкевича; Чебушев выходил из себя, считая разоблачения за каверзы. Тогда один капитан написал анонимный, далеко не голословный донос военному министру, начальнику окружного штаба и начальнику дивизии. Донос был написан очень литературно и остроумно. Чебушев являлся в нем простаком,

совершенно одураченным и баричем, которого без труда водит за нос плутоватый приказчик. Разумеется, Чебушев был обижен этой характеристикой до глубины души и, так как донос был написан очень бойко и грамотно, то подозрение пало на бывшего его приятеля, подполковника Муханова, и еще на двух-трех, лиц, которые всегда боролись с открытым забралом, но потому именно и были легче уязвимы. Для установления виновности Муханова, два-три офицера занялись сыском. Это добровольное сыскное отделение не отличалось оригинальностью и шло в одну ногу с Дудкевичем. Обвинить в лицо Муханова не посмели, но очернить его в глазах высшего начальства было немудрено. Его отрешили от командирства и перевели в другой полк. Такой несправедливости к Муханову, которого любили в полку, товарищи не могли простить Чебушеву. Как всегда одна неправда приводит за собой другую: розыски вызвали крупные ссоры. Наконец, эта миниатюрная буря разрешилась пощечиной, полученной одним из сыскных добровольцев; а так как он отказался от предписанной ему начальством дуэли, то и должен был удалиться из пределов округа. Сам Чебушев, оставив все дела на Дудкевича, уединился, как он говорил: «Чтобы удалиться от всей этой взбаламученной грязи». А вскоре, к довершению злоключений Чебушева, Дудкевич растратил 4.000 руб. казенных денег, и командиру пришлось покрыть эту растрату из своего кармана; правда, Дудкевич должен был удалиться за болезнью в отставку. Надвигавшаяся турецкая война помогла Чебушеву помириться с обществом офицеров.

Штаб-офицеры, конечно, были самыми видными членами офицерского общества. Лагерные занятия завершались маневрами, и бестолковость ближайших помощников приводила в отчаяние командира полка полковника Козлова. Козлов был умный, талантливый и блестящий офицер генерального штаба. Еще зимою, собирая офицеров на беседы и на занятия тактикой и военной игрой, он заметил, что научная подготовка г.г. офицеров находится в обратном отношении с их старшинством по службе. Козлов приказал старшему штаб-офицеру Ивану Андреевичу расположить полк на перекрестке двух дорог, фронтом к западу. Иван Андреевич этого перекрестка не нашел и поставил полк далеко в стороне, на лугу. «Почему вы не исполнили моего приказания, Иван Андреевич?»—спросил командир.—«Я полагал, г. полковник, что здесь перекресток»,—ответил тот, указывая саблей на траву, в двух шагах от себя.—«Господь с вами, Иван Андреевич! Где вы видите этот перекресток? Он далеко в стороне, а здесь и пробитой тропинки нет!» Козлов сам отвел полк на место, вызвал батальонных командиров и изложил задачу, подлежащую разрешению: «Вы видите, г.г., дорогу, а по сторонам ее кукурузу. Приблизительно через $1/2$ версты

начинается сжатое поле, а далее холмы. Эти холмы заняты неприятелем, и надо его оттеснить. Предупредите, пожалуйста, г.г., ротных командиров, что это не кукурузное поле, а вода, положим, широкая река, а вот это не дорога, а мост. Я буду наблюдать за ходом маневра с неприятельской позиции. Ваш батальон, Петр Лукич, в 1 линию, остальные в резерве. Начинайте!» Петр Лукич, во время этих объяснений смотрел на Козлова с величайшим изумлением, словно он не верил ушам своим, и вопросительно поглядывал на своих собратий, как бы призывая их засвидетельствовать явную несообразность слов полковника. Когда Козлов уехал, Петр Лукич развел руками, проговорив: «Скачи, враже, як пан скаже!»—и тотчас же рассыпал цепь и расположил роты в кукурузе и открыл оттуда пальбу холостыми патронами. Козлов это заметил, подъехал и спросил его: «Зачем же вы развернули роты и рассыпали цепь в кукурузе? Ведь я же вам говорил, что это река!»—«Когда же, г. полковник, это не река, а кукуруза!»—«Ну предположите, если только можете, что это вода, а не кукуруза, а это не дорога, а мост»,—проговорил с досадой и нескрываемой иронией Козлов.—«Но, г. полковник, когда же это не мост, а дорога!»—«Ну, с вами не столкуешься: ведите ваш батальон в резерв, а за помятую кукурузу вам придется поплатиться!»—«Какая его муха укусила?!»—говорил Петр Лукич в недоумении.

Иван Андреевич и Петр Лукич были представителями старого поколения. Последний, выслужив полную пенсию, вышел осенью в отставку. Иван Андреевич прослужил уже около 40 лет и собирался еще послужить, несмотря на недвусмысленное замечание начальника дивизии: «Э-эх, Иван Андреевич! Старый друг, старая скрипка, да старое вино только хороши!» Собирался он послужить потому, что не желал расстаться с двумя денщиками, присвоенными ему по чину. Он перезабыл все уставы, которые в течение его службы неоднократно менялись; не считался вовсе с новыми требованиями и, предоставив все дела ротным командирам и своему адъютанту, спал безмятежно, а солдаты возвращаясь с учения, с песнями, насмешливо пели ему вдогонку:

Батальонный командир, подполковник господин,
Он не спал, не дремал—батальон свой обучал.

Петр Лукич вышел в отставку, а на его место прибыл новый штаб-офицер, который нас сейчас познакомит с своими товарищами, штаб-офицерами среднего возраста.

«Не поможете ли нам расхлебать кашу, которую заварили ваши товарищи, майор Савицкий и майор Тарасевич? Я не могу дать дальнейшего движения этому нелепому делу: надо их как-

нибудь помирить; вы человек свежий, постарайтесь»,—сказал ему командир полка.

И он вручил ему объемистое дело, сущность которого заключалась в следующем. Оба майора были семейные люди и жили в одном дворе. Все участники этой смешной и жалкой ссоры были люди недурные, но отсутствие серьезных интересов, одуряющая скука и пустота жизни, мелочные ежедневные стычки, особенно детские драки их ожесточили до самозабвения. Сначала посчитались между собой дамы, затем постепенно в ссору втянулись мужья и дети, и даже денщики, так что эти новейшие Монтекки и Капулетти разделились на два враждебных лагеря, вступивших в отчаянную битву. Денщики играли роль лазутчиков, дети—застрельщиков, а майоры изображали главные силы, направляемые дамским генеральным штабом. За словесной перестрелкой следовали с той и другой стороны донесения командиру полка в таком роде:

«Прошу вашей защиты от майора Тарасевича, ежедневно оскорбляющего меня и мою семью. Мало того, что он обругал меня болваном, когда я отправился к нему на квартиру, чтобы потребовать у него объяснения его недостойных порядочного человека и уважающего свое звание офицера поступков, при чем он забывает мое старшинство по производству в чин; он еще подстрекает своих дурно воспитанных детей бить моих детей; а вчерашнего числа, очевидно, не без его попущения, принадлежащая ему свинья вторгнулась в мою кухню и порвала развешенные там для сушки салфетки»...

Далее следовало требование поступить с виновным по всей строгости законов.

Другая бумага гласила: «Прошу, ваше высокоблагородие, избавить меня от нелепых нападений на меня и на моих детей майора Савицкого. Вчера он с обнаженной саблей бросился на меня и, если б я не успел затворить перед его носом дверь, то не избежал бы покушения на мою жизнь. Этот неприличный офицер унизился до того, что подучил своих малолетних детей вымазать замок в моем отхожем месте веществом, назвать которое в моем рапорте к вашему высокоблагородию я считаю непристойным. Посему прошу дать законный ход моей жалобе».

Склонить противников к примирению было невозможно, так как каждый из них себя оправдывал самозащитой и требовал от другого извинения в тяжелой и неприемлемой форме. К счастью, переселение на другие квартиры по окончании полковых сборов и предостережение командира, что дальнейшее развитие ссоры заставит его апеллировать к высшему начальству, которое может круто поступить с обоими, несколько остудило этих корсиканцев.

XIV.

В больших южных городах, т.-е. при казарменном расположении, младшие, холостые офицеры жили попарно, по-трое, маленькими колониями. Это обусловливалось денежным расчетом, личной симпатией, школьными связями и т. д. Офицерство не заводило здесь знакомства с горожанами и жило обособленно; это, может быть, и соединяло их теснее друг с другом, но зато изолировало военных, как в карантине, от всяких внешних влияний. В маленьких городах подобной оторванности, по крайней мере от чиновного люда, не существовало; но офицерство, встречаясь вместе только летом во время лагерных сборов, т.-е. в «страдное» служебное время, остальную часть года было разбросано по деревням. В театрах и разных платных собраниях они бывали редко по бедности, и для развлечения им приходилось только фланировать по улицам и бульварам. Состав офицеров, по крайней мере в известных мне полках, по качеству их элементарного образования был однороден, и людей, возвышавшихся чуть-чуть над общим уровнем, было очень мало. На каждый полк приходилось два-три окончивших военное училище. Вся остальная молодежь училась в юнкерских училищах, между старшими офицерами встречались нередко бывшие юнкера (старинные вольноопределяющиеся); между ними, особенно из получивших боевое крещение, встречались люди, хотя и мало ученые, но очень почтенные. При всей однородности состава, конечно, попадались люди более или менее нравственно развитые, люди с более определенной индивидуальностью. Встречались службисты, формалисты, карьеристы не широкого размаха, встречались люди недовольные, озлобленные, «беспокойные» или вечные протестанты по свойствам своего характера, если не по принципу. Товарищество связывало немногих в небольшую группу, удесятеряя силы каждого члена ее, и тем отчасти умеряло подавляющее действие таких факторов, как бедность, оторванность от общения с живым миром, казарменная дисциплина и гарнизонная служба. Товарищество — агент первостепенной важности — как цемент, сплавляло наиболее чутких в кружки самообразования, а впоследствии в политические кружки.

На полковую библиотеку казна отпускала ежегодно 300 руб., и, кроме того, делались вычеты из жалованья. Книги, большей частью легкого содержания, выписывались по случайным указаниям. Библиотекарь избирался обществом офицеров, и дельные из них имели возможность покупать, впрочем, на довольно ограниченную сумму, хорошие книги. Кроме специальных журналов и газет, напр., «Военного Сборника», «Русского Инва-

лида», почти везде обязательно выписывались: «Московские Ведомости», «Свет» [1]), «Новое Время», «Русский Вестник». По требованию любителей: «Собрание романов» Ахматовой, «Развлечение», «Нива». Однако, библиотека получала также «Отечественные Записки», «Дело», «Слово», «Вестник Европы», иногда «Знание». Затем на книги оставалось немного. Иностранных книг и газет не читали (у моряков была превосходная библиотека, выписывавшая много иностранных газет и журналов) [2]); но кой-какие иностранные книги были, напр.: «История консульства и империи», Тьера, «Записки (или мысли) Наполеона». Эти книги, кажется, указывались в программе для испытания офицеров, поступающих в академию генерального штаба, как пособие для изучения французского языка. Один-два офицера готовились к приемному экзамену в академию, но, сколько помню, никто из них туда не попал; однако, подготовительные занятия не теряли своего значения: человек проходил элементарный курс, несколько знакомился с иностранными языками и приучался к систематическому занятию. Встречались и любители серьезного чтения. Сколько помню, статьи Михайловского, Миртова, Чернышевского (заграничное издание) требовали разъяснения со стороны более начитанного товарища. С особенным увлечением читали и перечитывали Гл. Ив. Успенского и Салтыкова. Затем внимательно и толково читали статьи Н. Ф. Анненского о Шмоллере, Адольфе Вагнере, статьи Валентинова [3]) о Родбертусе, статьи В. В., Русанова и Кольцова. Потом уже познакомились с изданными на русском языке книгами Шефле и отчасти с Марксом по Зиберу.

Товарищество приводило к единомыслию. Влияние любимого товарища походило на силу внушения или на заразу, встречавшую благоприятную почву. Но по самому смыслу товарищества, такое влияние не бывает односторонним, а обоюдным. Это обусловливалось отраженным ответным влиянием с другой стороны. Товарищи так сживались, что не только мыслили одинаково, но и выражались одними и теми же словами. Потом при ближайшем знакомстве с такими мыслителями, как Михайловский, Лавров, они приучились к критическому мышлению, и все, что прежде принималось на веру, становилось убеждением, убеждением, которое нужно упорно защищать. Вот почему политическая пропаганда дала впоследствии, когда наступило ее время, такие неожиданные результаты: самые радикальные мысли принимались как самоочевидные.

---

[1]) Кажется, так называлась тогдашняя газета Комарова.
[2]) В г. Николаеве. *Ред.*
[3]) Псевдоним Г. В. Плеханова. *Ред.*

В 72-м или 73-м году одна вопиющая история [1]) взволновала сонных обитателей захолустных бессарабских городков до такой степени, что в течение недели она мешала им предаваться с обычным спокойствием излюбленному картежному спорту. Особенно взволновала она военных, привлеченных к печальной развязке дела, на глазах которых протекала эта история. Резеши, т.-е. однодворцы двух больших сел, не знавшие ни русских законов, ни русского языка, пожелали размежеваться между собою. Секретарь сорокского мирового съезда Мовило взялся за это дело. Засвидетельствованное надлежащим образом условие говорило: во-первых, о вознаграждении за труд в 300 руб.; во-вторых, о неустойке в 300 руб.; в-третьих, о постановке без опелляционного приговора при решении вопроса о неустойке на основании ст. 30 судебн. уст. 64 г. [2]). Затем Мовило с каким-то таксатором приступил к размежеванию владений и для того, чтобы заставить общества нарушить условие, умышленно производил нелепую разверстку. Резеши возмутились и предложили Мовиле взять 300 руб. неустойки и удалиться; но тот потянул их в суд, и на суде оказалось каким-то чудом, что каждый из домохозяев обязан заплатить по 300 руб. неустойки, а так как всех домохозяев было 300 человек, то судья приговорил Резешей к уплате около 100 тысяч рублей. Резеши прогнали судебного пристава, прогнали исправника. Губернатор Шебеко потребовал военную силу, и два цветущих села были разорены до тла. Как всегда оказались какие-то зачинщики, которые и понесли суровую уголовную кару. Рота, поступившая в распоряжение гражданской власти, по привычке исполняла все приказания. Офицеры, монархисты по воспитанию и профессии, и понятия не имели о народоправствах и конституциях; заподозрить солдат в тайном сочувствии к молдаванам нет основания: молдаване были такие же чужие люди для солдата, как черкесы или киргизы. Однако, непосредственное участие в злом и вопиющем деле открыло глаза и самым наивным. Для них было элементарной истиной, что подобные злодеяния скрываются от царя, и сознание, что военная сила является слепым орудием в руках первого встречного, имеющего дерзость ограбить мирных людей среди белого дня, их возмущало и оскорбляло. Такие итоги дала эта история.

Как известно, в конце 70-х и начале 80-х годов в Киеве, Одессе, Елисаветграде были погромы евреев, и на усмирение громил вызывались, главным образом, казаки. В Киеве, сколько мне помнится, пехота, оставаясь безмолвным наблюдателем,

---

[1]) Эта погромная история была описана в одном из первых №№ Лавровского «Вперед».

[2]) Судебные уставы 64 г. Кн. I. Гражданское судопроизводство ст. 30 и § 3 ст. 31.

следовала за погромщиками на приличном расстоянии. В Елисаветграде пускали в атаку на громил кавалеристов, которые, доскакав вплотную до толпы, останавливались, поворачивали назад и тихо отъезжали. Потом, на следствии, вызванном такими неудачными атаками, командиры объясняли, что лошади пугались пуху из еврейских перин, который будто слепил глаза, как снежная метель. Конечно, такое объяснение нельзя считать удачным: сомкнутую массу всадников, несущихся марш-маршем, не всегда остановит и встречный свинцовый дождь. В Одессе юнкерское училище и казаки оцепили громил и оттеснили их к морю; там, говорят, происходила порка; а потом большую толпу посадили на баржи и отвели баржи эти в открытое море. Было очень холодно, и море сильно волновалось. Один молодой офицер, командир военного парового катера, стал перевозить по просьбе родных пищу и одежду для арестованных на баржи. За такую гуманность командующий войсками (если не ошибаюсь, Гурко) предложил командиру Черноморского флота арестовать лейтенанта Беверлея, помнится, на 2 недели, на маяке (кажется, этот маяк на Кинбурнской косе). Командир флота адмирал Манганари ответил, что такого наказания не существует и что он арестует Б. на гауптвахте, кажется, на неделю.

В Николаеве, где я тогда служил, ожидали погрома, и сделано было распоряжение собираться всем войскам, свободным от караула, по тревоге, на базарной площади. Однажды глубокой ночью ударили тревогу, и войска с разных сторон стали прибывать к сборному месту; и, вот, на сравнительно небольшую площадь, застроенную сплошь деревянными балаганами, которые образовали пересекающиеся ряды узких улиц и переулков, потянулись батальон за батальоном со своим начальством. Мало-по-малу там скопилось около 14 батальонов (помнится: три батальона пехотного полка, два резерных батальона, два морских экипажа — около шести батальонов и двенадцать рот крепостной артиллерии, всего около 14 батальонов). Начальство: адмиралы, генералы, командиры, все офицерство расположились в центре площади. Прибывающие батальоны совершенно запрудили площадь. Все команды смешались в одну плотную толпу, которая теснилась к центру. Балаганы трещали и валились, и вся эта 7.000 толпа неистово кричала и барахталась, то туда, то сюда, до истощения сил. Наступил невообразимый хаос, которому и конца не предвиделось. Самые отчаянные усилия начальства восстановить порядок были напрасны. Нужно было пробиться из центра к периферии, чтобы оттуда постепенно разводить людей в стороны, но для такого подвига необходимы были титанические силы. Итак, эта толпа металась, ломая и попирая все, то в одну сторону, то в другую, а хвосты ее то выпячивались в прилегающие улицы, то напирали на центр. Светало, а порядок не

восстановлялся. И если б в это время небольшая горсть людей ударила на эту попавшую в тиски 7.000 массу, то поставила бы ее в безвыходное положение. Когда наступило утро, стоявшие на окраинах площади сообразили, наконец, в чем дело, и разбрелись по городу; а затем постепенно плотная масса разбилась на части, и тогда явилась возможность удалить их в стороны и освободить начальство из западни. Потом начальство стало опытнее, и город был разделен на участки, и по тревоге каждая отдельная часть являлась в свой участок.

С половины 70-х годов стали завязываться знакомства с не-военными деятелями. Турецкая война надолго задержала брожение между военными. Наша дивизия была разбросана по берегам Черного моря, от Сулина до Крыма, и старые товарищи разбрелись по разным отрядам. По возвращении на старые квартиры, началась снова подготовительная работа, и товарищеские кружки стали превращаться в кружки политические; вот тогда-то и открылась необходимость в заключении связи с не-военными.

Моими первыми знакомыми были М. Ф. Фроленко и Виктор Костюрин; затем я несколько раз видел Желябова, а потом познакомился с В. Н. Фигнер, М. Н. Тригони, А. В. Буцевичем и многими другими. Наши знакомые нас снабжали нелегальной литературой, которая читалась и изучалась с великим увлечением. Потом нелегальщина стала попадать и к солдатам. Аресты, громкие политические процессы, казни, привлечение войск к полицейской службе ускорили подготовительную работу: офицерские кружки стали вырабатывать программы и сближаться между собой.

Тут я оканчиваю свои записки; их продолжением является краткий очерк военного движения в 80-х годах.

В своих записках я несколько сузил свою задачу. Мне хотелось описать военную жизнь, сложение военного общества и дать хотя бы слабый очерк типичных представителей этого общества для выяснения, каким образом могло возникнуть революционное движение в такой своеобразной и изолированной среде и какие факторы играли при этом главную роль. Мне кажется:

1) Что за исключением нескольких лиц, напр., Суханова, Штромберга, Буцевича, Серебякова, остальные военные деятели не обладали революционным темпераментом.

2) Что люди совести и чести, люди долга, составляли главный контингент военно-революционных кружков.

3) Что к революционной деятельности их привела неумолимая логика событий, вся русская действительность.

4) Что другими важными факторами были: привлечение военных к усмирительным операциям и полицейской службе, влияние литературы и знакомства.

Посвящается Вере Николаевне Фигнер.

ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПАРТИИ «НАРОДНОЙ ВОЛИ» [1].

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ.

(Из статьи 1906 г. «Военная Организация партии» «Народной Воли.»)

Я приступаю к самой трудной части моих воспоминаний с большим смущением: мне бы хотелось проверить себя, но мои попытки встретили непреодолимые для меня трудности. Мне остается только надеяться, что мои невольные погрешности будут, в интересах истины, исправлены другими авторами.

Широкое, хотя, быть может, и не глубокое движение в войсках в начале 80-х годов, во-первых, служит показателем значительности общего революционного движения в России в ту эпоху. Военная среда, изолированная своими специальными интересами, не лишена была интеллигентности в лице некоторых своих представителей, разбросанных по разным концам России; эти отдельные лица, несомненно, стояли в рядах русской бессословной интеллигенции, хотя и тонули в безразличной массе у себя, в своей среде. Декабристы стояли в передних рядах революционной интеллигенции; военная интеллигенция нового времени, не чуждая современных учений об обществе, по сходству своих убеждений, была солидарна с передовой интеллигенцией, но стояла в задних ее рядах; и нужны были извне стимулы, чтобы пробудить ее к освободительной деятельности. Сила внешнего воздействия наростала, и эти военные интеллигенты стали ферментом, возбудившим революционное движение в войсках. Во-вторых, движение в военной среде служит также показателем назревшей необходимости в нелегальной деятельности в силу утраты надежды на действительность оппозиционной деятельности. Из сказанного выше не следует заключать, что революционное движение в войсках было созданием несколь-

---

[1]) Эта статья была написана в конце 900-х годов, напечатать ее тогда было нельзя. Напечатана она была с некоторыми сокращениями в № 7 «Каторга и Ссылка» 1923 г. *Ред*.

ких горячих голов. Я остановлюсь только на ближайших причинах революционного брожения между офицерами: это — безнадежное, отчаянное положение России; влияние литературы и прессы, легальной и нелегальной, верно отражавшей русскую действительность; военно-революционная традиция, никогда не умиравшая, носителями которой всегда были отдельные лица; знакомства и связи с революционерами, а главное — привлечение военных к усмирительным операциям и к полицейской службе. В больших городах войска содействовали полиции в антипатичнейших предприятиях: арестах, облавах, охране арестованных, при усмирении, судах и казнях. Военная община состоит из элементов, связанных дисциплиной в колонию. Эта община не может быть лишена социального инстинкта; только в ней элементы утрачивают свою самостоятельность в пользу целого, с которым они солидарны бессознательно. Солдаты и офицеры, отправляясь на усмирения, смущались, обижались, роптали и озлоблялись. Невольное участие в жестоком и несправедливом деле и служение орудием в нечистых руках будили совесть и пробуждали сознание гражданской ответственности и солидарности у более чутких, отзывчивых и нравственно развитых. Эти же чуткие, наиболее развитые и были наиболее влиятельны. Такие офицеры стали собираться и совещаться о том, как они должны относиться к современным событиям и как должны вести себя при усмирениях.

В-третьих, военные кружки возникали одновременно в разных концах России, иногда самопроизвольно (напр., на юге), и развивались правильно и органически: они делились на части, как клеточка, или почковались, и эти части оставались между собою в тесной и постоянной связи и вырабатывали одинаковую или общую программу. Это объясняется единством происхождения и естественным стремлением согласовать свои действия; а в силу местной близости, единства состава и происхождения, существенные изменения в конституциях провинциальных групп (так было на юге и юго-западе) принимались единогласно. Бывали случаи временного слияния двух кружков. В скобках замечу, что встречались случаи регрессивного метаморфоза: кружки теряли связи и распадались.

В конце 80-го года сложилась первая военная группа, которая и стала затем центральной. Центральная группа поставила своей целью организацию строго централизованной военно-революционной партии для борьбы за политическое и экономическое освобождение народа, во главе которой ставилась автономная по своим специальным задачам центральная группа. Члены центральной группы назначались Исполнительным Комитетом, программа которого признавалась основной статьей кружкового устава; посему-то назначением военной организации

было активное содействие партии Народной Воли в революционной борьбе с существующим политическим и экономическим строем.

... Пропаганда была настолько действительна, а почва так благодарна, что повсюду стали складываться кружки: в Кронштадте—морские, артиллерийский, армейский, в Петербурге — в военных академиях (только не в академии генерального штаба) и военных училищах... в Гельсингфорсе... в Северо-Западном крае, а вскоре появились кружки в центральных губерниях, по Волге и на Кавказе. Ближайшие к центру кружки находились с ним в более тесной связи; остальные, кажется, складывались самостоятельнее, и программы их были разнообразнее, что, я думаю, больше зависело от их удаленности от центра, чем от личного состава. Я не берусь описывать, как складывались и развивались эти провинциальные группы..., но думаю, что по описанию, как дело шло на юге, на моих глазах, можно составить довольно верное представление, как дело зарождалось и выростало везде, потому что состав, строение, разные фазы развития, а может быть, и упадка, взаимные отношения кружков к соседним группам и к центру везде были одни и те же, за исключением, вероятно, некоторых незначительных индивидуальных уклонений.

ГЛАВА 1.

Рутина усыпляет сознание: у людей благомыслящих опускаются руки, и они падают на дно болота, где могут жить привольно только амфибии, а не совсем оглушенные—дон-кихотствуют по мелочам; но красота нашей жизни состоит в том, что каждая добитая или не добитая жертва гонения создает заступника и мстителя, даже в среде «ликующих избранников жизни», а все поле русской жизни было усеяно мертвыми костями. Образ принца Гаутамы, опростившегося и ушедшего на помощь несчастным, производил всегда глубокое и длительное впечатление даже в сонном царстве.

Гул студенческих волнений, шумное движение молодежи в народ отдавались и в медвежьих углах и вызывали там некоторое созвучие; а такие эпизоды, как расправа Трепова, выстрел Веры Засулич, ее оправдание судом, события при ее побеге, казанская демонстрация, покушения,—не только разбудили спящих, но, подобно крику петуха на рассвете, показались многим зарею новой жизни. Крутые меры воздействия, изнурительное по своей длительности и жесткости предварительное заключение, свирепые приговоры и казни, массовые ссылки в каторгу на долгие сроки, ссылка в Якутское и Колымское поселения, административная высылка гуртом в гиблые места—все это

возмущало до глубины души общество во всех концах и закоулках, захватывая беспартийных военных. Да и самая беспартийность военных оказалась сказкой, придуманной с тактической целью. Военные мятежи и заговоры в новой истории были делом обычным в смутное время: волнения московских стрельцов, действия лейб-кампанцев в начале царствования Елизаветы Петровны, действия гвардейских полков при восшествии на престол Екатерины II, военные заговоры в 20-х годах в Италии, движение декабристов, восстание польских войск в 30-м году, испанские пронунциаменто и т. д. Эти постоянные заявления о беспартийности военных—чистое лицемерие. Может быть, такие классы и должны быть беспартийными, но в действительности они всегда вовлекаются в борьбу партий из-за власти. Тайна мнимой беспартийности военных раскрывается очень просто: войска должны быть слепым орудием предержащей власти или господствующего класса. Другими словами, военная сила должна быть всегда на стороне сильного, на стороне победителей. У сознательного воина такое открытие вызывает чувство глубокой обиды; а малосознательные, напитанные мыслью о беззаветной преданности царю и отечеству, о слепом повиновении начальству, на которое будто бы и ложится вся ответственность за последствия,—такие военные при острых, особенно кровавых столкновениях смутно чувствуют, что правда не всегда бывает на стороне высшей власти. Во многих случаях, когда привлекали войска к усмирению крестьянских волнений, например, когда соседние землевладельцы оттягивали у крестьян землю, или когда описывали всю движимость общества в уплату небывалой, поддельной неустойки с фантастическими цифрами [1]), солдаты хорошо понимали, что такое обидное разорение совершалось по почину не чиновного даже, а случайного человека, и тогда вышколенному и исправному солдату становилось ясно, что в данном случае он служит неправому делу, что он служит орудием не власти, а первого встречного мошенника, пожелавшего поживиться на счет темноты и беззащитности мужика. Для более же сознательного офицера, способного обобщать частные случаи и возводить их к общей причине, немудрено было видеть в данном частном случае, что правда редко бывает на стороне сильного, и, продолжая нить размышлений о вековой тяжбе— между правдой и кривдой, неизбежно прийти к такому заключению: войска должны служить защитой отечеству только от внешних врагов. Для личной охраны власти существуют телохранители и специальные преторианские отряды, законодательные палаты имеют свою почетную стражу, внутренний порядок охраняет многочисленная и разнообразная полиция,

---

[1]) См. выше, стр. 58.

и, при неизбежном столкновении разных домашних партий, армия должна оставаться нейтральной.

Но в действительности такой нейтралитет неосуществим.

Греческие республики, где все взрослые (кроме рабов) пользовались равными гражданскими правами и все были военнообязанными, этот вопрос разрешали очень просто. Законодатель наказывал остракизмом всякого гражданина, который не становился в ряды какой-либо из враждующих партий в случае их столкновения. В настоящее время военные неизбежно на каждом шагу вовлекаются во внутренние распри и потому оставаться беспартийными не могут.

И в рыцарские времена военные считали своим долгом защищать слабых, обиженных и угнетенных.

И в наше время в солдатской памятке говорится о великом значении солдатского звания, как защитника слабых и угнетенных, но при объяснении новобранцам эта статья обходилась молчанием. С развитием гражданского сознания в военной среде, офицеры и солдаты, считающие себя гражданами своего отечества и демократами по своим убеждениям, а не бездушным, беспринципным орудием насилия, неизбежно должны были прийти к выводу, что, оставаясь в повиновении верховной власти, они, тем не менее, в случае конфликта, обязаны стать на сторону народа, т.-е. на сторону производительных классов, на сторону рабочих, крестьян, трудовой интеллигенции, учащейся молодежи, на сторону тех, чьими заработками живет государство, содержится армия.

Но такое решение вопроса о нейтральности при тогдашнем положении дел неизбежно приводило к военному мятежу. Углубленное мышление творит идею-силу о гражданских обязанностях офицера, о его кровной связи с согражданами, о нравственном долге противиться насилию.

Пробужденная мысль и совесть не находили успокоения; каждый день, в течение ряда лет, разжигали совесть яркие факты сугубого насилия и явного беззакония, которые, как волны беспроволочного телеграфа, разносились в отдаленнейшие места, где и подхватывались. Так было потому, что власти делали свое дело со скандальной откровенностью либо по своей некультурности, либо с целью задушить устрашением всякое проявление свободолюбия и своеволия.

Но кормчий, управлявший государством, глубоко заблуждался: он сеял ужас, а выростало возмущение; он оказался лучшим пропагандистом в мире. Разумная умеренность и существенные уступки привели бы к иным последствиям. Но полицейская бюрократия была неспособна уступить, даже сознавая необходимость уступки ради сохранения престижа, который она уже давно потеряла. Возрождение при всей своей благо-

творности—процесс, протекающий мучительно, как выздоровление от тяжелой болезни. Мы, люди средние, «стоящие по колено в грязи, все-таки тянулись к небу» и, принимая решения, переживали великую душевную бурю, которая потому и была благодетельна, что вызывала все сокровенные силы и возможности, дремавшие до того на дне души, которые без интенсивного и постоянно действующего раздражения и замерли бы мало-по-малу. Нас смущали сознание слабости наших сил и великая ответственность за увлечение на гибель многих других, которые, может быть, мирно и благополучно окончили бы в свое время свое земное странствие.

Демон сомнения внушал лукавые мысли о негодности среднего человека для великого дела, а не всякий же обязан быть героем. Вставали горькие мысли о неподготовленности людей, которых с юности и в течение всей жизни воспитывали не для самодеятельности, а для точного исполнения команды.

К этому надо прибавить некоторую дозу привитой нам обломовщины, беззаботности и халатности.

С другой стороны, встревоженная совесть внушала мысль о необходимости исполнить свой гражданский долг, во что бы то ни стало, а разум говорил, что для борьбы нужны и герои и рядовые, без которых герой бессилен, что в большом деле применяется разделение труда и каждому достается задача по его силам и способностям, что храбрость, составляющая профессиональное свойство воина, необходима во всякой борьбе, что одних делает безумно смелыми успех, а других даже неудача, что общее дело удваивает силы человека и нерешительного делает отважным и стойким, так что формулу «в борьбе обретешь свое право» надо дополнить—обретешь и силу, и смелость.

Такие pro и contra, такая смена сомнений и решимости тянулись бы долго, но естественное стремление поделиться своими думами с товарищем, общение с друзьями, откровенная публичная исповедь о своих сомнениях и душевных волнениях удваивали силы, разгоняли сомнения, окрыляли надежду и укрепляли решимость.

В сущности так естественно и непреднамеренно начиналась пропаганда между офицерами.

ГЛАВА II.

«Мы все учились понемногу, чему-нибудь и... и как-нибудь».

Отправляясь в дальний путь, необходимо было пересмотреть багаж своего познания, а в этой хаотической смеси нужно было отделить необходимое и ценное от бесполезного балласта. Такой пересмотр приводил к выводу о сомнительности и бесполезности навязанного нам знания, но чем ничтожнее была масса

наших сведений, тем легче было отделить все истинно ценное от шлака.

Трудная задача для каждого отдельного работника лучше и скорее решается общими силами. Наиболее начитанные и развитые помогали товарищам. Так просто и естественно возникли офицерские кружки самообразования, которые мало-по-малу превратились в кружки политические. Объять необъятное поле знания мы не пытались, а спешили запастись необходимыми сведениями для предстоящей практической деятельности.

Внутренняя политика правительства будила только политические страсти и вызывала у всех оппозиционно настроенных неоформленное стремление остановить эту каннибальскую пляску.

Для выработки твердых и определенных политических, экономических и нравственных убеждений нужны были другие учителя. Планомерное распределение занятий, система взаимопомощи, а главное великие учителя—Герцен, Чернышевский, Лавров, Михайловский—дали нам возможность быстро пройти сокращенный курс нашего образования. Я не говорю о других писателях и художниках, знакомство с которыми было для нас благотворно. Сущность таланта наших великих учителей и состояла в том, что своими доводами они легко и свободно переселяли в нашу душу свои зрелые и глубокие убеждения, что своими образами и картинами, даже стилем, они заставляли звучать тончайшие и благороднейшие струны человеческой души в гармоническом созвучии со всеми глубокими переживаниями их великой души, подобно великому костру, пламя и жар которого не убывает от того, что сучья загораются от него, а в результате такой передачи огня возникает пожар.

Понятно, какое громадное влияние они имели на нас. Они научили нас думать, указали направления для практической деятельности и дали нам руководство для систематического чтения. Тогда была в ходу литографированная программа для систематического чтения П. Л. Лаврова, которой руководились, по мере возможности и по обстоятельствам [1]). Словом, наши великие учителя послали военную молодежь в ряды русской бессословной демократической социалистической интеллигенции.

Члены этой разбросанной семьи были связаны духом братства и узнавали друг друга при встрече без условных знаков. Приобщение к ней наложило на офицера облик, по которому его легко было выделить из серой толпы.

---

[1]) «Программа Систематического чтения» в 1882—1883 г.г. была легально отпечатана в Одессе (изд. Распопова) и в Уфе. Вскоре обе они были конфискованы. *Ред.*

В военном обществе появился новый тип страстного читателя и спорщика, с жадным нетерпением ожидавшего новую журнальную книжку, в которой он надеялся встретить статьи Михайловского, Щедрина, Г. И. Успенского, Анненского, Русанова, Шелгунова, Валентинова (Плеханова).

Статьи любимых авторов читались многократно, испытывая при каждом повторении не только эстетическое наслаждение, выраженное Апполоном Майковым в стихе: «Данта читать — что в море купаться», но наслаждение общения с любимыми друзьями-писателями, общения, приносящего при каждой встрече что-нибудь новое и важное, ибо такие таланты, подобно Гомеру, по словам его переводчика, «дают юноше, и старцу, и ребенку все то, что он способен у него взять». За другими прогрессивными журналами следили не так внимательно. Знакомились с учениями знаменитых мыслителей во всех областях знания, за исключением таких специальностей, как медицина, юридические науки, техника, педагогия, агрономия. Интересовались более книгами по биологии, политической истории и наукой об обществе, а чем далее, тем более политической экономией и экономической политикой. Любимыми поэтами военной молодежи были Лермонтов, Некрасов и Шевченко, а из иностранных Шиллер, Байрон, Мицкевич и Гейне. Из русских художников первое место занимал Толстой, взгляды которого на исторический процесс и на роль личности в истории и тогда уже поднимали большие споры. Затем следовали Тургенев и Гаршин, а из иностранных Диккенс, Джорж Элиот, Флобер, Альфонс Додэ, Стендаль и Зола.

Полковые библиотеки давали мало материала для серьезного чтения. Кроме журналов и газет, беллетристики и специальных военных сочинений попадались, однако, и очень полезные книги, напр., «Всеобщая история» Шлоссера, его же история XVIII века с подробным изложением истории литературы. В этой книге история великой французской революции была изложена хотя и сухо, но весьма обстоятельно, и такая история революции проникла в офицерскую библиотеку только по недальновидности начальства, забывшего, что в XVIII ст. была революция. Уж не знаю почему, по невежеству или из осторожности, слова-символы понимаются начальством и подчиненным в разном смысле: например, ревизия командиром полковой библиотеки вызвала строгое дознание потому, что переплетчик наложил по ошибке на корешок переплета книги «Земля и Люди» золотую надпись «Земля и Воля», а «Квинт-эссенция социализма» и редкая, превосходная книга Томпсона «Труд» и пр., попавшие в библиотеку каким-то чудом, проплыли благополучно цензурные пороги, подобно тому, как в Шлиссельбургской крепости при строгой ревизии нашей библиотеки уцелела книга Ланге «Рабочий

вопрос», правда, переплетенная нами с обложкой: «Элиза» роман Гонкура, а «Свобода торговли» Янжула была изъята.

В «Истории консульства и империи» Тьера существует обзор революционного движения, предшествовавшего диктатуре Бонапарта, но эта книга попала в библиотеку, как руководство, рекомендуемое программой для вступительного экзамена в военную академию.

По истории попадались еще—«История Англии» Маколея, «История цивилизации в Англии» Бокля, Дрепер, Гизо, история Соловьева, сочинения Костомарова; по другим отделам почти всегда книга Брема «Жизнь животных», Реклю «Человек и земля», Вундт «Душа человека и животных», сочинения Дарвина в изложении Ролле, «Физиология» Льюиса, книги Фохта, Геккеля, Лайэля и др. популярные по естествознанию; наконец, «Логика» и «Политическая экономия» Милля, конечно, без примечаний Чернышевского, книги Шеффле, Ад. Вагнера, Прудона. Пользоваться городской публичной библиотекой можно было только тем счастливцам, которые квартировали в Одессе и Николаеве; в последнем существовала тогда превосходная библиотека при морском военном собрании.

ГЛАВА III.

Я всегда имел при себе десятка два книг нелегальных или изъятых из оборота, например: сочинения Лассаля, Флеровского, Ю. Жуковского («Политическая литература XVI и XIX в.в.», Прудон и Луи Блан), книги Прудона, примечания к Миллю Чернышевского и его статьи «О распределении», книги Герцена «С того берега» и «Былое и Думы», книги Фейербаха, «Коммунистический Манифест», литографированное издание московских студентов; в последнее время я приобрел I том «Капитала» К. Маркса и сборник статей Зибера, «Экономическую теорию К. Маркса» из журнала «Знание», «Исторические письма» Миртова. И, конечно, эти книги у меня не лежали под спудом.

Перед турецкой войной наша дивизия была переведена из бессарабского захолустья в Одессу, Николаев и Херсон, и там мы встретились с новыми людьми, от которых и стали получать нелегальную литературу. Нелегальная литература обращалась к разуму и учила нас критически относиться к явлениям русской жизни. Она будила совесть индифферентного обывателя, она выправила наше мировоззрение и побудила заняться, вслед за учителями, переоценкой всех ценностей.

Наши художники правдиво изображали только то, что они находили в русской действительности, а находили они там отрицательные типы Сквозник-Дмухановского, Чичикова, Хлестаковых, Кит-Китычей, Толстолобовых, Балалайкиных, Колу-

паевых, Разуваевых, Иудушек, да лишних людей и Обломовых.

Но учителя, рисуя мрачными красками наш Глупов, наше темное царство, указывали и на выход к светлому будущему.

Они не скрывали всей трудности предстоящего дела, не соблазняли надеждой на быстрый успех, а призывали всех тех, кто может, а следовательно должен, потрудиться в необходимом деле обновления, и потрудиться бескорыстно, по мере своих сил и способностей, не ожидая для себя награды, помимо сознания исполненной обязанности.

«Будем оптимистами, — писал Чернышевский, — многого не ждешь ни от чего, но зато отовсюду ждешь хоть немножко». Он же учил: «Закон прогресса чисто физически необходим, вроде необходимости скалам понемногу выветриваться, рекам стекать с горных возвышенностей в низменности, водяным парам подниматься вверх, дождю падать вниз. Прогресс просто закон нарастания. Элементы и процессы в истории общества гораздо сложнее»...

А Добролюбов писал: «Значение личности можно уподобить дождю, который благодатно освежает землю, но который, однако, составляется все-таки из испарений, подымающихся с той же земли... Не может один (человек) и даже несколько человек произвести в массах волнение, к которому они не приготовлены, которое не бродит уже в умах их».

...«Личность, даже великая, составляет не более как искру, которая может взорвать порох, но не воспламенит камня».

Он же указывал на великую ответственность будущих колонновожатых: «Самодура повалить легко, но повалишь ли этим самодурство?»

Нелегальная литература и наши новые знакомые рассеяли наши сомнения в наших силах и, действуя, как струя чистого свежего воздуха, как звонкая призывная песнь удалого доброго молодца, они обращались к чуткой совести человека, ищущего новых путей и практического компаса. Они не подавляли нас своей аргументацией, на которую такие мастера русские интеллигенты, а обращались к сердцу, оттаявшему под лучами жаркого света, заброшенного в душу нашими просветителями, не мудрствуя лукаво, когда нужно было ковать железо, пока оно не остыло, ибо революционная практика наших друзей согласовалась с афоризмом Л. Берне: «Чем больше доводов, тем больше ног, чем больше ног, тем медленнее походка».

И военная молодежь последовала наглядному их примеру.

Кружки самообразования стали превращаться в политические группы, и начала налаживаться планомерная пропаганда. Нет никакого сомнения, что в нашей теоретической подготовке были большие пробелы, а в практическом осуществлении мы были

новичками: в таком деле учителем может быть только свой личный опыт, ибо наши новые друзья тогда сами искали новых путей, а нелегальная литература давала, правда, ценные указания по вопросам организации, конспирации, агитации и пропаганды, но применять эти указания на практике в специальных условиях приходилось военным самолично.

Некоторые офицеры, например, Кравчинский, Шишко, наиболее даровитые, решительные и энергичные, решили эту дилемму очень просто: они бросили службу и присоединились к не-военным товарищам, но другие, не менее даровитые, блестящие, как Суханов и Буцевич, разделяя все труды и опасности с нелегальными товарищами, оставались в военной среде, и оставались не даром [X].

Турецкая война не только разлучила нас с легальными и нелегальными товарищами, но и разметала военных товарищей в разные стороны, и движение на юге, живым свидетелем которого я был, замерло, по крайней мере, на два года, и мы, по обстоятельствам, от нас не зависящим, остались, так сказать, в приготовительном классе на второй год.

Война с «умирающим человеком» не принесла нам ни славы, ни дружбы союзника, ни благодарности славян, ни реформы, на которую рассчитывало общество. Правительственная система показалась окаменелой даже людям, ослепленным разными фетишами. Правительство упорно пятилось назад, вероятно, думая прибыть задним ходом туда, куда его звали прогрессисты, потому, что «земля кругла», как говорил Берне.

Когда рассыпанные военной бурей элементы стали опять сцепляться в кружки, настало время пропаганды. Она велась планомерно, но не в том смысле, что читались законченные рефераты на экономические, социальные и политические темы, а в том, что каждый частный случай, каждое проявление нашей внутренней политики вызывали целесообразное публичное истолкование.

По своей форме она напоминала летучие листки и памфлеты, только словесные, а не печатные. Эти памфлеты говорили, или отправляясь от аксиом, выведенных тоже из опыта, или классифицируя многочисленные вопиющие факты нашей гражданской и политической жизни, приводя их к тем же аксиомам.

Наши учителя доставляли нам большой выбор таких предпосылок, и все они по своей яркой художественно выраженной мысли приходились как нельзя лучше к случаю; не перечисляя этих предпосылок, назову для примера некоторые: «Государство есть заговор имеющих собственность против неимущих», «собственность есть кража», «прибавочная стоимость»—«незаработанное приращение», «экспроприация экспроприаторов», «говорят, нет власти аще не от бога, но и лихорадка от бога»,

«статочное ли дело, чтобы сто собак подчинялись одной собаке,— а человек еще при этом угодливо виляет хвостом» и т. д...

ГЛАВА IV.

В Одессе я сблизился с одним чистым народником, а в Николаеве с бывшим нечаевцем Г. И. Голиковым. Через них я познакомился с М. Ф. Фроленко, Виктором Костюриным, а потом с А. И. Желябовым [XI].

Все эти лица, за исключением первого, девственно-чистого народника, получили аттестат политической зрелости по русской программе, т.-е. побывали в тюрьмах, под надзором, в бегах, под судом.

Народник задумал открыть в деревне кузницу и звал меня с собой, но его приглашение меня не соблазнило. Тогда в кружках возникала мысль о необходимости политической борьбы. Желябов советовал мне остаться в полку: «В вашем чине в полку вы принесете больше пользы делу».

Из разговоров с ним мне выяснилось, что он ожидает от военных двоякого содействия: во-первых, пополнения рядов партии, для чего военные должны уходить в отставку или переходить на нелегальное положение; во-вторых, создания военной организации с целью мятежа.

При обсуждении вопроса о содействии освободительному движению, офицеры-социалисты пришли к неизбежному выводу, что содействие военных должно носить политический характер, т.-е. может быть только малой или большой войной с существующим политическим строем, который, конечно, пребывает в неразрывной связи с экономическими порядками. Следовательно, первая задача военных состоит в пропаганде между офицерами и в привлечении к делу солдат.

Привлечение не только отдельных лиц, но и целых рот, эскадронов и батарей казалось делом неизмеримой важности, но и громадной трудности. Непреклонная дисциплина обезличивала человека, превращая его в винтик или пружину механизма, покорно и без рассуждения исполняющего волю начальника по условному знаку, по короткой команде, по сигналу, по взгляду, по указанию перста.

Строевая педагогия состояла из противоречивых требований: убивая в человеке чувство личного достоинства, требовала от него мужества, смелости; парализуя его волю, требовала решительности и даже, в некоторых случаях инициативы; одурманивая здравый смысл, требовала находчивости, изобретательности; обманывая на каждом шагу, ожидала от него безусловного доверия, жестоко наказывая за невольное или неосторожное ослушание, предписывала ему питать к себе безусловную само-

отверженную преданность; убивая в солдате человека и создавая из него бессловесную и покорную скотину, требовала от него геройства.

Разумеется, такая искусственная, извращенная система не приводила к намеченной цели, создавая своей дрессировкой только смотровую видимость.

Эта система была давно занесена к нам с Запада, когда там постоянные армии вели бесконечные династические войны. И там она складывалась в жестокие и мрачные времена, и там долго существовали бесчеловечные дисциплинарные наказания вроде «линькования» и «килевания» во флоте или истязания привязанного к дереву солдата. Шпицрутены занесены к нам из Германии. На Западе, вместе с успехом просвещения и политической свободы, с расширением гражданского равенства на демократические слои, суровые формы военной педагогии постепенно смягчались; а мы в это время упорствовали и даже пятились назад к самым бесчеловечным порядкам; посему в последние десятилетия мы терпели поражение за поражением, и героизм нашей армии выражался только беспримерным мужеством и стойкостью безоружных, голодных, оборванных людей, поставленных в отчаянное положение и при том сохраняющих порядок и дающих отпор, и этот героизм объясняется, во-1-х, теми свойствами духа, которые приносят с собой из демократических слоев наши новобранцы, именно стойкость, выносливость, самоотвержение, неунывающую отвагу и даровитую пластичность, во-2-х, разумностью, справедливостью, человеколюбием «отцов командиров», которые всегда домашним образом обходили нашу бездушную систему воспитания и управления.

Необходимость дисциплины для всякого коллектива, руководимого даже самыми возвышенными целями, очевидна. Но таковая дисциплина существенно отличается от господствовавшей до сих пор. Дисциплина существовала в войсках Вашингтона и Костюшки, в легионах Гарибальди, в революционных армиях Гоша, Моро, в армиях Гранта и Шермана, бандах Ермака и Степана Разина, в Запорожской Сечи, везде, где свободно складывалось вольнолюбивое воинство с определенной целью.

Сущность этой дисциплины можно выразить символически так: когда собирался казачий круг или рада, и избранный, излюбленный им атаман отдавал ей приказания, накрывшись своей шапкой, рада ему внимала с обнаженной головой; но когда казацкий круг обращался к атаману, накрывая свои головы шапкой, атаман выслушивал ее заявления с обнаженной головой в знак его покорности общей воле.

Конечно, такая система не идеальна и может привести к неурядице вследствие несостоятельности тех или других элементов, но она может быть усовершенствована. По крайней мере

разум — орудие, выработанное в борьбе за существование, разум, который, в последнем счете, является приспособлением внутренних душевных состояний к внешним фактам, и воля, которая является также приспособлением, т.-е. приспособлением внешних фактов к нашим запросам и потребностям (только в обратном порядке) — указывают на возможность подобного же приспособления, или, другими словами, указывают на необходимость организации для борьбы.

Когда у офицеров-социалистов созрела мысль о необходимости привлечения к восстанию солдат, они пришли к неожиданному открытию: солдат, с которым они вместе служили и жили, для них остается таким же незнакомцем, как мужик для интеллигентов-народолюбцев. Но все, что они узнали о солдате вообще, по историческим справкам и в особенности по рассказам более опытных товарищей, побывавших с солдатом в походах и на войне, подавало надежду на успешность пропаганды при известных условиях. Они также понимали, что повиновение вождю коллектива, связанного солидарностью интересов и мнений, осуществляется лучше и проще, чем механическое, привычное и слепое послушание роты и батальона страха ради, не по совести, потому что власть вождя в первом случае основана на доверии к его честности, искусству и твердости и на его ответственности, далеко не мнимой, как во втором случае. И это приводило к признанию не только возможности, но и необходимости пропаганды для взаимного понимания.

Я делал с солдатами длинные походы по жарким безводным пустыням, провел с ними целый год на передовой позиции в горном ущельи, бывал в малых стычках и относительно больших боях, ходил на штурм. Правда, это было давно, и ворошить такую старину, повидимому, не стоит, но так ли это? Кто читал «Отступление десяти тысяч» Ксенофонта,—скажет, что основные правила тактики и стратегии мало изменились с древних времен; существенные черты нашего солдата и дух армии изменились за 40 лет еще менее; состав армии при всеобщей повинности несколько изменился, но все же главная масса осталась крестьянской. Изменилась только военная техника. Нужно заметить при этом, что типичные случаи, отличаясь большей устойчивостью, не так легко поддаются изменениям, как безразличные.

Типический воин, часто не сознавая своего значения, бессознательный или сознательный, заметный или незаметный герой, является душой объединяющей, закваской, совершающей чудесные превращения, вожаком, увлекающим за собой массу; инициатором разумных и целесообразных предприятий.

Если даже признать эту массу инертной, герой одушевляет ее, а потому герои служат лучшим выражением коллективной души. Такие героические личности встречались у нас всегда

и везде в трудные времена. Такие герои встречались в каждой роте, в нестроевой команде, в лице офицера, солдата, унтер-офицера, барабанщика или денщика, так как «дух дышит, где хочет».

Но и масса солдатская не безразлична. Если масса податлива на разумное и целесообразное внушение, то она движется не простым стадным инстинктом. Когда лошади сбиваются в кружок головами к центру, чтобы отбиваться от стаи волков задними ногами, они поступают сознательно, и согласованность их оборонительных действий может быть объяснена смутным элементарным чувством солидарности, а солидарность на военном языке называется выручкой.

Арена современной войны шире, боевой размах обширнее, затрата энергии и количество жертв значительнее, но одушевление и выносливость солдатских масс качественно не понизились, а число героических случаев увеличилось в соответствии с новыми техническими условиями войны. Так бывало и прежде.

В Швейцарии суворовские солдаты, окруженные со всех сторон многочисленными корпусами превосходной французской армии, предводимой знаменитым Массеной, Лекурбом и др., победоносно пробились, сражаясь день и ночь в непроходимых дебрях и карабкаясь по горным тропинкам, доступным только горным козам, и не только не оставили в руках неприятеля трофеев, но едва не увели в плен самого Массену.

Кавказские солдаты создали благородный обычай не оставлять раненых в руках неприятеля при отступлении. Кавказские солдаты, подобно Гомеровским грекам, продолжали бои из-за тела убитых. Такому обычаю кавказцы присвоили силу догмата, который передавался от поколения к поколению и занесен был в туркестанские войска. Туркестанские войска, по условиям страны, состоящей из нескольких цветущих оазисов, разделенных часто безводными песчаными пустынями, всегда передвигались форсированными маршами, делая переходы от воды до воды в 60 верст, и никто из туркестанцев не слыхал об отсталых.

Одиночный пешеход делает до 5 верст в час, а пехотная часть 60 верстный переход, при 40° жары, по безводной пустыне, проходила в сутки при 4 часовом отдыхе, который приходился на самое жаркое время. Солдаты шли и дремали на-ходу, однако, не отставали. Самый отдых оказывался томительной и бесплодной попыткой отдохнуть, и при этом солдаты находили в себе силы, со свойственной русскому человеку добродушной иронией, шутить над своими страданиями, а шутка, как глоток студеной ключевой воды, освежает изнемогающего путника.

Кадры туркестанского стрелкового батальона формировались в Москве. До Нижнего батальон проследовал по железной дороге, а оттуда до Самары водой, по Волге, из Самары пошли уже пешком на Оренбург и через Орск на Казалинск и по берегам

Дарьи в Ташкент. Пешком прошли около $2^1/_2$ тысяч верст. Необходимые вещи везли на верблюдах.

Дорога до Аральского моря пролегала по бесплодной пустыне через солончаки и по пескам, от колодца до колодца. Колодезной горько-соленой воды не хватало отряду, и пища, когда ее варили, была противна. Около Аральского моря колонна продвигалась по длинной песчаной пустыне Кара-Кум, и здесь вода встречалась еще реже. Эта пустыня, как живая, дышала жарким дыханием и передвигала свои части: ветер переносил высокие песчаные холмы с места на место, а дорога вилась между холмами сегодня здесь, завтра там. На такой зыбкой почве пешеходу трудно управлять движением ног. Но верблюды, благодаря упругой подошве, расползающейся при давлении ноги, как крутое тесто, шли уверенно.

Эта часть путешествия была очень тяжела, но когда вышли на Дарью, стало не легче...

Расскажу еще несколько боевых эпизодов, характеризующих нашего солдата.

После занятия с боя Ура-Тюме и Джузака — крепостей в горах—наш передовой отряд расположился в Яни—кургане, в конце ущелья. Солдаты жили в землянках. Зимою в этих местах идет сплошной дождь, к вечеру снег, а под утро морозит. Землянки размывались, затоплялись и обваливались. В отряде появился сыпной тиф, с которым приходилось бороться домашними средствами. Между отрядом и крепостью Джузак установилась постоянная связь: туда отправлялись по делам и небольшие группы и значительные оказии под прикрытием двух-трех десятков казаков, а в важных случаях — под охраной пехоты, так как в неведомых нам горных щелях засели туркмены, чтобы тревожить наши сообщения с тылом.

Однажды на оказию с небольшим прикрытием из двух-трех десятков казаков напала большая партия. С этой оказией ехал по своим делам молодой офицер Машин и повозка нашего командира, с возницей-денщиком. Сзади повозки был привязан превосходный скакун, которого нужно было перековать в Джузаке.

На половине дороги, за воротами Тамерлана, на оказию стали наседать туркмены. Оказия подвигалась вперед отстреливаясь, но верстах в 10 или 13 должна была остановиться, выстроить из повозок нечто вроде укрепления и оттуда отражать огнем необычайно крупные сборища.

Дело клонилось к вечеру, а с наступлением темноты оказии угрожала неминуемая гибель, поэтому Машин, один джигит и 3 или 4 казака решились прорваться к Джузаку; но, когда они отъехали шагов на 300, их окружили туркмены и вступили с ними в рукопашную.

Машин выстрелил 12 раз из двух револьверов в упор и рубил до тех пор, пока расколовшийся в рукоятке клинок его шашки не стал вертеться, тогда обезоруженному Машину прорубили череп, и он свалился замертво. Казаков изрубили, а джигиту отрубили кисть правой руки.

Оказии предстояла неизбежная гибель.

В эту минуту денщик молча отвязал от повозки скакуна, надел на него потник и уздечку, сел верхом и с кнутом в руках тронулся. Когда казаки, понявшие его намерение, стали его уговаривать оседлать лошадь и взять с собой оружие, он ответил, что ему так «легче». И, когда толпа посторонилась под усиленным огнем казаков, он с места помчался к Джузаку.

Со всех сторон за ним и на-перерез ему бросились туркмены; они скакали рядом с ним, пытаясь заколоть пикой, но он на-скаку отводил меткий удар кнутовищем, а когда пытались его зарубить, он подстегивал кнутом туркменскую лошадь по чувствительному месту, и шашка рассекала только воздух.

Отчаянная погоня продолжалась несколько верст, и он стал опережать погоню; а вскоре пикет, расположенный в ущелье перед крепостью, заметив русского и туркменов, выехал к нему навстречу, поднял тревогу в крепости, и дежурная сотня быстро очистила ущелье и выручила оказию.

По случайности на том же месте, где русский солдат отбивался кнутом от толпы азиатов и спас от жестокой неволи или смерти своих спутников, много веков тому назад, хромоногий и однорукий царь царей Тамерлан, как гласит надпись на воротах его имени, одержал блестящую победу над великим скопищем кипчаков.

Не служит ли совпадение этих случаев, несмотря на всю их несоизмеримость, «эмблемой торжества духа над физической силой».

При данном сопоставлениии победителями оказались — один с невооруженной рукой, другой вовсе без руки, но оба сильные духом.

Крепость Ходжент, служившая воротами в Фергану, расположена на Дарье, и ее высокие стены со многими башнями окружены глубоким и широким рвом, который прикрывался невысокой стеной.

На берегу стояла солидная цитадель: шагов на 700 от городских стен была расчищена эспланада для обстрела. После бомбардировки повели штурм. По диспозиции наш отряд делился на три колонны и резерв. Траншеи с батареями и лагерь прикрывались одним отрядом. Правофланговая и самая сильная колонна должна была по сигнальной ракете атаковать башни и стены около Дарьи и, утвердившись на стене, помочь средней колонне ворваться в крепость. Для этого средняя колонна должна была

ожидать особого сигнала, поданного тремя ракетами. Ворвавшись в город, средняя колонна должна была пропустить резервную к цитадели, а сама итти вдоль стены налево и взять все попутные башни с крепостной артиллерией до Дарьи и там сдать раненых и убитых на баркас, а затем следовать через город в цитадель. Каждая колонна, получив сигнал к наступлению, должна была выслать вперед охотников со штурмовыми лестницами, а потом двинуться на штурм. Но все вышло иначе. Правая колонна встретила очень сильное сопротивление и отворить ворота для средней колонны не могла; а средняя колонна, атаковавшая две башни, ворвалась в город раньше первой.

Я был в средней колонне, которой командовал герой Баш-Кадинлара и Кюрюк-Дара — Баранов.

Солдаты, в ожидании сигнала, сняли с себя шанцевый инструмент, т.-е. топоры, ломы, кирки, лопаты; а когда взвилась первая сигнальная для первой колонны ракета, наши солдаты, а за ними и офицеры побежали к крепости, забыв захватить с собой шанцевый инструмент.

Охотники не могли бежать так же скоро с длинными лестницами, и колонна обогнала их. Некоторые из охотников были ранены, и лестницы на половине дороги были брошены.

Колонна врассыпную перебежала эспланаду, переправилась через передовую стенку, скатилась в ров, вскарабкалась по внутренней крутизне рва и собралась между башнями у ворот и вдоль стены. Люди разных батальонов перемешались и густо толпились между башнями, откуда из бойниц стреляли в упор.

Сверху прямо на голову валились камни и бревна; но стрелки моей роты постепенно сгруппировались около меня. В это время ко мне подбежал Баранов и приказал расположить полуроту за передней стеной для пальбы по бойницам и зубцам стены, а другую часть послать в траншеи за забытыми там ломами и топорами.

Солдаты в это время отчаянно колотили ворота прикладами, но приклады бесполезно ломались.

Вдруг я почувствовал сильный удар в шею, а вслед за тем я невольно отклонился в сторону, — бревно, брошенное сверху, прокатилось по моей спине и сшибло меня с ног.

Когда я поднялся на ноги, около меня стоял Баранов. Он сказал: «Я ранен; оставайтесь при мне и передавайте мои приказания».

Выслушивая Баранова, я взглянул на стену и увидел удивительную картину: по всей стене снизу и доверху солдаты, как стрижи, прилепившиеся к скале, держались у стены на импровизированной ими лестнице из штыков, забитых в глинобитную стену. Защитники крепости сверху осторожно перевешивали через верхушку стены бревно, которое стоявший выше всех

солдат старался перехватить, с явным намерением направить падение в сторону и, упуская бревно, кричал «берегись», а упавшее бревно солдаты схватили и, раскачивая, стали им колотить, как тараном, в ворота, ворота затрещали, а скоро принесли топоры и ломы, и быстро была пробита широкая дыра, через которую солдаты стали прыгать к крепость.

Баранов, избитый камнями, перемогался, но зорко следил за развитием боя и отдавал приказания мне и другим офицерам. Когда передовые взяли обе башни, а другие сломали затворы ворот и распахнули ворота, колонна вступила в город.

Баранов приказал мне с 2 — 3 ротами итти налево по улице, вдоль стены, а другому офицеру итти по стене и захватывать попутные башни с артиллерией, приводя орудия в негодность.

Так мы дошли до конца стены у Дэрьи. Дойдя до берега, вызвали баркас, передали туда раненых и убитых и с проводником отправились в цитадель.

При повороте на широкую улицу, едва только на ней показалось человек 25 — 30 солдат, а вся колонна шла еще за углом, раздался залп из больших крепостных ружей (фальконеты). Несколько солдат упало, и на меня один из них свалился, обливаясь кровью. В ту же минуту и уцелевшие и подоспевшие из-за угла бросились вперед и овладели прекрасно построенной из земли во всю ширину улицы баррикадой со многими фальконетами.

Защитники баррикады слишком поторопились. Если бы бо́льшая часть колонны втянулась в улицу, то залп с баррикады опустошил бы ее.

Разметав баррикаду, колонна отправилась в цитадель. Там, навещая раненых, я узнал, что упавший на меня, смертельно раненый солдат моей роты Сахаров умышленно прикрыл меня своим телом.

При повороте на широкую улицу он увидел баррикаду и целившихся артиллеристов и первый с криком бросился вперед, увлекая за собой остальных.

Так наш солдат отдает свою жизнь за другого, скорее дальнего, чем ближнего.

Откуда же черпались героические силы у солдата—вчерашнего мужика или рабочего? Как создалась его выносливость, его стойкость, сметливость, удаль, мужество, самопожертвование? Полный и точный ответ на этот вопрос я дать не могу. Думаю, что вся многострадальная и трудовая жизнь и вся история развития русского народа и его глухая и упорная борьба со стихийными силами развернули в массах задатки, а в личностях— цветы подвижничества и героизма, ибо трудовая жизнь и борьба служат лучшей школой для развития сил и способностей человека.

Писателю Дионео один очень наблюдательный англичанин говорил: «Вы, русские, удивительный народ. Вы умеете умирать, а жить не умеете»...

ГЛАВА V.

Великие нравственные силы отдельных лиц неугасимы. Подавленные железной дисциплиной мирного времени, они оживают в военное время. Железный режим только мешает потенциальным силам трансформироваться в форму живой силы и оставляет ее до поры до времени в скрытом состоянии. Такие соображения и упрочивали надежду на привлечение пропагандой и своим личным примером небольших частей к мятежным выступлениям.

Привлечение отдельных лиц, при известной осмотрительности, дело сравнительно нетрудное и осуществимое с соблюдением строгой конспирации.

Пристальное наблюдение легко выделяет из толпы людей энергичных, способных и влиятельных.

Но смелая агитация для привлечения массы несравненно труднее, и при условиях военной жизни, по самому своему существу, не может быть проведена конспиративно.

Военная служба доставляет на каждом шагу случай для агитации по самому смыслу этого дела; последняя тем успешнее, чем она решительнее и отважнее, что не совсем совместно с строгой конспирацией, и выполнима только при большой опытности, ловкости, смелости и находчивости; а ошибки в данном случае приводят к бесполезной гибели.

Однако, агитационные выступления солдата или офицера будут успешны, если в роте или небольшой артиллерийской или кавалерийской части существуют уже подготовленные пропагандой люди.

Вполне удачным примером может служить увлечение унтерофицером Ростковским и Щуром предварительно подготовленной пропагандой Арнгольдта, Сливицкого 2-го и Каплинского— учебной команды стрелковой бригады в Варшаве в 1862 г.

Эта команда в полном составе ворвалась с оружием в Александровскую цитадель и освободила своих арестованных офицеров [1]).

Такими общими соображениями руководились офицеры, приступая к организации кадров будущей военно-революционной силы.

В частности, вопрос о пропаганде в войсках тогда разрешался разнообразно. Всего удобнее было вести пропаганду

[1]) См. стр. 18—22 и прим. V. *Ред.*

в учебных командах, если только в состав преподавателей попадали свои офицеры, даже и тогда, когда в персонал команды попадали не кружковые, а просто порядочные и разумные товарищи или платонически сочувствующие и близко связанные школьными или иными узами.

Но получить в заведывание учебную команду редко удавалось.

В Кронштадте, в некоторых экипажах заведывали учебной командой кружковые офицеры, и результаты оказались прекрасными [XII].

В Одессе и Николаеве кружковые офицеры в команду не попали, да и там этот вопрос был решон совершенно иначе. Мы были убеждены в наличности необходимых для подвига душевных сил у солдата и считали нужным и возможным не увлечение только, а слияние с солдатами воедино в борьбе.

У некоторых офицеров [1]) явилась мысль о плодотворности сближения солдат с рабочими и о наибольшей действительности пропаганды через посредство опытных рабочих с тем, чтобы офицеры создавали самые благоприятные условия для сближения солдат с рабочими. Такой план, помимо наибольшей успешности пропаганды, приводил к важным последствиям, именно имел в виду, что инициатива пропаганды или возмущения будет исходить не только от офицеров, но и от самих солдат. В таком случае руководители могли бы рассчитывать на большее доверие и на лучшее повиновение солдат.

Офицеры должны были указывать рабочим на подходящих людей; создавать для свидания самые благоприятные условия, всячески оберегать своих избранников и давать им наиболее влиятельные должности, оставаясь сами в тени.

Такая конспирация приводила бы к желательному результату. Подготовленные для активной деятельности солдаты должны были сами искать союзников среди популярных офицеров и легко нашли бы таковых среди кружковых офицеров.

Эти расчеты оказались правильными. Ошибка состояла только в том, что кружковым офицерам вовсе не удалось сохранить до поры до времени свое инкогнито: солдаты отлично их знали и подарили им свое доверие.

Однако, широкое осуществление такого плана пропаганды тогда оказалось невозможным. Опытные пропагандисты рабочие были слишком заняты своим делом, тем не менее Исполнительный Комитет оценил всю важность такого метода действия

---

[1]) В ст. Военная Организация партии «Народной Воли» («Былое», 1906 г., № 7, стр. 11), не вошедшей в настоящую книгу, как более краткое изложение настоящей статьи, автор говорит, что решение о пропаганде среди солдат и матросов было принято на общем собрании морского и армейского кружков в Николаеве. *Ред.*

и послал военным товарищам на помощь двух весьма талантливых и энергичных рабочих, которые основались в двух больших южных городах... [1]).

Как драгоценны и какой жизненной силой обладали семена, заброшенные этими замечательными лицами, особенно на плодородную почву среди морских солдат—показывают недавние севастопольские события [2]), которые нельзя выключить из общей связи с событиями, подготовлявшимися в 80-х годах.

Некоторые особенности военного быта, созданные грубостью нравов, отличались большой устойчивостью.

Упомяну только о телесном наказании, о мордобойстве, о мелких доходах с солдатского пайка, с припека, прикроя, о беззащитности младших.

Удивляться такому положению дел у военных не приходится, когда те же явления стали бытовыми особенностями повсюду на Руси.

Нововведения, приносимые реформами, принимались туго, с постоянным возвратом к старому. Да и самые нововведения, закрыв двери злоупотреблениям, открывали для них все окна настежь. Например, отмена телесного наказания давала право начальнику зачислять солдата в разряд штрафованных, которых все, начиная с ротного командира и выше, могли сечь; и побои чем попало и куда попало не переводились и даже поощрялись начальством.

Такие-то особенности военного быта создавали очень удобную обстановку для повседневной агитации, имевшей воспитательное значение и протекавшей безнаказанно при всей своей нелегальности, ибо она приводила к публичному протесту иногда скопом.

В таком случае начальство, замаранное злоупотреблением, не преследует по закону агитатора за явное нарушение дисциплины, а зачисляет его в разряд «беспокойных», которых и выживает из полка под предлогом, например, «для пользы службы», в другой полк.

Такая «домашняя» агитация на глазах у солдат привлекает их сердца к агитатору, создает ему широкую популярность, выходящую за полковые пределы, и приучает самих солдат к протестам.

Благодарный случай для безнаказанной агитации доставляла гражданская власть, привлекавшая войска к оскорбительному для военных сотрудничеству с тайной и явной полицией и шпио-

---

[1]) В г. Николаев послан был В. Н. Фигнер рабочий «Александр» («Запечатленный Труд», т. I, стр. 238). Его фамилия—Григорьев. Кто из рабочих пропагандистов работал среди военных в Одессе или Севастополе—узнать не удалось. *Ред.*

[2]) Автор писал в конце 1900 годов. *Ред.*

нами. Для устрашения, или в назидание, или по незнанию, как использовать свою власть, или по желанию отличиться своей распорядительностью, она палила по воробьям из пушек, вызывая своими распоряжениями осуждение старшего военного начальства и ропот среди рядовых.

Нужно заметить, что и военные власти не всегда отличались благоразумием [XIII]. Я уже говорил о хаотических беспорядках, вызванных безрассудным распоряжением собираться по тревоге всему гарнизону тысяч в 15 на небольшой, застроенной балаганами базарной площади, по случаю еврейского погрома (см. стр. 59—60 «Воспоминаний»).

Понятно и раздражение военного начальства, когда наблюдение за солдатом передается полиции, а ответственность за это поведение остается на военных властях.

Вообще говоря, привлечение войск к операциям, не отвечающим прямому назначению, приводит иногда к крупному и непоправимому скандалу. Например, во время лагерного сбора в Одессе была совершена одна политическая казнь с непонятной, но жестокой целью, а может быть, и без всякой цели, с особенной торжественностью, т.-е. в присутствии четырех полков, которые были построены четырехугольником против виселицы, на обширном поле, около городских боен [XIV].

В средине находились начальник дивизии и гражданские власти. Для описания душевного состояния всех и каждого из присутствовавших при этой жестокой и длительной казни в чудное летнее утро нужны краски Толстого или Достоевского.

Я опишу этот случай, как умею. Мне передавали некоторые свидетели, что вся многотысячная масса, затаив дыхание, как бы окаменела в мучительном и нетерпеливом ожидании страшной развязки. Повидимому, сознание каждого было спутано кошмарным видением; все взоры были прикованы к роковому месту. Может быть, многие и хотели отвернуться, да стыдились встретиться глазами с соседом, смутно чувствуя укор совести за свое невольное присутствие на отвратительном зрелище узаконенного убийства.

По окончании казни войска должны были, по дикому ритуалу, пройти церемониальным маршем по свеже засыпанной, временной могиле.

Но случилось нечто небывалое и сумбурное. Когда палач разрезал веревку и труп упал на землю, несколько человек офицеров бросилось к палачу, а за ними вдогонку, нестройными толпами, устремились солдаты, сохранившие из всех парализованных душевных сил только смутное и непреодолимое устремление, и бросились к месту казни, сами не сознавая зачем, потому что к разряду душевного напряжения послужило движение первого, затем нескольких других офицеров к палачу, ибо

и слабое прикосновение к натянутой тетиве спускает стрелу. Солдаты, как сонные, бежали кучами, увлекая за собой больших и малых начальников.

Картина напоминала паническое бегство, вызванное стихийным бедствием.

Подбежавшие толпы расположились широкими кольцом вокруг виселицы и безмолвно замерли. На глазах и высшего и полкового начальства внезапно совершилось небывалое, необъяснимое и скандальное нарушение дисциплины и строевого порядка.

Оскорбленное начальство онемело на несколько минут от изумления. Кто-то из них опомнился и закричал отчаянным воплем: «По местам!» И толпа покорно и быстро выстроилась, как стояла первоначально.

Когда водворился порядок, дознание выяснило причину события. Оказалось, что два или три офицера из отчаянных и суеверных картежников бросились к палачу, чтобы купить отрезок веревки повешенного, который будто бы приносит счастье. И таким благонамеренным истолкованием беспорядка, неслыханного в военных летописях происшествия, начальство было утешено.

Благоприятные случаи для агитации по «домашним обстоятельствам» подавали: караульное охранение «политических», облавы при обысках, внезапные осмотры начальством солдатского помещения и проч.

ГЛАВА VI.

Итак, по мнению радикальных офицеров главные условия успешности пропаганды и агитации в войсках были: 1) самодовлеющая власть, оторванность от общества и народа и система управления, основанная на полицейском бескорыстии, на неподкупности крепостников, прожигателей своего благоприобретенного неправдой достояния, на голодных и забитых чиновниках-писарях, орошавших Россию чернильным дождем, на оглушенных беспардонным режимом солдатах, на громилах, готовых за чарку водки зарезать свою мать, да на народной темноте. Эта противообщественная система, обращая свои карательные средства самоохранения в свои постоянные цели, отступая все назад и назад, вела Россию к великой разрухе и даже к эпохе великого переселения народов российских, ибо, ссылая массами свою интеллигенцию и молодежь, не забывала и поляков, и украинцев, и евреев, и финнов, и кавказских инородцев, и раскольников всякого толка.

Впоследствии эту систему управления продажные барды называли возвращением к исконным, самобытным российским

началам, но всем было ясно, что эти исконные начала состояли в полувековом пребывании России под усиленной и чрезвычайной охраной, с передачей неограниченной власти 80 сатрапам, и в упразднении законности, т.-е. в возвращении к исконному варварству.

2) Психология армии. Конечно, в миллионной армии встречаются люди разные, но крестьянское ядро ее составляли люди цельные, не заеденные скептицизмом и самоугрызением, закаленные трудовой жизнью и вечной борьбой со стихийными силами, выносливые, смелые и терпеливые—это вообще, а в частности—даровитые и наделенные удивительной приспособляемостью ко всевозможным условиям жизни, широкие натуры, удалые люди, сохранившие свойство своих предков, ушкуйников, колонизаторов и запорожцев.

Нередко встречались вечные искатели правды и подвижники, жаждущие пострадать за правду и за других. Встречались люди сдержанные, даже скрытные, себе на уме и недоверчивые. В такой аудитории пропаганда и агитация были успешны, но являлась опасность преждевременного воспламенения энтузиастов, способных увлечь за собой массу. Но еще опаснее были люди легкомысленные и слабовольные, способные загореться, надымить и отравить атмосферу ядовитыми миазмами паники и отступничества.

Все это обязывало руководителей оставаться на своем посту ежеминутно, сохраняя всю силу своего самообладания и пристального внимания, и, не увлекаясь блестящей внешностью, памятовать, что самая прочная цепь никуда не годится, если в ней окажется одно слабое звено.

Но дело в том, что у нас всякая оппозиционная деятельность завершается неблагополучно, а конспиративная политическая работа протекает при особенно тяжелых условиях—она недолговечна и потому не допускает строгого разделения труда по способностям.

Правда, для всевидящего ока, подозревающего всех и каждого в крамоле, все кошки серы; но удовлетвориться такой слабой гарантией было невозможно: такая гарантия диктовала только сугубую осторожность. Правда, каждый из офицеров-радикалов считал себя заранее обреченным, а потому именно и считал своей священной обязанностью постоянно заботиться о сохранении целого, т.-е. партии, а затем, по возможности, своей группы. Но по условиям военного быта, подобного монастырскому, строгая конспирация невозможна.

Полковые офицеры, как монахи, всегда на-виду у своего отца-игумена и братии во Христе. И монахи и офицеры связаны своей профессиональной честью, которая основана у первых на заповеди «не осуждай своего ближнего», а у вторых на чувстве долга, на присяге, на чистоте мундира.

Но человеческая природа слишком греховна, чтобы в чистоте соблюдать все эти максимы, и профессиональная честь военного сословия вырождается в житейское правило «не выносить сору из избы».

Однако, всегда и везде встречались благочестивые и добросовестные люди, озабоченные чужими делами до такой степени, что, не замечая бревна в своем глазу, отлично видели спицу в глазах брата своего и для спасения души брата своего исповедывали по совести, на ухо игумену, чужие прегрешения.

Но джентльменская порядочность и чувство товарищества всего корпуса офицеров того времени ограждали кружковых офицеров от разоблачения до самого провала организации, а потом на следствии допрашиваемые офицеры говорили все, что могло послужить к облегчению ответственности арестованных и только в редких случаях давали неосторожные, наивные показания.

Но достаточно одной паршивой овцы, чтобы погубить все стадо. Как бы то ни было, а конспирировать было необходимо.

Последствия показали, что надежды на личную порядочность непричастных к делу офицеров были основательны.

Явный полицейский надзор тогда не распространялся на офицеров, под тайный надзор они могли попасть только при неосторожных сношениях с нелегальными, поэтому с нелегальными встречались в хорошо устроенных конспиративных квартирах. Где этого не было, там связи поддерживало единственное лицо.

Итак, за неимением лучшего, конспирировали по русскому правилу «береженого и бог бережет» и «все мы под богом ходим». А там, где приходилось рисковать,—шли на «авось да небось». И нередко рассыпали бисер в присутствии неизвестной публики, словно находились накануне переворота, тогда как они заняты были исключительно подготовительной работой [XV].

Когда рабочие познакомились с солдатами, то последние оказались более искусными конспираторами, чем офицеры. Денщику одного офицера пришлись по душе некоторые подслушанные им у офицера речи, и он стал читать «Жгучки» («Хитрая механика», «Сказка о 4-х братьях», «О копейке», «О Мудрице Наумовне» и т. д.), которые у хозяина лежали под тюфяком.

Хозяин недоумевал, куда пропадают эти книги. Однажды он застал денщика за запрещенным чтением, и денщик признался, что не только сам читал эти «хорошие книжки», но и передавал их неоднократно в роты, а на замечание об опасности распространения такой литературы и на приказание изъять эти книжки из оборота возразил: «Да не беспокойтесь, их не найдут».

И, действительно, запрещенные книжки не попадались при внезапных обысках в казармах.

Народовольцы были превосходные конспираторы и отлично умели заметать свои следы. Один из самых выдающихся основателей этой партии—Александр Михайлов—был гением-хранителем своих товарищей. Он знал в лицо самых ловких агентов охраны; знал не только все проходные дворы города, но все щели и лазейки, всю топографию местности до мелочей и не раз выручал из беды попавших в ловушку товарищей, за которыми следил издалека, и проваливался вместе с ними, словно сквозь землю, на глазах у сыщиков. Но Михайлов—человек высоко одаренный, опытный и весьма энергичный. Его разносторонняя деятельность отличалась художественной законченностью, чистотою и ловкостью отделки, и такая работа была не по плечу рядовым конспираторам и организаторам, и неопытные офицеры, конечно, не могли выдержать сравнения с лидером бесстрашной партии.

Другой народоволец—Клеточников, на острых зубах, в пасти акулы, так как он проник в департамент полиции и заведывал там секретным столом,—оказал партии великие услуги, охраняя и предупреждая кого следует об опасности.

Но роль Конрада Валенрода под силу немногим. Или отважный, неуловимый, незаменимый, несравненный Фроленко [XVI], который посвятил себя, кроме другой разнообразной деятельности, освобождению из тюрьмы своих товарищей. Он перевоплощался с неподражаемым искусством: сегодня стрелочник, завтра мишурис, потом кучер или сторож и, наконец, тюремный надзиратель.

Суровый с виду, скромный и молчаливый, он умел внушать совершеннейшее доверие всем, с кем вступал в какие-либо отношения.

В то время, как его разыскивали по всей России, он взял быка за рога и поступил в киевскую тюрьму сначала сторожем, а заручившись полным доверием начальства—надзирателем и, проживая вместе с отборными тюремщиками, не только не возбудил ни малейшего подозрения или неудовольствия сослуживцев, но заслужил отличие, со стороны начальника тюрьмы и был назначен надзирателем за политическими, чего он и добивался; а затем, на своем дежурстве, отворил камеры трех заключенных: Стефановича, Дейча и Бохановского, переодел их, вывел из тюрьмы и скрылся с ними.

Он же, по делам партии и щадя ее небогатую казну, переносился из одного конца России в другой по дешевке и по возможности пешком.

Для новичка в незнакомом деле конспирации, пропаганды и организации радикально настроенному офицеру нужно было переродиться и омыться в глубоких водах личного опыта, а его внимание отвлекалось на каждом шагу исправной службой.

Как было в таком положении подражать неподражаемому, легендарному Фроленко?

ГЛАВА VII.

Для успеха борьбы нужно сосчитать силы противника и собственные; нужен ясный и осуществимый план действия и организация центрального направляющего и местных распорядительных органов; нужны известные приемы действия и согласованность всех операций.

Цель или план предстоящей борьбы определяет средства или тактику. В этом и состоит весь смысл организации.

Для мобилизации военной силы нужно создать сначала достаточные кадры из людей смелых и самоотверженных. Чтобы организовать такие кадры, нужна пропаганда. Чтобы превратить скрытую энергию мысли в живую, активную силу, нужна агитация, а для успешной пропаганды и агитации необходима возможная конспирация, и все это является важнейшим условием хорошей организации подготовительной работы; а затем, когда назреет момент и дан будет сигнал к началу, остается только ринуться в битву—победить или умереть.

Все эти теоретические соображения были знакомы военным людям. Но боевая практика, испытанная немногими, мало походила на приемы гражданской войны, в которой личный опыт остается лучшим учителем.

Тактика народовольцев указывала только на приемы партизанской войны, но для действия более значительными массами нужно было учиться на практике, при чем учителями бывают обыкновенно свои ошибки, конечно, не грубые, исправимые, да ошибки противника, всегда поучительные и выгодные, общее одушевление и дружное сотрудничество, быстрота и смелость операций да счастливый случай.

В наше время изолированные инсуррекционные попытки обречены на неудачу, ибо без содействия фабричных рабочих, железнодорожных служащих, без широкого народного и общественного движения инсуррекция может иметь только воспитательное значение, за которое придется заплатить слишком дорого.

Так думали на юге при составлении программы южных кружков.

Так думали и на севере.

Никто из нас не питал надежды на присоединение к военному движению значительных рабочих, особенно крестьянских масс.

Однако, не предрешая вопроса о совместном с другими движении, мы признали, что единственной целью военной организации должна быть инсуррекция.

Офицерские кружки, как мы говорили выше, складывались почти непроизвольно и складывались повсеместно.

Учредителями первого и самого совершенного кружка в Кронштадте были моряки и артиллеристы, при содействии Желябова и Колоткевича.

Этот кружок офицеров-социалистов принял программу Исполнительного Комитета партии «Народной Воли», оставаясь автономным по военным делам, и стал центральной группой военной фракции партии «Народной Воли».

В состав его входили лейтенанты—Суханов, Штромберг, Серебряков, Буцевич, Завалишин, артиллеристы—Рогачев, Папин, Николаев, потом Дегаев, Похитонов [XVII].

В декабре 1882 г. были вызваны я и казак Сенягин.

Центральный кружок разослал своих агентов по ближайшим квартирным стоянкам, туда, где были хорошо знакомые офицеры и благоприятные условия для учреждения новых кружков.

Эмиссары, посланные для агитации, или подготовленные офицеры, попавшие по назначению начальства в провинциальные полки и батареи, всюду встречали живейшее сочувствие.

Освободительное движение захватило наиболее интеллигентную часть военного общества, и повсюду стали возникать дружные кружки, которые занимались изучением социального вопроса, и агентам оставалось только указать им на необходимость политической борьбы, к сознанию чего они бы пришли современем сами.

На юге кружки возникли самостоятельно и не были связаны с центральной группой до конца 1881 года. В Николаеве армейский (Ашенбреннер, Мицкевич, Талапиндов, Успенский, Маймескулов, Заиончковский 2-й, Кирьяков, сапер Чижов и казак Попов) и огромный морской, человек в 30, если не более (моряки—Янушевский, Кудрицкий, Ювачев, Бубнов, Гловацкий, доктор, фамилию которого и остальных не помню). В Одессе армейский (Крайский, Стратанович, Телье, Каминский, Мурашевич), и рядом с ними Крайский группировал несколько молодых офицеров, которые в середине 1883 года вошли в состав кружка Крайского.

Эти кружки в 1881 году стали кружками политическими.

В декабре 1881 года в Николаеве и Одессе побывал Буцевич и присоединил тамошние кружки к партии «Народной Воли».

Армейцы приняли программу Исполнительного Комитета и Центрального Военного Кружка.

Отношение многолюдного морского кружка к программе Исполнительного Комитета мне и до сих пор не ясно. Трое хорошо мне знакомых и выдающихся членов этого кружка переместились в Петербург, в морскую академию, но зато оттуда, т.-е. по окончании курса морской академии, прибыл Янушев-

ский, близко стоявший к Центральной группе, человек исключительно даровитый.

Недолговременная карьера русского революционера, в связи с невозможностью строгого разделения труда, при нашей малочисленности, принуждала каждого из нас хвататься за работу не по своим силам и способностям; но ведь силы и способности выявляются и нарастают вместе с работой и укрепляются опытом. В этой большой и спешной работе приходилось каждому рядовому оставаться бессменно на своем посту и в то же время быть и за капитана, вследствие временного отсутствия товарища, занятого другим неотложным делом, и это, во-первых, приучало рядовых к самостоятельной работе не по указке и, во-вторых, подготовляло заместителей на случай провалов.

Так было и на севере, в чем я убедился при объезде кружков в начале 1883 года.

В южных кружках работали дружно, что объясняется единством состава и одновременностью их возникновения, но число членов в армейских кружках не возрастало, словно первоначальный набор собрал все, что можно было взять.

Не так было у моряков; их кружок разрастался до чудовищных и опасных, в конспиративном отношении, размеров.

Текущие вопросы разрешались единодушно, и Одесса с Николаевом оставались в связи; офицеры и зимой и летом обменивались визитами. В Николаеве происходили общие собрания армейского и морского кружков, притянутые к центру Буцевичем в декабре 1881 года; южные кружки сейчас же от него оторвались. Весною 1882 года побывала у нас В. Н. Фигнер, а затем мы узнали об аресте Буцевича.

Конспиративная переписка с центром не была налажена, и оттуда никто больше у нас не бывал.

Естественное желание обмениваться мыслями, сведениями, советами и навыками с другими кружками, о существовании которых мы слыхали, а главное, с центром, не удовлетворялись, и такая оторванность была невыносима и прямо пагубна. Поэтому на общем собрании в Николаеве было решено отправиться на розыски неуловимого центрального кружка, и летом 1882 года несколько моряков и армейцев разъехалось в разные стороны на поиски, заручившись кое-какими рекомендациями к легальным и нелегальным.

В Москве, в лагерное время, я и не рассчитывал на удачу. В Орле я нашел кружок, но там ко мне отнеслись с недоверием, по моей ошибке: я перепутал пароли, а в Кронштадте я центрального кружка не нашел,—мне сказали, что моряки в это время находятся в отъезде или в плавании.

На обратном пути я познакомился и столковался в Киеве с одним вполне зрелым кружком и с одним офицером другого кружка.

На совещании с ними мы порешили, не дожидаясь установления прочной и постоянной связи с центром, учредить областной подвижной центр, обмениваясь частыми визитами между Киевом, Одессой, Николаевом.

Так и установился наш областной центр, и во всех вопросах киевские и южные кружки пришли к полному согласию и оставались в постоянном контакте, без переписки.

ГЛАВА VIII.

Когда южные товарищеские кружки пришли к сознанию необходимости присоединиться к общему политическому движению, им прежде всего приходилось выяснить, что нужно для этого сделать.

Они могли оставить службу и пристать к боевым дружинам, по примеру нескольких офицеров, или, оставаясь на службе, т.-е. сохраняя в своем ведении роты и батальоны, содействовать успешному развитию всяких протестантских или боевых выступлений.

Роты и батальоны привлекались властями к разнообразным охранительным и усмирительным операциям, и такая практика должна была определить способы нашего содействия.

Уклонение определенной личности от соучастия в подобных операциях по правилу «уйди от зла и сотворишь благо», конечно, было похвально для спасения своей душевной чистоты, но приносило мало пользы делу.

С другой стороны, имея в своих руках группу солдат, всегда можно с небольшим риском уклониться, вместе со своей командой, от точного исполнения планов начальства, расстроить их, хотя бы отчасти, и не только оттянуть развязку, но внести беспорядок в общую операцию.

Примеры: приказано вести роту к казначейству, арсеналу, в рабочий квартал, на соборную площадь, к острогу или провиантским складам,—офицер может, по недоразумению, заблудиться с ротой.

Приказано разогнать толпу прикладами или даже штыками,—офицер может приказать солдатам бестолково метаться, шуметь, кричать, но отнюдь не драться, а приближаться к толпе сомкнутым строем и затем рассыпать людей цепью, при чем легче расстроить порядок и смешать солдат с толпой, в которой даже желающий действовать оружием утрачивает к тому возможность, и поступить так тем возможнее, что маневр охватывания толпы цепью имеет для присутствующего начальства видимость очень ловкого приема.

Такое смешение солдат с толпой приводит к хорошим последствиям. Другая рота, вызванная, чтобы поправить дело, не решится стрелять или колоть, потому что в толпе есть свои сол-

даты, а если пойдет в атаку, то, по всей вероятности, бестолково запутается в толпе,—словом, операция будет парализована, а такое смешение солдат с толпой дает офицеру прекрасный случай тут же для агитации в самой толпе.

Если прикажут стрелять в толпу, можно запретить солдатам стрелять по людям, и, когда солдаты любят своего командира и верят ему, они охотно его послушают.

Первый и второй залп на воздух делают роту малоспособной для враждебных действий против толпы, и начальству остается только заменить ее другой, более надежной частью.

Эта другая, более надежная группа, узнавши, почему ее вызвали на смену, может или последовать данному ей примеру, ибо в серьезных случаях даже организованная группа людей легко увлекается подражанием, или надежная рота будет действовать нерешительно.

В подобных действиях против толпы опаснее всего утрата солдатами самообладания, когда разнуздываются звериные инстинкты, а это может случиться, если рота будет встречена враждебными действиями, например, провокаторским выстрелом.

Опытный командир должен предусмотреть и такой несчастный случай и определить заранее свое поведение.

Для спасения солдат от преступного покушения придется так или иначе пожертвовать собой, и такая жертва не будет напрасной.

Разумеется, в данном случае офицер будет наказан: что же делать, если в наше время приходится быть мучеником, если не хочешь быть подлецом.

При облавах и арестах расторопный офицер может, по недоразумению или по ошибке, сохраняя всю видимость исправного и точного исполнителя, задержать, кого следует пропустить, например, шпиона, сыщика, и пропустить через цепь, кого следует задержать, например, спасающегося от ареста.

При охране арестованных политических караульный офицер может оказать разнообразные услуги, например, передать при удобном случае письмо и письменные принадлежности, переговорить с ними, исполнить их поручение.

Поручик Тиханович на своем дежурстве вывел арестованного народовольца Василия Иванова из образцовой киевской тюрьмы на глазах часовых, и строжайшее следствие не открыло истинного виновника, и только Дегаев впоследствии разоблачил Тихановича.

В начале 80-х годов по России прокатилась волна погромов, направленных на евреев темными силами и подстрекательством полиции. Но повсюду была заметна несогласованность в распоряжениях гражданских и военных властей.

В Одессе и Киеве были вызваны на усмирение громил все наличные военные силы. Может быть, военное начальство поста-

вило войска и толпу лицом к лицу с тайной целью разжечь дурные инстинкты солдат для другого более интересного случая, но, как бы то ни было, пехота повсюду бездействовала. В разных местах толпа неистово буйствовала, грабила, убивала, но роты, направленные туда, оставались на приличном расстоянии, безмолвно и неподвижно созерцая погромные подвиги, а когда одесское начальство, встревоженное слишком широким разгулом толпы, отдало войскам приказание восстановить порядок, пехота продолжала бездействовать, и власти должны были поручить это дело казакам и юнкерскому училищу. Пехота была уведена в казармы, а юнкера с казаками оттеснили толпы громил к гавани, где власти учинили грандиозную порку, выбирая для наказания на глаз, и явных громил, и случайно попавших в толпу.

Затем толпа была посажена на баржи, которые и были отведены в открытое море, где арестованные находились несколько суток без воды и пищи в бурную погоду.

Лейтенант Беверлей, командир парового катера, перевозивший из сострадания к арестованным одежду, пищу и воду от родных с берега, возмутил своей гуманностью командующего войсками Гурко, и последний просил адмирала посадить Беверлея на две недели под арест на маяке, но адмирал Манганари отказался исполнить такое небывалое и незаконное наказание и посадил Беверлея на гауптвахту на неделю.

В Киеве пехота также бездействовала, а в Елизаветграде пущенные в атаку эскадроны, подскакав к толпе, круто поворачивали назад, будто бы потому, что пух, выпущенный из еврейских перин, пугал и слепил лошадей,—объяснение самое неправдоподобное.

Не следует забывать, какое громадное значение имеет в психологии даже организованных масс фактор подражания и внушения. Я не умалчиваю умышленно о другом факторе, факторе привычного автоматического повиновения команде.

Такие соображения офицеров-радикалов и послужили основанием для начертания своей программы содействия каждому освободительному выступлению. Эта первоначальная программа была формулирована так: «Мы обязуемся не подымать оружия против народа и его защитников, против протестующих и восставших». Такая программа нас удовлетворяла, так как она была вполне удобоисполняема и в сущности провозглашала дружеский нейтралитет военных по отношению к восставшим и так или иначе протестующим против существующих политических и экономических порядков.

Познакомившись с нашей программой, Буцевич признал ее несостоятельной. Он говорил: «Ваша программа, конечно, лучше

репрессивной программы правительства, но она приносит минимальную пользу делу освобождения. А главный ее недостаток— нерешительная, уклончивая тактика. Неточное исполнение планов начальства действительно расстраивает их отчасти и на короткое время откладывает трагическую развязку. Не ясно, почему верная и покорная правительству рота будет подражать непокорной роте, а не наоборот. Правда, не всегда события развиваются прямолинейно, как летают вороны; но уклончивая и двусмысленная тактика более свойственна дипломату, чем воину. Если между командиром и командой солдат существует духовная связь или психическое взаимодействие, то нерешительное и уклончивое поведение командира не охладит ли мужественную решимость солдат? Бывали случаи, когда рота по своему почину, не стреляя на воздух, прямо отказывалась стрелять. Пристрастное, бесчестное и бесчеловечное отношение к себе и своим возмущает солдата, но он молча и терпеливо сносит обиду, потому что потерял надежду на сочувствие к своим нуждам; но острожная дисциплина не убила в нем сознания человеческого достоинства и ценности человеческой жизни; солдат не избалован лаской; отзывчивый и чуткий, он отвечает на любовное к нему отношение самоотверженной преданностью и доверием. Обманом и хитростью не купишь его доверия; в этом случае он не так наивен, как дитя. Он готов простить обиду за ласковое слово, но чем глубже таит свою обиду, тем больше ненавидит своего тайного или явного врага.

Не нужно забывать, что чуткая совесть и человеческое достоинство не составляют привилегии белой кости, а крестьянскую нужду и мужицкое горе солдат сам испытал с юности, и кровная его связь с мужиком или рабочим крепче, чем идеальные узы интеллигента с народом.

Военные хитрости непозволительны с товарищами, они применимы к опрометчивому врагу. Делать уклончивую тактику программой подготовительной работы к восстанию—значит, обращать свои средства в цели. Поэтому программа дружеского нейтралитета противоречива и несостоятельна.

Другие военные кружки присоединились к революционной тактике партии «Народной Воли» и приняли программу Исполнительного Комитета, составляя автономную, по военным делам, фракцию этой партии.

Присоединение южных кружков к партии «Народной Воли» для дружной и объединенной подготовки восстания может оказать не минимальные, а действительные услуги освободительному движению».

Такими убеждениями Буцевич присоединил южные кружки к партии «Народной Воли», и они приняли программу военно-центральной группы.

ГЛАВА IX.

Новая программа, не отказываясь от более действительных и менее двусмысленных приемов старой программы, предусматривала другую, более решительную тактику, и Буцевич это разъяснил нам наглядно на нескольких примерах, которые он воплотил в такие выпуклые формы и осветил такими яркими красками, что пленил наше воображение. Он говорил: «Нельзя откладывать решительное выступление до окончательной готовности целых гарнизонов. Немногочисленная, но хорошо сплоченная группа «Марсельцев» [1]) принимала самое действительное участие во всех важных революционных событиях и всегда склоняла успех на свою сторону.

Одна рота, под руководством решительного человека, может оказать великие услуги революционному движению, например, в городе рота может захватить арсенал и передать народу оружие.

Известно, что в каждом городе существуют громадные неприкосновенные запасы оружия, патронов, снарядов на случай мобилизации, и эти склады расположены на окраинах и охраняются ефрейторским постом (3 человека и ефрейтор).

Снять этот пост ничего не стоит. В мирное время в батареи запрягаются только 4 орудия и по одному зарядному ящику на орудие; остальные 4 орудия и 20 зарядных ящиков также хранятся до мобилизации в особых помещениях, под охраной ефрейторского караула.

Захватить эти орудия, захватить снаряды в пороховых погребах дело очень немудреное. Рота может арестовать особенно ретивых начальников и, таким образом, действительно расстроить планы начальства и поселить в штабах неурядицу. Рота или даже один взвод может ворваться в тюрьму и освободить политических заключенных. Офицеры-радикалы должны изучать не только топографию местности, но и все мелочи военного быта и обычные приемы действия и распорядка властей, и такое изучение откроет уязвимое место в военных порядках. Пример, который приводится ниже, покажется фантастическим, во вкусе Жюля-Верна, но если не увлекаться поразительной эффектностью развязки, то увидишь, что основан он на точном расчете, на знании военных порядков и умении выбрать слабое место для удара.

С небольшими силами можно обезоружить приблизительно в один и тот же час всю русскую армию.

Известно, что на пасхальную заутреню отправляются в церковь все войска при портупеях со штыками, а казармы с ротными арсеналами остаются под охраной немногих дневальных из

---

[1]) В первые годы Великой Французской революции. *Ред.*

евреев или магометан, и десять или около того человек вооруженных и с повозкой могут быстро снять дневальных и вынуть все боевые трубки из винтовок, положить их в мешок и выбросить в ближайшую реку [1]).

Этот пример приводится только для пояснения той истины, что изучение всех условий военной жизни дает возможность и с малыми силами сделать большую и полезную работу».

Буцевич, человек большого ума, привычного решать труднейшие задачи, и одаренный революционным темпераментом, умел наносить хорошо рассчитанные удары по линии наименьшего сопротивления и с небольшими силами получать наиболее полезное действие.

Какому автору принадлежит смелый план, в который он посвятил меня в наше последнее свидание, я не могу сказать наверное. Такие планы в Центральном кружке, вероятно, были известны, но о них со мной не говорили, а Буцевич развивал их с заразительной убедительностью. Особенность их состояла в том, что возможная, может быть, неизбежная, неудача их осуществления должна была привести все-таки к катастрофе с большими последствиями.

Буцевич, под руководством которого составлялись на юге кружковые уставы, убедил нас принять следующий параграф: «Мы обязуемся, по указанию военного центра, явиться с оружием к известному сроку в назначенное место» [XVIII].

Смысл этого параграфа для нас был не ясен.

Не выясняя своих планов, он советовал продолжать налаженную работу, т.-е. распространять между офицерами программу Исполнительного Комитета и Военного Центра, размножать офицерские кружки, вести пропаганду между солдатами, но иметь в виду, как слабо гарантированы от провала широко распространенные заговоры.

Он советовал не рассчитывать на близость крупных выступлений крестьянских или рабочих масс, которые, конечно, очень желательны и для успеха военного движения, но ведь и самостоятельное военное движение может вызвать народное движение, и от перестановки множителей произведение не изменится.

Двести или около того офицеров—достаточная сила для крупного предприятия, может быть, для переворота, и хотя мы и порешили раньше, в видах сохранения в целости военной организации, в случае привлечения к боевым дружинам офицеров, выходить в отставку, но параграф этот приняли, рассчитывая, что для важного предприятия можно пожертвовать и нашими наличными силами, в надежде, что следы нашей работы не

---

[1]) Впоследствии стали назначать для охраны казарм в эту ночь дежурную часть.

заглохнут, и на местах останутся продолжатели, именно солдаты, которых мы тогда решили не брать с собой.

Сообщая мне свои планы, Буцевич советовал держать их втайне от товарищей, ибо для осуществления их нужны большие деньги, которые обещаны, но еще не получены, да и положение военной организации еще не закончено.

Дегаев ничего не подозревал о таких замыслах, но все-таки оказал большую услугу правительству; выдав военную организацию почти в полном составе.

План, в общих чертах, был такой: мобилизация силы могла дать: 1) около 100 человек из провинции, обязавшихся явиться по первому требованию на сборный пункт; 2) в военной организации состояло несколько морских, артиллерийских и пехотных офицерских кружков в Кронштадте и Петербурге; 3) Э. А. Серебряков и Завалишин вели очень успешную пропаганду в учебных командах двух морских экипажей, а Панин с товарищами между артиллеристами (в Кронштадте).

Буцевич рассчитывал на два морских экипажа (около 8 тысяч) и на два небольших броненосца, а также на гарнизон 9 крепостных фортов (в Кронштадте).

Все это составляло очень внушительную силу.

Предполагалось, во-первых, захватить кронштадтскую крепость с фортами и попытаться привлечь к восстанию гарнизон в несколько десятков тысяч и значительную часть броненосного флота, хотя бы не сразу, выкинуть красное знамя и атаковать Петербург; или, во-вторых, в день майского парада арестовать в виду всей гвардии царя, Николая Николаевича, Владимира Александровича и др. и всю царскую свиту и, если будет возможно, отвести их к двум миноносцам, которые к этому моменту подплывут поближе к Марсову полю, а затем заключить их в кронштадтских фортах; если будет невозможно отступить с пленными под прикрытие боевых рабочих и студенческих дружин с бомбами, вследствие вмешательства гвардии,—то истребить царя со свитой и погибнуть [1]).

Разумеется, таковое выступление обусловливалось разрешением и содействием Исполнительного Комитета, который составил бы Временное Правительство и повел бы переговоры.

---

[1]) Продумывая детали этого плана, пришлось признать, что пленение пехотинцами конного царя и князей едва ли было возможно; а потому приходилось прямо истребить царя со всей его свитой. Среди декабристов было 7 полковых командиров, несколько батальонных командиров и адъютантов, бригадные генералы—все конные в строю: им было нетрудно арестовать царя, а по плану Буцевича шли на царя пешком, а потому и пришлось бы истребить и царя, и всю свиту в тот момент, когда вспомогательная мельница была в полном ходу и остановить ее было трудно.

На успех такого предприятия можно было рассчитывать, а в случае неудачи—истребление царя и высших сановников являлось, как мы думали, прологом великой русской революции.

Такие смелые и немногосложные предприятия удаются лучше. Пестель—человек огромных дарований, большой эрудиции и военной опытности и притом весьма практичный и проницательный, вместе с своими друзьями решил же открыть революционное движение арестом, а в случае необходимости—истреблением царя со свитой на смотру 3-го армейского корпуса в 1826 году.

В июне 1882 года мы узнали, что Буцевич арестован.

Вероятно, в центре и не говорили о планах Буцевича, потому что программы кружков еще не были объединены, а рассуждать о делах отдаленных, не закончив подготовительных действий, было незачем; их следовало только держать в уме.

В конце 1882 года я был вызван в центральный кружок. Два раза виделся в Кобеляках с членом Центра Н. Д. Похитоновым, побывал у Веры Николаевны Фигнер и явился в Кронштадт, и там меня избрали агентом для поддержания связи между кружками.

Это важное дело до сих пор не налаживалось, а между тем программы кружков были разнообразны, и требовалось свести их к единой программе Центра, а я, уволенный в годовой отпуск, следовательно, свободный для разъездов, был для такого дела пригоден.

Но мне предложили сначала, до приезда Степурина, познакомиться с положением дела в Петербурге для того, чтобы связать и объединить общей программой петербургские военные кружки в академиях артиллерийской и морской, в военных училищах и зарождающиеся кружки в некоторых полках.

По приезде Степурина, я отправился в первый и последний мой объезд по северо-западу России; побывал в нескольких кружках, где мы пришли к соглашению.

Мне было поручено: 1) свести программы к единой; 2) подготовить место и уговориться о времени съезда делегатов; 3) сообщить о предстоящем издании военного журнала и наметить корреспондентов; 4) предложить кружкам обмениваться с соседями визитами для создания областного центра и 5) получить в Москве крупную сумму денег, для чего меня снабдили рекомендациями.

Я нашел три хорошо организованных кружка с единой, по существу, программой; с четвертым кружком я познакомился заочно, а пятый нашел в зародышевом состоянии.

На пути в Москву я заехал к члену Центра Н. Рогачеву, но его не застал.

По получении денег в Москве я должен был вызвать Э. А. Серебрякова, сдать ему деньги и отчет о поездке, а затем мы думали отправиться по Волге, где-нибудь разъехаться в разные стороны, чтобы объехать все кружки.

Но в Смоленске я был арестован, к счастью, при таких обстоятельствах, что успел уничтожить все списки с паролями (зашифрованные), все рекомендательные письма и через одно лицо послал по условной форме составленное уведомление о своей гибели.

До Москвы я не доехал и денег не получил.

Собиратели русской земли и их наследники, стоя на перепутьи между Европой и Азией, усваивали самые дурные западные образцы, упорно сохраняя свойства, привитые им татарщиной да византийскими цивилизаторами.

Мало-по-малу складывался вотчинный бюрократический строй, основанный на хищении общественной казны и расточении народного достояния.

Повидимому, такая система не могла быть долговечной,—но спрут, сосавший жизненные соки народного организма, разростался вместе с возмужанием могучего, трудоспособного, но инертного народного тела.

Невыносимые страдания крепостного быта и азиатских порядков задерживали развитие сознания и способности к организованному отпору, но народ отвечал власти глубоким отчуждением и своеобразной забастовкой, которая издавна перемежалась частичной террористической расправой с ближайшей властью да аграрными вспышками, которые слились затем в грозное пугачевское движение, лозунгом которого было: «Земля и Воля» да религиозная свобода.

Своеобразная забастовка создала типы неплательщиков, нетчиков, бегунов, самосжиганцев, но, вместе с тем, древнерусское холопство и крепостная неволя создали и «преданного, самоотверженного холопа Шибанова» и «раба верного, Якова примерного» да тип многолюбивой няни-пестуньи, которая выхаживала целые поколения барчат.

После эпохи реформ эти типы быстро исчезают, и одновременно со вторжением в общественную жизнь разночинца появилась разновидность прежнего бурмистра: Разуваевы, Колупаевы.

Но, несмотря на кое-какие обновления, опять потянулась старая сказка про белого бычка.

Правительственная система оказалась огнеупорной, и самые тяжелые исторические уроки не могли ее расплавить, ибо паразит имеет тенденцию умирать вместе с жертвою, питающей его, если он только не будет устранен сильными хирургическими средствами.

Лечение началось с антисептического движения в народ— в деревню и на фабрику, но жесточайшие рефлексы паразита вызвали на сцену хирургов—народовольцев, которые притянули к сотрудничеству фельдшеров со щипцами и ножами, бывших послушных верноподданных военных.

Движение в военной среде создало, между прочим, два интересных типа. Многосторонние занятия абстрактными и прикладными науками в институте путей сообщения и морской академии с минными классами развивали у Александра Викентьевича Буцевича способность тонкого анализа и еще более редкую способность к синтетическому творчеству, а русская действительность создала из него непреклонного, отважного революционера, сильного волей, поистине «неподкупного» и самоотверженного героя.

Другое создание русской действительности—Сергей Петрович Дегаев; он тоже много учился, и в институте путей сообщения, и в артиллерийской академии, но из него вышел слабовольный, робкий деятель там, где приходилось жертвовать своим личным благополучием для общего блага, но очень предприимчивый и смелый, беспринципный честолюбец, готовый служить и Робеспьеру, и Бонапарту, и Людовику XVIII, только рангом помельче,—он стал сотрудником шефа сыщиков, провокатора Судейкина, а потом предал террористам и самого Судейкина, чтобы несколько загладить свое предательство.

X [1]).

Следствие и суд [1]).

Дегаевщина будет описана людьми более меня сведущими. Я здесь скажу немногое, что мне известно. На юге Дегаев совершенно обворожил военных. Нам он казался человеком очень тонким, ловким, умным, изворотливым и предприимчивым. На севере военные его обожали; кажется, только один Э. А. Серебряков не поддавался общему увлечению. Он мне говорил, что Суханов относился к Дегаеву с большим недоверием. После первого ареста Дегаев был выпущен на поруки и скрылся. Летом 1882 г. он с женою жил в Тифлисе. С этого момента все предприятия, где он был главным деятелем, оканчивались полнейшей неудачей. В ноябре провалился в Тифлисе военный кружок Мингрельского полка. В декабре, правда после его

---

[1]) Глава из статьи «Военная Организация партии «Народной Воли». «Былое» 1906 г., № VII. *Ред.*

отъезда, рушилось горийское предприятие. В конце ноября (26-го) он приехал в Одессу для устройства типографии, и 18 декабря ее открыла полиция. Дегаев с женою, Спандони, Суровцев и Колюжная были арестованы. В тюрьме он оставался очень недолго. На нашем суде читали очень интересное показание его жены. Ее потребовали в жандармское управление, и там она увидела такую картину: «Сидит Сережа с Судейкиным. На столе бутылка вина и пирожки. «Садись, Любочка, кушай пирожки, — сказал Сережа, — не хочешь ли вина?»... Покушав пирожков с Судейкиным, Дегаев учинил фиктивный побег, явился к штабс-капитану Крайскому и, поведав ему, как он удачно ушел от жандармов, просил, не теряя ни минуты, отвезти его в Николаев и скрыть там на некоторое время от розысков. Дело было зимою, и один из офицеров отвез его туда и поселил у одного семейного офицера, у которого бывали кружковые военные. Дегаев знал только трех офицеров, которых я вызывал по его желанию в Одессу, и хотел познакомиться вполне с положением дела и с кружковым составом в Николаеве. Затем он опять исчез, и начались аресты и провалы повсюду. 10 февраля 1883 г. была арестована в Харькове В. Н. Фигнер, 25 февраля там же Чуйков и В. Иванов, 22 июня в Харькове обнаружена тайная типография и арестован старый знакомый Дегаева Немоловский. В марте 1883 г. в Киеве арестован поручик Тиханович; в марте же — штабс-капитаны Рогачев и Похитонов; в конце марта — Ашенбреннер; а весною и летом начались массовые аресты офицеров, пока не исчерпали почти всю Военную Организацию. Сколько мне известно, уцелело несколько кружков, о которых Дегаев не имел сведений. Эти кружки, слышал я, мало-по-малу, прекратили свое политическое существование [XVII].

Арестован я был при исключительно благоприятных обстоятельствах. При мне были рекомендательные письма и небольшая тетрадка из очень тонкой почтовой бумаги со списком 400 офицеров [1]) по городам. Все это было зашифровано по способу Гамбетты. Подобрать ключ к зашифрованному очень трудно, но возможно: стоит только удачно подставить при выкладках, напр., название города, и если в тексте есть это слово, то ключ найден. Поэтому фамилии и города в письмах мы зашифровывали другим ключом. Как раз моя тетрадка с фамилиями и не могла быть так зашифрована. Это меня страшно беспокоило, и я, выезжая в свою экспедицию, вознамерился выучить все эти списки наизусть. И, действительно, половину списка я знал,

---

[1]) Я должен был, между прочим, во время объезда проверить этот список, и оказалось, что туда попали по ошибке и люди, совсем не подходящие.

как «Отче наш», и поэтому я ее сжег. В момент ареста при мне находилась еще уцелевшая часть тетради с 200 фамилиями. Около полуночи у подъезда остановился экипаж. Ночь была лунная, сторы спущены, но одна родственница заглянула в окно и увидела, как жандармский полковник оцеплял дом жандармами и городовыми вперемежку. Я успел затопить печь в своей комнате, сжечь все опасные бумаги и даже уничтожить все багажные билетики на чемодане и стал наблюдать за действиями полковника. Цепь загибалась в переулок (дом угольный), что было видно из коридора; во дворе были также жандарм и городовой. Так, по счастью, я приготовился к приему посетителей, а они все медлили. Наконец позвонили и вошли: жандармский полковник, адъютант жандармского управления, пристав и воинский начальник. Впоследствии я узнал, что адъютант, посланный за воинским начальником, не застал его дома, а между тем арестовать меня без депутата с военной стороны в те времена было нельзя.

Меня доставили в департамент полиции, а оттуда в Петропавловскую крепость. Смотритель Лесник с кучею жандармов раздели меня и учинили варварский телесный осмотр. Соседей у меня долго не было. Потом около меня с одной стороны оказался студент Комарницкий [XIX]. Мы оба стучать не умели, но мало-по-малу научились стучать кое-как. Стучали во время раздачи обеда или ужина, когда надзора было меньше. Пища в первый год заключения была очень нехороша, а хлеб — отвратительный. У меня было несколько десятков рублей, и я покупал в месяц ¼ фунта табаку, ¼ фунта чаю и 3 фунта сахару, считая по 50 коп., на 1 р. 50 к., книжку папиросной бумаги за 5 коп. и 1 коробку спичек, но с меня аккуратно вычитали по 3 руб. каждый месяц. В камерах было очень холодно, зато просторно, и можно было ходить. Замечательно, что в некоторых камерах в Петропавловке, в каменном полу были пробиты по диагонали глубокие дорожки многочисленными поколениями узников. На прогулку водили ежедневно на ¼ часа. Книги сначала давали не по моему выбору, а какие попадутся; я просил журналов и стал получать старые «Отечественные Записки», «Вестник Европы», «Русский Вестник». Переводили из камеры в камеру довольно часто, и всегда до отправления в административную ссылку моим соседом был Комарницкий. Один только раз мне посчастливилось сидеть рядом с моим товарищем-офицером Успенским. Мы вступили сейчас же в разговоры, но нас развели по разным концам, и у меня отобрали на некоторое время книги и табак. С тех пор я сидел в угловых камерах; с одной стороны была лестница, с другой — цейхгауз, а на площадке перед камерой стоял часовой. Месяца за два до суда я заболел дизентерией. Доктор Вильямс отнесся ко мне с полным

равнодушием. Я на свои деньги купил гутаперчевый клистир и делал промывания водой. Болел я около двух месяцев. Следствие по нашему делу было окончено, и меня посадили рядом с субъектом, который назвался сначала именем моего нелегального знакомого, а потом именем моего приятеля киевского офицера. Он передал мне поклон от Савелия Златопольского, я же на это передал ему поклон с того света от Гольденберга. С тех пор сосед оставил меня в покое. Не останавливаясь на описании тюремной жизни в Трубецком равелине [1]), я перейду к рассказу о следствии и суде.

Через несколько дней после водворения в равелине мне объявили о моем исключении из службы; с сюртука сняли погоны, спороли контрпогончики, а с шапки убрали кокарду. В этот же день ко мне вошел жандармский генерал Середа, очень любезно протянул мне руку и объявил, что назначен по нашему делу председателем следственной комиссии, затем попросил позволения сесть.

«Я давно хотел познакомиться с вами: я так много слышал хорошего о вас от наших общих знакомых,—сказал он и, замечая мое удивление, прибавил, — от Плотникова и Редкина». Плотников и Редкин были моими товарищами по туркестанской службе. Он продолжал: «Они учились в оренбургском юнкерском училище, когда я был там начальником, и, когда они возвращались перед турецкой войной, то были у меня, и мы о вас вспоминали». Потом, внезапно повернувшись ко мне, он впился в меня глазами и спросил:

«А вы были знакомы с В. Н. Фигнер?» — Я ответил отрицательно.

«Гм... Я советую вам быть откровеннее; ваше дело очень серьезное».

Затем, увидев у меня на столе книгу, он наклонился к ней. Как раз «Вестник Европы» был раскрыт на статье: «6.000 верст по канату». Автором этой интересной статьи по первоисточникам, недоступным для других, был он сам. Мы заговорили сначала о журналах.

«Я знаю, вы к себе всегда приближали лучших офицеров», закончил он и опять задал мне вопрос, на этот раз совершенно мне непонятный: «А в Одессе вы не были знакомы с генералом Ширинкиным?»—Я ему отвечал, что в первый раз слышу эту фамилию. Он встал и откланялся со словами: «Будьте откровеннее, будьте откровеннее!»

---

[1]) Тюрьма находится в стенах самой крепости, в Трубецком ее бастионе. Два равелина Петропавловской крепости примыкают: к ее западной стене—знаменитый Алексеевский равелин и к восточной—Иоанновский. *Ред.*

На первом допросе меня опрашивали прокурор Богданович, впоследствии губернатор (уфимский) [1]), и ротмистр Лютов; последний был в полной парадной форме и просил меня писать поразборчивее потому, что мое показание он сейчас же отвезет государю.

Всякие наши кружковые собрания заканчивались обсуждением, как мы должны себя вести на следствии и суде для того, чтобы не оговорить себя и товарищей и невольно не указать опытному прокурору на тот неуловимый кончик нити, схватившись за который легко распутать весь клубок, и решили на все вопросы давать по обстоятельствам два ответа: «Не знаю», или: «Не желаю отвечать». В первые дни моего заключения я был в оптимистическом настроении: я не имел понятия о всеобщем провале и о предательстве Дегаева и воображал, что меня привлекают по какому-нибудь частному случаю, напр., на основании указаний на мое знакомство с нелегальными. Посему, отправляясь на допрос, я рассуждал так: признать свою принадлежность к партии «Народной Воли» и к Военной Организации я всегда успею; торопиться с этим признанием не следует. Если я заявлю о своей принадлежности к Военной Организации, то отсюда необходимо вытекает заключение о принадлежности к ней около 40 человек офицеров на юге. Я слишком тесно был с ними связан и при расследовании, вызванном моим признанием, сейчас же выяснится не только наша близость, но и солидарность. Заявлять о своей принадлежности к партии «Народной Воли» тоже пока не следует потому, что это поведет к тем же последствиям. Посему я заявил, что не принадлежу ни к каким партиям или фракциям. Когда, на следующем допросе, прокурор Добржинский мне показал прекрасный кабинетный портрет В. Н. Фигнер и я стал отговариваться незнанием, он мне заметил: «Если вы останетесь на почве совершенного отрицания, вам будет очень трудно на суде». Теперь для меня наступил самый мрачный период моей подневольной жизни. На допросы я шел, как на пытку. По вопросам следователя, от Успенского и Комарницкого я узнал о провале трех южных кружков и об аресте двух кронштадтских моряков. Однажды на прогулке я увидел на песчаной дорожке знаки, которые указывали на гибель центрального кружка. На песке было начертано: A, Lg (логарифм) и топографическое изображение вершины. Первая фигура показывала, что арестован Папин (псевдоним: Углов), член центральной группы, вторая — что знают о моем аресте, а третья указывала на арест артиллериста Вершинина. У меня явилось

[1]) Убит в Уфе, 6 мая 1903 г. членом «Боевой Организации» с.-р. слесарем жел.-дор. мастерских Егором Дулебовым за расстрел златоустовских рабочих 13 марта того же года. *Ред.*

опасение, что во время моего объезда по моим пятам следовали сыщики, и я горько упрекал себя за неосмотрительность. По счастью, я узнал потом, что провинциальные группы, куда я заезжал, все уцелели, за исключением Киевского кружка, который был предан Дегаевым (Тиханович и др.) [1]).

Однажды меня доставили в департамент полиции. Я с конвойными прошел по длинному коридору, и мы вышли на большую площадку, уставленную шкафами. Направо, около стеклянной двери, завешенной с внутренней стороны кисейной занавеской, меня посадили на стул и сказали, что меня желает видеть директор департамента Плеве. Прямо передо мною тянулся другой длинный коридор, в конце которого была дверь на правой стороне. За стеклянной дверью слышен был разговор, кажется, на французском языке. Потом там замолчали, и через полминуты дальняя дверь в коридоре хлопнула, и к нам направилась какая-то личность; вступив на площадку, этот господин не свернул к выходному из здания коридору, а подошел вплотную ко мне. Жандармы расступились, а он, взявшись за ручку стеклянной двери, стал ее тянуть не в ту сторону, куда дверь отворялась, и начал меня упорно рассматривать. Это был высокий, с брюшком, смуглый брюнет, с густыми черными бровями, черными баками. Одет он был роскошно. Я видел массивную цепочку и бриллиантовую булавку — словом, это была типичная шулерская фигура. Когда он на меня насмотрелся, жандармский офицер указал ему на дверь к выходу, и он ушел, а в кабинете зазвонил колокольчик. Мне открыли дверь, я увидел Плеве. Он предложил мне сесть в кресло. Сам он сидел напротив, за большим письменным столом, заваленным делами и бумагами.

— Государь император интересуется вашим происхождением. Скажите, вы немец? — начал он.

— Нет! один мой дед немец, а другой русский, — ответил я.

— Есть у вас родственники в Германии?

— Возможно, но я о них ничего не знаю.

— Вы потомственный дворянин?

— Да.

— Какой губернии?

— Московской. Эти сведения, ваше превосходительство, можете найти в моем послужном списке.

— Я вас больше не задерживаю, — закончил он.

Особенно памятен мне один допрос, когда я испытал чувство ужаса. Меня ввели в кабинет прокурора (на Гороховой

---

[1]) С того момента, как я выехал из Петербурга, меня потеряли из вида. Жандармскому полковнику в Смоленске предписали телеграфировать в департамент полиции, как только я покажусь в Смоленске. Так и было сделано. Он получил в ответ приказание арестовать меня.

улице). Добржинский сел спиною к окну, а меня посадил лицом к свету, так близко, что наши ноги соприкасались. Рядом с ним на диване сидели Богданович и Судейкин.

— Скажите, г-н Ашенбреннер, зачем вы были такого-то числа во дворце?

Я, действительно, заходил раза три в Аничков дворец, где жил у отца моряк Ювачев из морской академии. «Ну! — подумал я, — значит Ювачев попался, а может быть и еще кто-нибудь из академистов, которые у него бывали!» Ответ на вопрос я дал удивительный:

— Перед отъездом из Петербурга мне хотелось побывать в Эрмитаже. Там мне сказали, что без билета из дворцовой конторы посетители не допускаются, я и отправился во дворец...— Мое объяснение прервал Добржинский веселым и громким смехом:

— Ха, ха, ха! Какая ложь! Какая ложь!

А Богданович заметил:

— Но дворцовая контора вовсе не во дворце!

— Я этого не знал, — ответил я.

— Но вы могли справиться в календаре Суворина!

Я возразил, что у меня было слишком мало денег, чтобы платить рубль за справку. После этого Богданович вышел, а Добржинский, заложив руки в карман, стал прохаживаться; потом они с Судейкиным подошли ко мне, и Добржинский спросил меня:

— Может быть вы искали во дворце генерала Ширинкина?

— Я совершенно не знаю генерала Ширинкина. Меня почему-то второй раз спрашивают о Ширинкине!

— Ширинкин может дать очень хорошее место! может быть, вы хотели просить его о месте?

— Нет, ничего подобного! — отвечал я [XX].

Судейкин вышел, а Добржинский сел рядом со мною и сказал: «У нас есть бесспорные указания на вашу принадлежность к партии «Народной Воли» и к военной фракции. Например, мы только что расшифровали ваше письмо к Крайскому. Я вам напомню его содержание: «Денежные письма адресовать на имя лейтенанта П., а простые на имя лейтенанта К.!»

Мне показалось, что пол уходит от меня. Руки и ноги онемели, а сверху на мою голову льются потоки горячей воды... Мне кажется, у меня зашевелились волосы. Я смотрел бессмысленно на стену, и где-то далеко глухой голос говорил что-то непонятное. Я был поражен ужасом вот почему: меня всегда озабочивала оторванность южных кружков от центра, и, отъезжая на север, я условился переписываться с Крайским. Крайский, человек сильного и стойкого характера, в высшей степени осторожный и пунктуальный, был глубоко

предан делу. Мы изобрели способ шифрования, вскрыть который ни при каких обстоятельствах невозможно. Мы уговорились, чтобы Крайский никому не показывал моих писем, сообщая из них товарищам только такие сведения, которые до них прямо касаются. В день получения он должен был сжечь письмо и тотчас же послать мне известную фразу, указывающую, что все сделано, как мы условились. Я, действительно, дал ему два адреса, и он мне ответил условной фразой, что сжег это письмо и т. д. Я начал приходить в сознание. «Следовательно,— мелькнула у меня мысль, — Крайский лжец, изменник, а я его невольный сообщник!» Такая мысль о друге ужасна. Впоследствии я узнал, что Крайский все исполнил, как следует, но рассказал о письме Дегаеву, как члену Исполнительного Комитета, на которого, конечно, не распространялась наша конспирация с Крайским. Я стал прислушиваться к голосу Добржинского, который давно что-то говорил. Теперь он говорил о программе партии «Народной Воли», о программе военного центрального кружка и закончил:

— Вы видите, что нам все известно; и после этого вы не станете утверждать, что не принадлежите к партии «Народной Воли» и к военной фракции?

Я отвечал:

— Вовсе я не утверждаю этого, я принадлежу к партии «Народной Воли» и к военной фракции.

Он предложил мне записать это на бумаге. Я записал и заявил, что других показаний давать я не желаю, но он ко мне еще раз обратился:

— Как же вы, подполковник, старый офицер, решились нарушить присягу?

Я ответил:

— Я присягал царю и отечеству; под отечеством разумею народ и землю русскую, и не моя вина, если царь с народом находятся в антагонизме!

— А вот и это вы пожалуйста запишите! — очень быстро проговорил он; а я ему возразил:

— Если вам угодно, вы можете записать эти слова; но я ни писать ни отвечать на какие-нибудь вопросы более не желаю!

После этого меня побеспокоили еще два раза; оба случая были очень любопытны. Теперь я несколько успокоился, и допросы не терзали меня так мучительно. Мне дали очную ставку с знакомым артиллеристом, академиком Д. Мы не раскланивались друг с другом.

— Ну, что скажете? — обратился ротмистр Иванов к Д.

— Нет, не признаю: тот офицер, у которого я бывал на Надеждинской улице, был повыше и помоложе, и я его всегда видел в тужурке без погон.

— Вы можете рассмотреть все мои вещи,—вмешался я,— и не найдете тужурки. Да, к тому же, я жил не на Надеждинской улице, а на углу Пушкинской и Невского проспекта, против магазина монументов.

— Дом, где я виделся с подполковником, фамилию которого мне не сказали, был посредине улицы. Я думал даже, что это был не настоящий подполковник, а переодетый, — прибавил Д. [1]).

— Я знаю магазин монументов; мы наведем справку, — вставил ротмистр, а чернокудрый, с поэтическим лицом прокурор, который мне сначала показался чистой копией с поэта Владимира Ленского, заметил:

— Это все равно — Пушкинская или Надеждинская улица: они параллельны!

Я на это возразил:

— Г. прокурор, в Петербурге все улицы параллельны и перпендикулярны. Я не юрист, но знаю, что для установления alibi достаточно, если в момент предполагаемого свидания моего я находился не в той же комнате!

Ротмистр Иванов был взбешен и закричал: «Жандарм!» и, когда тот явился, приказал, указывая на меня: «Убери его!»

Последняя моя встреча со следователями случилась незадолго до суда. На допросе председательствовал сам генерал Середа. Мне предъявили толстую тетрадь в четвертушку, с отметкой на полях городов в алфавитном порядке, если не ошибаюсь, от Архангельска до Якутска. Это были разоблачения Дегаева. «Вы узнаете эту подпись?» — обратился ко мне Середа, указывая на последнюю страницу. — «Я не знаю ни почерка ни автора», — ответил я. Тогда мне показали в трех, четырех местах текст, где говорилось обо мне. Я успел заметить, что и в других местах текст был испещрен фамилиями, которые перемежались разъяснениями. По отношению ко мне лично в дегаевских разоблачениях было сказано верно, но выражено с цинической откровенностью.

— Вы, может быть, знали Дегаева под фамилией Суворова? — спросили меня. Я ответил отрицательно.

Через несколько дней мне вручили обвинительный акт и перевезли в Дом Предварительного Заключения.

Меня привезли в Дом Предварительного Заключения часов в 11 ночи, и сейчас же ко мне вошел начальник тюрьмы.

---

[1]) Угольный дом, где я жил в Петербурге, был очень велик, с несколькими воротами и, действительно, чтобы попасть ко мне, нужно было долго итти по Пушкинской к последним воротам. Д. был прав, но умышленно спутал названия улиц.

Он остановился у двери, протянул руки, печально покачал головой и проговорил:

— Какая встреча! Какая встреча!... Не узнаете? Ерофеев: 1-го московского (кадетского корпуса).

Я не мог узнать в нем моего однокашника: прошло слишком много лет, но припомнил маленького Ерофеева, который был в моем капральстве. Мы сели.

«Что делается в России?» — вот первый вопрос, который предлагает заключенный неофициальному посетителю.

— Наступили очень тяжелые времена!—ответил Ерофеев,— военная партия разгромлена. Около 200 офицеров арестовано. Одних исключили из службы, других по исключении сослали административно. Здесь перебывало их множество!

— Но как же объяснить такой провал?

— Дегаев выдал вас всех: он служил у Судейкина, а потом устроил ему западню, убил Судейкина и бежал!

Я закидал его вопросами о товарищах и знакомых. Он отвечал не совсем вразумительно: очевидно, он сам потерял счет злоключениям своих многочисленных узников; я не узнавал в его описании своих товарищей. Один ослеп, другой зарезался, третий помешался, после четвертого осталась большая семья в нищете и т. д. «К вам же шестерым отнесутся беспощадно! — закончил он, — принимавших участие в деле первого марта казнят, а другим предстоит нечто худшее: Шлиссельбург! Там, говорят, ужасные порядки!»

Резолюция по нашему делу была предрешена, и описание судебной процедуры в данном случае не может быть многосложным. Это было чисто бумажное дело. 4 или 5 дней читали показания неявившихся свидетелей, в том числе длиннейшее показание Гольденберга. Стол вещественных доказательств был завален грудами дел в синих обложках. Свидетелей не было. На 5 минут показался запуганный эксперт. Публику изображали кн. Имеретинский, министр Набоков и Ерофеев. Нам хотелось послушать, показания Дегаева, и кто-то спросил, примет ли суд во внимание при постановлении приговора предъявленные нам на следствии показания Дегаева? Суд не согласился на оглашение такого скандального акта и объявил, что руководствоваться показаниями не будет. На деле, конечно, было не так. Всюду, где в обвинительном акте говорится: «получены были указания...» следует читать: «указания Дегаева». Я не могу восстановить в точных выражениях показания, данные на суде, да их почти и не было, за исключением того, что все признали себя членами партии «Народной Воли», а военные, сверх того, свою принадлежность в военной организации. Вера Николаевна, если не ошибаюсь, заявила, что она была агентом 3 степени;

Людмила Александровна[1]), что всецело принимает на себя ответственность за все деяния партии «Народной Воли». Вступать в какое-нибудь объяснение с судом было невозможно потому, что председатель не давал говорить. В разъяснениях суд не нуждался,т ак как резолюция была продиктована заблаговременно, а речи подсудимых были интересны только для адвокатов, единственных представителей общества на нашем суде. Конечно, лучше было бы не принимать ни малейшего участия в подобном судоговорении, но естественное возмущение против крючкотворства и злонамеренных извращений заставило меня сделать одно возражение. Военных обвиняли в участии в террористических актах, совершонных партией «Н. В.», когда военные стояли еще вне всяких партий. Ответственность за первородный грех праотца Адама, может быть, имеет богословский смысл, но юридического не имеет. Потом, когда военная партия уже сложилась и приняла программу «Н. В.», она принципиально не расходилась, конечно, со взглядами Исполнительного Комитета по вопросу о террористической деятельности, но фактического участия, как партия, в этих делах не принимала. Дватри офицера содействовали некоторым террористическим предприятиям, как народовольцы, а не как члены военной организации, у которой была своя специальная задача — военный мятеж, вооруженное восстание. Деяния, которые имела в виду военная партия, относились к террористическим деяниям, как генеральное сражение относится к поединку. Тактические приемы борьбы в первом и во втором случае не тождественны. Когда южные кружки оторвались от центральной группы, с которой они на короткое время были связаны, то там волею-неволею приходилось разрабатывать существеннейшие вопросы самостоятельно. Тогда, в видах ограждения юной военной организации от провала, для того, чтобы не привлекать внимания властей к партии, пока ее сложение не завершится, мы обязали желающих участвовать в террористических предприятиях оставить военную организацию.

Свои разъяснения я начал с конца, именно с последних строчек только что изложенного здесь, но председатель меня оборвал, и я замолчал. Потом, при допросе Рогачева и Похитонова, выяснилось, что вышеприведенные соображения вовсе не были исключительным и случайным изобретением южных кружков или еретическим искажением, не было тут и нарушения партийной дисциплины: у нас они получили формулировку, а в других местах молчаливо предполагались. На этих допросах Рогачеву и Похитонову вменяли в вину переговоры с В. Н.

[1]) Вера Николаевна — Фигнер, Людмила Александровна — Волькенштейн. *Ред.*

относительно их выхода в отставку, чтобы посвятить себя образованию боевых дружин. Похитонов по весьма важным причинам не имел возможности согласиться на предложение В. Н. и потому не подал в отставку, так же, как три офицера на юге, получившие подобное же предложение, не могли подать в отставку и должны были уклониться от нового назначения. Рогачев подал в отставку, но вскоре был арестован [XXI].

В. Н., с которой на суде я сидел рядом, сейчас же заметила противоречивость обвинения и посоветовала мне констатировать это. Я предложил суду вопрос: «Если военные кружки были боевыми дружинами для террористических предприятий, как утверждал прокурор, то зачем же В. Н. приглашала Рогачева и Похитонова подать в отставку, чтобы заняться организацией боевых дружин?»—На это не последовало никакого ответа.

На суде случились два интересных эпизода по отношению к офицерам. Тиханович уже на суде был совершенно ненормальным, и возник вопрос, мне помнится по почину Ерофеева[1]), об его освидетельствовании, но суд на это не согласился. Через недели две, в Шлиссельбурге, он повесился [2]). В резолюции было сказано про меня и Похитонова, что боевые наши отличия служат уменьшающим вину обстоятельством; но для того, чтобы нейтрализовать их, суд признал за нами увеличивающие вину обстоятельства, именно нарушение присяги. Это очевидная юридическая натяжка: по военным законам нарушение присяги, во-первых, само по себе преступление, которое и поглощается более значительным преступлением, во-вторых, это преступление необходимо сопутствует другому, высшему преступлению, а потому не может считаться увеличивающим вину обстоятельством. Что-нибудь одно: или военные юристы могли себе представить, напр., принадлежность офицера к мятежному сообществу без нарушения присяги, или они допустили юридическую натяжку в силу того, что приговор был заранее предрешон. Так оно и было, потому что суд, сославшись на боевые отличия, как на уменьшающие вину обстоятельства, совсем их не признал, а оставил за нами в резолюции обстоятельства, увеличивающие вину.

Резолюция, вынесенная судом, была такова: В. Н. Фигнер, Ашенбреннера, Рогачева, Похитонова, Штромберга, Ювачева, Тихановича и Л. А. Волькенштейн подвергнуть смертной казни через повешение; В. Иванова, Немоловского, Чуйкова, Суровцева и Спандони в каторжные работы в рудниках: Иванова и Немоловского без срока, Чуйкова на 20 лет, Суровцева и Спан-

[1]) Тиханович содержался в последнее время в Доме Предварительного Заключения.

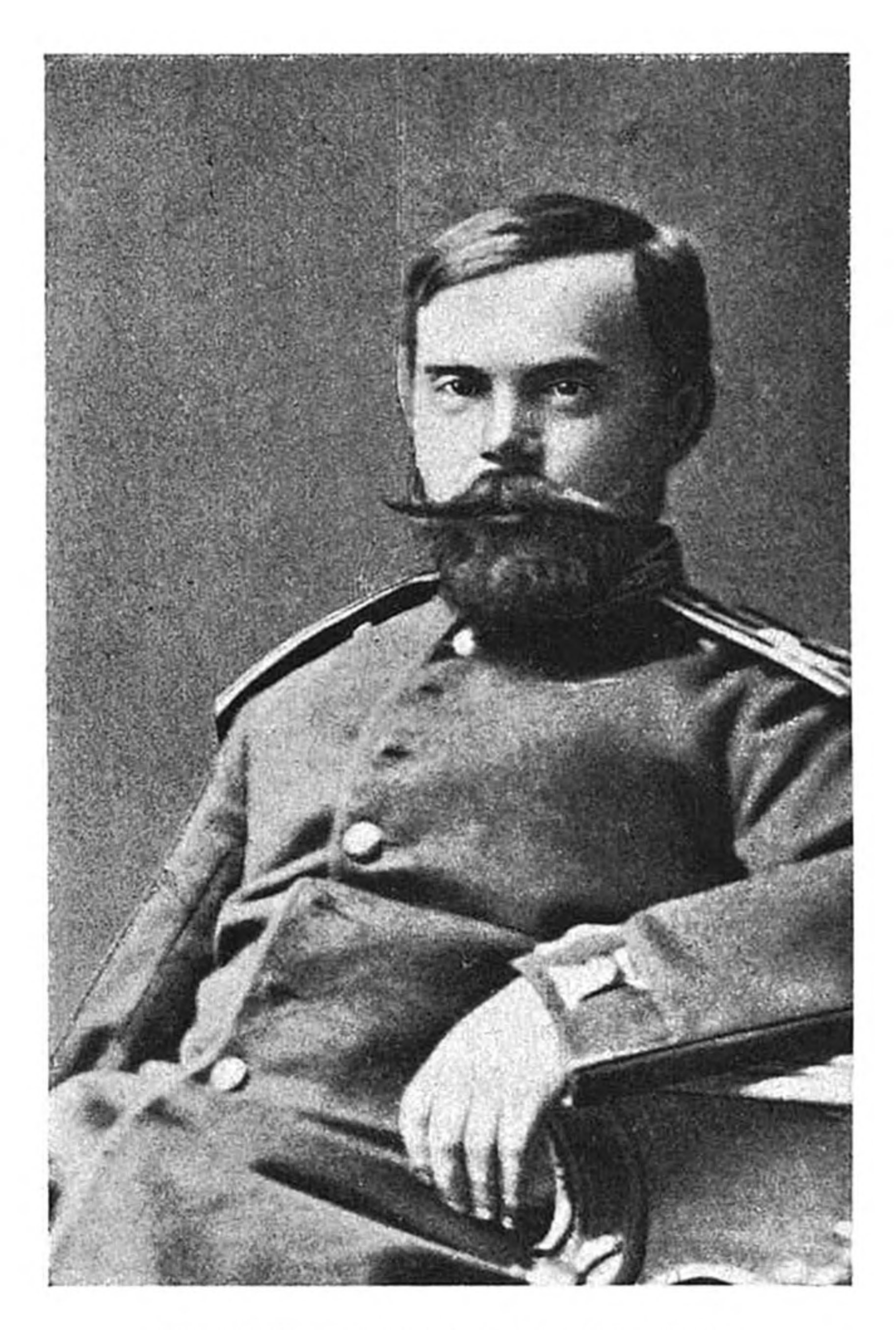
[2]) См. прим. XXII. *Ред.*

дони на 15 лет, Чемоданову на 4 года. Приговор над Штромбергом и Рогачевым 10 октября 1884 г. приведен в исполнение. В. Н. Фигнер, Похитонову, Ашенбреннеру и Тихановичу казнь заменена каторжными работами без срока, Л. А. Волькенштейн и Ювачеву — каторжными работами на 15 лет, Немоловскому — на 20 лет, а Чемодановой ссылкой на поселение в отдаленнейшие места [XXII].

Приговор в окончательной форме был объявлен, кажется, 1 октября. Нас перевезли в Петропавловку. Кажется, 10 октября вечером ко мне вошел комендант, генерал Ганецкий, с бумагой, за ним следовал смотритель. Ганецкий подошел ко мне и, остановив на мне свои тяжелые, недобрые взоры, сказал:

«Государю императору благоугодно было заменить вам смертную казнь каторжными работами без срока!» Затем трагическим шопотом прибавил: «Без срока!.. Подполковник! Старый солдат!!. Без срока!»

Потом медленно повернулся и, махая высоко поднятой правой рукой, в которой была бумага, он, с едким смехом и повторяя слова «без срока!», вышел. На другой день утром меня остригли под гребенку и одели в арестантскую куртку с черными рукавами и бубновым тузом и в серые штаны, с разрезом для кандалов. Жандармский офицер прочитал мне какую-то бумагу, где говорилось о наказании розгами за маловажные проступки и о наказании шпицрутенами, до 4000 ударов, за важные. Ночью на 14 октября меня заковали и на военном пароходе отвезли в Шлиссельбург, куда мы прибыли в 12 ч. дня. Кандалы мне мешали подняться на трап. С того берега я услышал: «Подай руку!» Меня подхватили и перенесли на остров. Там меня встретила группа офицеров с комендантом. Жандармы с ружьями стояли шпалерами по всему пути до тюрьмы. Два рослых солдата меня подхватили под мышки и быстро, чуть не бегом, поволокли: ноги мои болтались в воздухе. Когда мы проходили вдоль офицерских флигелей, везде были спущены занавески. Меня внесли через караулку в тюремный двор и расковали. Так началась моя тюремная жизнь.



МИХАИЛ ЮЛЬЕВИЧ АШЕНБРЕННЕР.
(1883 г.)

ШЛИССЕЛЬБУРГСКАЯ ТЮРЬМА.

ГЛАВА I.

Вот главные моменты тюремной жизни. Жизнь наша была полна контрастов. Притока живых, внешних впечатлений не существовало, и материала для нормальной душевной жизни извне не поступало. Проходили годы, не принося с собой ничего нового со стороны, потому что мы жили в общей могиле, отделенные от мира живых непроходимой пропастью. Ни книг, ни свиданий, ни вести о родных, о том, что делается на свете. Библия, сочинения Дмитрия Ростовского, 2—3 церковных журнала за старые годы и десятка три старинных книг на лубочной бумаге, написанных до-Пушкинским языком,—вот и вся наша библиотека. Сношения через стенку стуком не удовлетворяли, а только раздражали, потому что невозможно было не только обмениваться возражениями, но и высказаться. Повидимому, наша жизнь была бесцветна, пуста, бессодержательна; но недостаток внешних впечатлений с избытком пополнялся испытаниями и переживаниями того материала, который давала тюрьма. Мы жили интенсивно, находясь в состоянии кипения, прерываемого только изнеможением. В этом и состоял трагизм нашего положения. В минуту же отдыха оставалось жить воспоминаниями, чисто созерцательной жизнью, одурманиваться мечтаниями, или, спасая свою душу от безумия, взять на себя большую работу и погрузиться в нее; создать себе особый идеальный, теоретически построенный мир—выделить из себя защитительную оболочку—и переживать умозрения, теории, гипотезы, как единственное содержание жизни. Но уйти в этот мир было невозможно. Каждый день страшная действительность разрушала эту иллюзию. Постоянные столкновения, неприятные объяснения, неизбежное участие всех в схватке, где бы она ни возникла, так как нас связывало товарищество, общий враг и общая доля, вечное тревожное состояние, невыносимые стеснения и невозможность помириться с порядками—вот какой материал для жизни давала тюрьма. После напряженного состояния следовала усталость, хотелось отдохнуть и позабыться; но взволнованная душа приходила в равновесие медленно. Являлось невольное желание не растрачивать по мелочам своих слабеющих

сил и терпеть молча, отвечая презрением. Это удавалось иногда десять, пятнадцать раз, но негодование нарастало, и взрыв становился все неизбежнее. Так что подобный план едва ли приводил к лучшему: столкновения и волнения случались реже, но гораздо яростней, да и ответное действие при этом не всегда было эквивалентно поводу, а успокоение наступало медленнее и бессоница мучительнее. У многих стала выясняться мысль, что в такой мелочной и жестокой борьбе и сам мельчаешь и что влачить такое существование не стоит. Может быть, такое настроение и послужило одним из поводов к самоубийству. А ежедневная борьба, подавленное негодование, сознание своего бессилия и безвыходности своего положения, невозможность успокоения для расстроенного, измученного человека, напряженное состояние, даже тогда, когда уклоняешься от столкновений, и особенно смена возбуждения и прострации—все это вело к помешательству. Долго тянулась отчаянная борьба за жизнь, за спокойствие, за более разумное существование, и уступки мы добились ценою великих жертв. Прошло десять лет. В первые годы погибло около 50%, в том числе двое были расстреляны за оскорбление действием. Потом началось почти повальное сумасшествие[1]) [XXII[a]]. Мышкин и Минаков стучали соседям, что жить далее они не желают, но хотят умереть не бесполезно для товарищей и будут требовать книг, журналов, свиданий с товарищами, переписки с родными, мастерских. Какими-то неведомыми путями проникли в заграничную печать кой-какие вести о Шлиссельбурге, например, об ужасной смерти Грачевского, который сжег себя, облив керосином. В расчеты начальства не входило превращение политической тюрьмы в сумасшедший дом, а между тем дело к тому клонилось; да и сумасшедшие были для них лично слишком опасны и страшно увеличивали работу надзора и обуздания. Быстрое же вымирание являлось вопиющим скандалом: без сомнения протест в такой форме портил их планы. Вот почему начальство мало-по-малу склонилось к уступкам, и все эти уступки и льготы были куплены ценою крови. Главные льготы, которые имели спасительное значение, были: книги и журналы, общение и прогулка. Все эти льготы стали обозначаться в минимальной степени в конце царствования Александра III, и, наконец, в 1895—1897 г.г. наступил для нас «золотой век», который тянулся несколько лет (до осени 1901 года). Уже при Сипягине начались стеснения, и наступил возврат к старым порядкам, а при Плеве, когда нас оставалось только 13 человек из 51, когда

---

[1]) Игнатий Иванов, Похитонов—умерли. Шебалин, Ювачев—поправились. Самоубийства: Тиханович, Грачевский, Софья Гинсбург и несколько попыток. Мышкин и Минаков расстреляны.

мы потеряли молодость, силы, здоровье, выносливость, нас вернули к старому режиму. Таково было наше душевное состояние от начала до самого конца пребывания в тюрьме, с незначительными уклонениями к лучшему в лучшие времена.

ГЛАВА II.

Вскоре после смерти Мышкина и Минакова [XXIII] нам выдали небольшие грифельные доски (из картона) и по тетради в три листа, в четвертушку, с пронумерованными страницами и скрепленные подписью смотрителя; дали по карандашу и спросили, какие учебники желал бы иметь каждый для занятий. Подавая мне карандаш, Соколов-Ирод сказал: «Если карандаш спортится, сказать: починим; когда тетрадка спишется: сдать, дадим чистую». Одни пожелали заниматься математикой, другие изучением языков, естествознания, прикладными знаниями, для чего и были указаны книги, учебники, словари. Когда роздали купленные книги, мы были очень разочарованы: кто желал изучать высшую математику, получил арифметику и краткую геометрию для начальных училищ. Для изучения иностранных языков выдали руководства для младшего возраста, в 40, 50 страничек, с глупейшими вопросами и ответами. Вероятно, так было сделано по невежеству или по экономическим расчетам. На наше заявление о негодности подобных учебников мы получили, наконец, учебники по своему желанию, а также и словари, отобранные при аресте. Я просил министра Дурново, при посещении им тюрьмы, продать отобранные у меня вместе с другими вещами мои ордена [1]) и купить на вырученные деньги три словаря. Министр ответил: «словари будут». На другой день комендант мне сказал, что министр был обижен моим заявлением, считая его демонстративно выраженным пренебрежением к наградам за отличие. Как бы то ни было, мне выдали три словаря и объявили, что ордена будут отправлены к родным; однако, по возвращении на родину, оказалось, что родные этих орденов не получили. Через несколько лет генерал Петров выслал нам, по нашему заявлению, полное собрание сочинений Спенсера на русском языке и собрание сочинений Маколея на английском языке, а потом «Историю России» Соловьева и собрание сочинений Костомарова. А вскоре, по нашей просьбе, были выданы отобранные при аресте книги, за некоторым, впрочем, исключением (мне не выдали сборник статей проф. Зибера об экономической теории Маркса, а Лопатину, кажется, 1-ый том «Капитала»). Но вскоре эти книги были отобраны потому, что у кого-то ревизор [XXIV] увидел на столе «Историю Революции» Кинэ или Минье. За конфискацией книг последовало сначала прекращение

[1]) М. Ю. Ашенбреннер осужден в чине подполковника. *Ред.*

гулянья, а потом голодовка. Для переговоров тогда впервые воспользовались ватерклозетом и его трубами, для чего параша тщательно мылась, а потом вычерпывалась из нее вода, и таким образом ватерклозет превращался в «телефон». В этих телефонных клубах обменивались мнениями о вернейших способах самоубийства. Голодовка была достаточно продолжительна и расстроила здоровье многих. Начальство могло считать себя победителем, но большая часть книг была возвращена [1]).

Вместе с тем пристроили под прямым углом к старым миниатюрным клеткам для прогулки еще 8 более обширных клеток; привезли туда земли, и таким образом возникли наши будущие цветники и огороды, и стали сводить нас парами на прогулке. Мне назначили М. П. Шебалина [2]), с которым я виделся сначала через день, а потом каждый день. Через $1^1/_2$ года начальство, по своим соображениям, дало мне вместо Шебалина Ф. Н. Юрковского [3]), с которым свидания продолжались тоже больше года. Третьим был назначен М. Ф. Фроленко [4]). Затем нам предоставили самим выбирать товарищей по прогулке и менять их через краткие промежутки времени, и, наконец, установился такой порядок назначения на прогулки: мы выбрали товарища «променадмейстера», который по нашему назначению расписывал нас ежедневно попарно и подавал утром росписание вахмистру [XXV]. В конце же концов, когда прогулки были продолжены до обеда, т.-е. от 8 до 12 часов, перемена партнеров по прогулке совершалась по нашим личным заявлениям дежурному на вышке унтер-офицеру, так что можно было повидаться со всеми поочереди. При этом жандармы наблюдали только, чтоб в одной клетке не было более двух человек. Тогда должность променадмейстера, как лишняя, была упразднена.

Кажется, в 1890 году нам сказали, что проектированы уже мастерские, а пока предложили заняться желающим ажурными работами. Желание изъявили многие. Потом в старой тюрьме, которая находилась в цитадели, т.-е. на ближайшем соседнем дворе, устроены были в камерах, которые прежде служили карцерами, столярная, токарная, переплетная и сапожная мастерские. Вместе с тем нам стали отпускать, кажется, 180 р. в год на садовые, огородные инструменты, на семена, удобрение и на

---

[1]) Возвращены: «Всемирн. История» Шлоссера, Рибо—«Наследственность», «Болезни воли», «Болезни памяти», «Физиология ума» Карпентера, Тэн «Об уме и познании», «Логика» Милля, Маудсли «The Will and Body», Уоллеса—«Islands Life».

[2]) Находится ныне в Москве.

[3]) Умер в Шлиссельбурге 31 августа 1896 г.

[4]) Амнистирован в 1905 г., ныне проживает в Москве.

материалы для мастерства. Мастерством пожелали заниматься все, но знающих мастерство было немного, а начальство не хотело сводить нас парами в мастерских и предлагало начинающим в наставники жандармских унтеров. От таких менторов мы отказались. Выходила такая нелепость: мастерские были разрешены, устроены и пустовали при нашем общем желании учиться и работать. Мало-по-малу начальство уступило, и нас стали водить туда парами. Так многие из нас научились мастерствам, но хороших мастеров вышло немного. Мы производили изящные, художественные вещи, но работали над ними так долго, что при обычной рыночной расценке не могли бы заработать более 20 коп. в день. Вообще и в мастерствах и в книжных занятиях мы не достигли большого успеха: в неволе труд непродуктивен, да и сбыта наши произведения не имели. Правда, многие из нас достигли значительных успехов, но на это потрачено было так много труда и времени, что успехи наши при иных обстоятельствах были бы во много раз больше. Когда построили огородные заборы и поставили вышку для дежурных, нас распределили по огородам. По наличному составу приходилось в малых огородиках по 2, в больших по 3 и 4 хозяина. Выдали семена овощей, провели в каждый из 8 огородиков воду, выдали огородные инструменты. Каждому приходилось по грядке. Наши жилые камеры были очень не велики: можно было сделать 5—6 шагов от двери до окна; углы были заняты и ходить по диагонали не приходилось. Мы страдали от недостатка движения, и пассивная гимнастика не вознаграждала этого недостатка, да и приводила, по крайней мере, в первые годы к недоразумениям, вызывая недоумение и беспокойство дежурных по коридору; поэтому в каждом огороде мы сделали по широкой дорожке для движения вдвоем, вымостив ее старым поломанным плитняком. По этой дорожке мы прохаживались, ведя беседы, а когда случалось оставаться в огороде одному, то ходили с книгой: читали и ходили в одно время, соединяя моцион с интересным чтением. Ходили мы на прогулке очень много: это было необходимо и спасительно для здоровья. Один из товарищей вычислил, что за 20 лет пребывания в тюрьме он 12 [1]) раз обошел землю по экватору. Оставляя место для прогулки, приходилось сузить грядки, каждый вершок земли был дорог, а потому нужно было выгадать место между грядками, и мы решили бока грядок обложить досками. На дворе у старой тюрьмы был склад дров, и там мы видели длинные и толстые поленья. Мы просили отдать эти поленья нам и из них, действуя топором, клиньями и шерхе-

---

[1]) Очевидная описка и следует читать 2 раза. Если 2 раза даже обойти по экватору землю, то *ежедневно* в течение 20 лет приходится проходить несколько более 10 верст, а для 12 раз—более 62 в., что совершенно невероятно. *Ред.*

белем, поделали доски. Это была первая большая работа. Посеяли редиску, редьку, брюкву, репу, морковь, свеклу, лук, укроп, петрушку, горох, чеснок, капусту и цветную капусту— всего понемногу. Лучше всего вышла брюква, хуже репа и цветная капуста: слишком было тесно. Крепостные стены, тюрьма и высокие заборы огородиков закрывали большую часть дня солнце. На хорошо освещенном месте посеяли цветы, а вдоль заборов кусты малины, черной и красной смородины и крыжовника. Затем посадили несколько яблонь. В 8-м огороде теперь есть небольшая яблоня, выращенная из семячка и привитая М. Ф. Фроленко, и вишневое деревцо, выращенное из косточки [XXVI].

Когда открылись мастерские и возникли деловые разговоры со смотрителем, комендантом и офицером, заведующим мастерскими, явилась необходимость в выборном, говорившем от лица всех. Этот выборный назывался старостой и служил сначала, кажется, год, а потом полгода. Местное начальство на это охотно согласилось, потому что ему было выгоднее вести переговоры с уполномоченным от всей общины, тем более, что некоторые товарищи прямо-таки не могли равнодушно говорить с тюремщиками. Староста обязан был следить за исправностью инструментов, выпиской и расходом материалов и сводить счеты по расходу суммы, отпущенной на мастерские и огороды. Эта сумма делилась на две части: одна на общие надобности, другая делилась на равные паи по наличному числу [заключенных], и расходовалась каждым на покупку материалов по личному усмотрению. Не следует думать, что деньги выдавались на руки. Все расчеты велись на бумаге.

В течение первых шести лет нам на довольствие отпускалось по 11 коп. в день, в том числе и черный хлеб. Хлеба давали по $2^1/_2$ фунта. Хлеб всегда был дурного качества, сырой и с закалом. На обед полагалось 2 блюда: суп, щи, борщ или жидкая гороховая похлебка; на второе—каша гречневая, пшенная или размазня. На ужин давали подогретое жидкое блюдо, оставшееся от обеда. В посты и по средам и пятницам давалась постная пища. Это делалось, конечно, не из благочестия, а для укрощения, потому что по средам и пятницам давали постное даже на святой неделе и на Рождестве. Пища была недоброкачественная: горячее—без навара, со следами мяса; каши и масла чуть-чуть, постная похлебка из гнилых снитков, грибные щи на минимальном количестве капусты и грибов, жидкий горох с плавающими червями. По воскресеньям давали на второе несколько нарезанных маленьких кусочков жареной говядины с картофелем и фасолью и на третье—пирог с брусничным вареньем. На пасху выдавали небольшую булку, в виде кулича, и маленькую, глотка на три, пасху из подслащенного творогу и несколько крашеных яиц. В 1889 году нашу лазаретную порцию обратили

в ординарную: на довольствие полагалось 23 к. в день с хлебом, и разрешили заменять черный хлеб белым и ситным, в половинном количестве, т.-е. вместо $2^1/_2$ фун. черного—$1^1/_4$ белого. С этих пор пища была удовлетворительна и разнообразнее, чем прежде. Кроме того, нам было предоставлено самим составлять меню, на условии не выходить за пределы 23 к. Для составления меню мы стали выбирать «менюмейстера», которому выпадала неблагодарная и трудная роль угодить всем и каждому, не выходя из раскладки. Для такого безнадежного дела понадобилось нашим менюмейстерам много остроумия и усердия, и, наконец, они стали делать время от времени оригинальные плебисциты: каждое кушанье повторялось за 2, 3, 4 недели пропорционально поданным голосам. Мы получали 2, 3 раза в неделю молочные супы, котлеты, рисовую кашу, макароны, сырники, вареники, те же праздничные пироги с брусникой или пироги с капустой и мясом; по субботам на ужин—селедку с картофелем, а в воскресенье на ужин около $^1/_4$ фун. сыру. Эта пища была бы хороша, но на жаркое мы получали всегда вываренное мясо, потому что при наших средствах делать жаркое из хорошего, мягкого мяса было невозможно. Масла отпускалось очень мало, а, между тем, в тех широтах, где мы проживали, потребность в жирах и углеводах была настоятельней, чем где-нибудь. Нашему горю пришел на помощь доктор Николай Сергеевич Безроднов, который сделал нам много добра [XXVII]. Он стал выдавать нам на всю братию из лазаретных сумм по 10 фун. в месяц подсолнечного масла. Сначала мы примешивали это масло к каше, картофелю и т. д. с неудовольствием, но потом привыкли к нему, и оно нам стало приятно. Сначала нам выдавали 2 раза в день по кружке чая и по куску пиленого сахара. Много лет спустя при коменданте Гангарте выдали каждому по 2 чайника: один для кипятку, другой для заварки чая, и стали отпускать по $^1/_2$ фун. чая и 3 фун. сахара на месяц. Чай был удовлетворительного качества по 90 к. за $^1/_2$ фун., а сахар оценивался очень дорого, по 18 к. фунт. При гуртовой покупке и с уступкой постоянному покупателю $^1/_2$ фун. чая обходилось по 77 к., так что чайное довольствие одного человека обходилось в месяц 1 р. 31 к. Впоследствии было разрешено на эти деньги выписывать не только чай, но кофе, какао, лимоны, монпансье, клюкву. Многие брали только $^1/_4$ фун. чаю, а на остальные деньги покупали чего-нибудь другого; некоторые не брали вовсе чая, а пили ячменный кофе.

Сначала мы стучали очень неискусно и плохо понимали друг друга. Мало-по-малу, мы стали стучать очень быстро и отчетливо; употребительные слова заменялись одной буквой или знаком. Громким стуком у нас бывали общие беседы по разным углам.

Начальство преследовало за стук, наказывало, перебивало стук всячески, между прочим, пуская в незанятой камере струю воды из крана: журчание воды заглушало стук, да и страшно раздражало нервы [XXVIII]. Но потребность в сношении с другими была так велика, что начальству пришлось уступить. Потом для сношения с противоположной стороной стучали в железный калорифер (парового отопления) или в дверь. Такой стук был слышен всеми и невольно привлекал к себе общее внимание, поэтому в дверь и калорифер стучали только в экстренных случаях, когда нужно было обменяться мыслью или вестью со всеми, стараясь не беспокоить занятых или отдыхающих товарищей без нужды. Когда же мы стали видеться часто друг с другом, то стукотня мало-по-малу вывелась из обихода, а начальство само приглашало старосту в некоторых случаях постучать в дверь для оповещения публики, например, так: «Постучите, пожалуйста, что сегодня прогулка начнется в 9 час., потому что на дворе будут производиться работы». Общий неистовый стук в двери и печи, при чем стучали чем попало, подымался в виде протеста.

Кроме обычных наказаний, вроде лишения чая, книг, прогулки, работы в мастерских, темного карцера без постели, с содержанием на хлебе и воде, применялись еще: продолжительное заключение в карцере с наложением оков и смирительная рубашка. Заключение с наложением оков было применено только раз к К. Ф. Мартынову [1]) за то, что плюнул смотрителю Федорову в физиономию [XXIX]. Перемещение в карцер сопровождалось иногда побоями. На протесты против насилия грубый бурбон Соколов, по прозванию Ирод, он же Цербер, отвечал с видимым сокрушением: «Эх! да разве так бы следовало по инструкции», намекая на параграф инструкции, где говорилось о 50 ударах розгами. Общие же протесты, принимавшие вид маленького погрома, оставались без наказания: начальство было слишком озабочено тем, чтобы инцидент не разрешился громким скандалом, и прибегало к увещеваниям и обещаниям для успокоения. Второе десятилетие наказания применялись реже, хотя поводов было не меньше, так как мы стали очень раздражительны: каждый из нас походил на бомбу, начиненную пироксилином, и мы нередко от обороны переходили в наступление. Наши тяжеловесные железные кровати вместе с постелью утром, при раздаче кипятка, подымались, прислонялись к стене и запирались на замок, а вечером в 7 часов опускались; такой порядок существовал долго, потом кровати уже не подымались.

Первый смотритель, Соколов, сначала пытался обращаться к нам на ты, и, когда ему отвечали тем же, он очень обижался:

---

[1]) По выходе из Шлиссельбурга застрелился в Якутской области.

«Да ведь ты лишен всех прав; так по инструкции, а мне что: прикажут говорить вам ваше сиятельство, и буду говорить». Потом к нам обращались в третьем лице, например, первый комендант Покрошинский, на 4-м году заключения спросил меня: «Здоровье заключенного?»—Хорошо, ответил я.—«И все это время заключенный ни разу не болел?»—Ни разу.—«И здоровье заключенного нисколько не пошатнулось?»—Не пошатнулось.—«Удивительно!», заключил он.

Высокое расположение окна в камере, густая железная решетка, двойные рамы, и летом и зимой, отнимали много света, а матовые стекла создавали вечные сумерки в камерах. Это тянулось долго, достаточно долго, чтобы испортить зрение у всех, кому удалось остаться в живых. Наши настоятельные заявления оставались без ответа, или нам предлагали заменить матовые стекла струйчатыми, не менее зловредными. Лет через десять или двенадцать, когда у нас началось острое страдание глаз, нам вставили прозрачные стекла, и мы увидели, наконец, луну и звездное небо. Когда было позволено иметь в камерах самодельные табуретки, некоторые читали, стоя на табуретке у окна. Начальство, неспособное войти в наше положение, признавало это за нарушение порядка, тогда как подобный способ чтения у окна был единственным возможным для людей с расстроенным зрением. Читали мы очень много, не жалея своих больных глаз: иначе было невозможно, потому что нам ставилась альтернатива: или береги глаза, не читай и сходи с ума от тоски, или слепни, спасая себя от безумия. Поэтому и на прогулке мы читали много. Для освежения же глаз приходилось ежедневно, целые годы, примачивать их утром и вечером борной примочкой.

Двадцать лет мы жили как бы под стеклянным колпаком. Когда вели на прогулку, в мастерские и обратно в камеру, заключенного провожали два унтер-офицера, а со стороны наблюдали еще смотритель или вахмистр. При этом передний жандарм поворачивал голову то направо, то налево. Вдоль клеток и огородов была построена галлерея с навесом, откуда неотступно следили за гуляющими дежурные унтера, прислушиваясь к нашим разговорам. На этой-то вышке бессменно дежурил и первый смотритель, который сам затворял и отворял камеры. В камерах и мастерских следили через стеклышко в двери, которое закрывалось снаружи железной занавеской. Вдоль камер лежал половик, и дежурные ходили в мягких башмаках летом и в валенках зимою. К этому стеклышку они подкрадывались каждые 5 или 10 минут. Маневры дежурных, чтобы приблизиться неслышно и поднять занавеску неожиданно, были нелепы потому, что они подглядывали через правильные промежутки, и ясно,

что их предосторожности были напрасны. Шорох, когда жандарм крадется вдоль стены, вытирая ее спиной, мешал занятиям, заставляя следить за этими проделками и поджидать их. Эти проделки возмущали, как бессмысленное дело, за которым приходится невольно следить, бессмысленное потому, что бесчисленные попытки поймать заключенного на месте воображаемого преступления ни к чему не приводили. Делая каждого из нас объектом многочисленных ежедневных наблюдений, они отлично вперед знали, кто и в какую минуту чем занят, потому что и у нас за годы сложились свои привычки и свой неизменный домашний обиход. А между тем, при всем сознании бесполезности, нелепости и неуместности наблюдений дежурного, заключенный, вместо того, чтобы спокойно продолжать свои занятия, застывает в напряженном ожидании, иногда опасаясь переменить положение тела под этими подозрительными взглядами. И когда приходится, таким образом, проходить многие годы сквозь строй «недреманого ока», которое тебя точит, как червь неумирающий, спрашиваешь себя, к чему им понадобилась такая утонченная пытка над людьми занятыми или больными?.. Да и накрыть нас на месте преступления было трудно: мы всегда были настороже, когда это было нужно, и умели делать свои выводы из бесчисленных наблюдений; а наш слух до того обострила тюрьма, что мы, по повадке дежурного, по множеству мелких признаков, отлично знали, кто дежурит и что делается за дверью в коридоре. Вообще мы действовали и говорили прямо и открыто, прибегая к конспирации в редких случаях, и это всего лучше сбивало их с толку. И не только говорили открыто, но умышленно подымали, например, для того, чтобы отвадить любопытных, такие разговоры, которые слушать жандармам было неудобно, и это помогало. Весьма понятно, что это проклятое стеклышко возмущало многих, и унтеров гнали от дверей грубой бранью. Это помогало на время, а потом опять начиналась та же история снова, словно мы имели дело с неумолимой стихией, против которой бесполезны заклинания. Однако, этот неусыпный надзор был совсем недействителен в видах предупреждения и пресечения: он, например, не мешал самоубийству, но он был очень чувствителен как средство истязания (Тиханович повесился, Грачевский сжег себя, Софья Гинсбург зарезалась, Похитонов был захвачен и спасен не жандармами, а Л. А. Волькенштейн) [XXX].

Долго мы не могли допроситься лучшей вентиляции камер, в которых отравляла воздух параша. Оконная форточка откидывалась вниз и давала слишком мало свежего воздуха, потому что была связана железными полосами с другой форточкой в наружной раме и открывалась на небольшую щелку; и эта форточка сначала открывалась только 2 раза в день на $^1/_4$ часа. Лет через десять—двенадцать окно переделали так, чтобы отки-

дывалась вниз верхняя часть рамы. Теперь мы сами могли открывать и закрывать фортку, по своему усмотрению, приспособивши для этого две веревки.

Широко применяя к делу инструкцию, в которой говорилось о кандалах, сумасшедших рубашках и расстрелянии, начальство вывешивало в камерах эту инструкцию, очевидно, потому, что там был параграф о позорном наказании, чтобы добиться покорности и смирения. Слишком опасно было применить этот параграф потому, что это повело бы к покушениям на жизнь исполнителей и к поголовному самоубийству, а унизить и уязвить нас все же хотелось. Эти писанные или печатанные инструкции так или иначе заключенные устраняли. Вывешивали новые экземпляры, которые опять устранялись, и кончилось тем, что они исчезли. Кроме инструкции комендант, несомненно, получал и негласные наставления о применении ее с обширными полномочиями в крайних случаях; а такая крайность определялась его усмотрением. Лучший из комендантов говорил нам: «Поверьте, если б я применял инструкцию со всей строгостью, ни одного из вас не было бы в живых через 1/2 года!» Тюремная администрация состояла из людей опытных, преданных, решительных, я даже думаю, неподкупных, и, пожалуй, служивших по призванию. Как же, спрашивается, действовала на их душу эта вечная малая, но жестокая война с заключенными? На это отвечает история наших комендантов и смотрителей за двадцать лет: 1-й комендант, Покрошинский, помешался и вскоре умер; 1-го смотрителя, знаменитого Ирода-Соколова, разбил паралич после смерти Грачевского; 2-й комендант, Добродеев, сошел с ума; 2-й смотритель Федоров пил горькую, строчил доносы на всех и, в заключение, по ошибке написал донос на себя и был уволен в отставку, но с большим пенсионом. 3-й комендант, Коренев, добрый, совершенно неудачно попавший на место, пробыл у нас месяца четыре, или около того, и переведен в Архангельск; 3-й смотритель, Дубровин, неглупый, строгий, но тактичный и самостоятельный, и 4-й смотритель, интеллигентный офицер Провоторов, попавшие к нам в лучшие времена, недолго пробыли: первый ушел потому, что не хотел служить на этом месте, а второй ушел, по его словам, опасаясь помешательства. Лучший комендант, Гангарт—реформатор, человек умный, деликатный и с большим тактом,—ладил с нами довольно удачно. При нем введены были наиболее существенные реформы. Сипягин нашел его слабым, и он был переведен, а вскоре вышел в отставку. 5-й смотритель, Гузь, и 5-й комендант, Обухов, при Сипягине были уступчивы, и хотя при них уже стал обозначаться поворот к старому режиму, они сначала старались смягчить

его; но с назначением Плеве они круто повернули курс, открыв кампанию против нас бессмысленным, жестоким и ничем не вызванным насилием над больным товарищем, за что младший из них получил оскорбление действием, а старший избежал того же возмездия потому, что спрятался. Обухов был уволен в отставку за то, что распустил тюрьму; а Гузь тоже, но выпросил себе потом какое-то место на Кавказе [XXXI]. Не ясно ли, что варварская система гонения была губительна и по меньшей мере не безвредна для самих тюремщиков. Тут осуществлялось не только длившееся без срока возмездие за содеянное, по мнению властей, преступление, а на заключенных смотрели как на заложников, которым мстила бессильная злоба за всякую свою неудачу.

Разговоры с начальством были очень неприятны, а для некоторых просто невыносимы, и мирное настроение изменяло резкий тон их обычного обращения в сатирический или иронический. Другие же, напротив, находились, так сказать, в состоянии непрерывного единоборства с ближайшим начальством, не пропуская ни одного случая без контрольных разъяснений, заявлений и протестов. А, между тем, нам нужны были должностные лица, которым приходилось иметь ежедневные деловые объяснения с тюремной администрацией. Учреждение должностей отчасти мотивировалось предположением, что голос старосты, или библиотекаря, от лица всей общины, будет иметь больше веса и в то же время избавит товарищей от неприятных и тягостных разговоров с тюремщиками. Тем выше была заслуга тех товарищей, которые всегда без отказа соглашались на служение обществу. Один из товарищей С. А. Иванов был почти бессменным старостой (отдыхая 6 месяцев в году). На смену ему охотно выходил М. Р. Попов [1]), хотя начальству очень не нравились эти наши избранники. Должность старосты, как более сложная, была особенно тягостна потому, что наши личные сношения были стеснены, отсюда вытекало много лишней работы. Наказы, которые можно было, при нормальных условиях, сделать очень скоро и просто на словах, приходилось выстукивать в дверь или передавать запиской через вахмистра, с неизбежными в этом случае недомолвками, умолчаниями, иносказаниями, а бумажные сношения создавали недоразумения. Так, полицейская бюрократия своим соприкосновением заражала и нас бюрократизмом. Понятно, что на эти должности соглашались неохотно, и у нас подымался не раз вопрос об их упразднении. Однако, эти должности все же облегчали общине деловые сношения, да и начальство относилось к выборному с большим вни-

---

[1]) С. А. Иванов и М. Р. Попов—оба амнистированы в 1905 г. С. А. Иванов живет в Париже, а М. Р. Попов умер на родине, в 1908 г. *Ред.*

манием, зная, что община единодушно и энергично его поддерживает; поэтому эти должности уцелели, только служба перестала быть обязательной и обусловливалась согласием избранных.

ГЛАВА III.

Мрачные тучи, давившие на тюрьму, не разрешались освежительным дождем при появлении громовержцев: совсем наоборот. Посещение властей приносило нам новое беспокойство. Желая показать посетителю тюрьму во всем блеске ее совершенства, ближайшее начальство действовало так, как будто бы стыдилось явиться в глазах высокого гостя слишком либеральным или боялось оскорбить его взоры теми маленькими отступлениями от инструкции, которые у нас назывались «льготами». Книги прятались: оставлялась только одна, с наиболее невинным заглавием. Столовый прибор, перочинные ножи (это все явилось у нас очень не скоро), инструменты для работы в камерах — отбирались. Замечательно, что заплатанное, дырявое, истертое рубище, которое мы носили (куртки, штаны, белье) оставалось как бы на показ.

Сановники были очень вежливы, за исключением генерала Шебеко, который кричал, правда, в коридоре, так что немногие его поняли, что нас «следует бить плетьми»..., да генерала Оржевского, державшего себя вежливо, но странно. Один из товарищей заявил ему, что матовые стекла расстроили наше зрение и если не будут заменены прозрачными, то мы ослепнем. На это Оржевский объявил, что замена стекол зависит вполне от его воли, и не заменил эти матовые стекла; правда, он и не обещал этого сделать. В тюрьме тогда находился штабс-капитан М. Ф. Лаговский, посаженный туда без суда, административно, и положение которого отличалось от нашего не в его пользу, хотя мы были осуждены на каторгу, а он оставался все же офицером. Прислан он был на пять лет, и пять лет уже прошло. Лаговский спросил Оржевского: «Почему меня не увозят?» Оржевский ответил: «Отсюда не увозят, а выносят». Затем через несколько дней Лаговскому прочитали бумагу из департамента полиции о продолжении срока его наказания еще на пять лет [XXXII]. Из высокопоставленных посетителей у нас бывали аккуратно и ежегодно только начальники корпуса жандармов. Директора департамента полиции Дурново и Зволянский были по 2 раза; министры Дурново и Горемыкин по разу; да еще приезжали из департамента полиции ревизоры или следователи по разным случаям для дознания. Мы же неизменно и почти безуспешно заявляли о книгах, журналах, газетах, свиданиях с товарищами, мастерских, переписке с родными, и эти льготы, через год по чайной ложке, нам прописывались, при чем нас всегда

предупреждали, что льготы даются на время и могут быть отменены по усмотрению без всякого повода с нашей стороны.

Самое явление заключенным высшего начальства совершалось таким образом: смотритель открывал двери; входили 2 жандармских унтер-офицера и становились по сторонам и боком к заключенному. Они не спускали с него глаз и находились в совершенной готовности схватить его за горло или за руки, при малейшем подозрительном движении. Затем входили смотритель и комендант и становились между посетителем и узником. Домашнее начальство видалось с нами с теми же предосторожностями в первые годы; потом, когда и у нас наступила эпоха «доверия», они входили в камеру или с вахмистром или с одним дежурным. Для неважных же объяснений просто откидывалась форточка в двери. Доктор без смотрителя ни к здоровым, ни к больным не допускался. Один только доктор Безроднов настоятельно потребовал, чтобы ему не сопутствовали жандармы. Крепостной священник посещал нас сначала также вместе с смотрителем; но священник скоро прекратил свои визиты, так как мы не понравились друг другу. В первое свое посещение Юрковского он, усмотрев на столе несколько светских книг, стал их швырять с пренебрежением: «Зачем вы читаете это? Читайте библию: книг слишком много, всех не прочитаешь». На это последовал ответ: «Да, ведь, и хлеба много: всего хлеба не съешь, а без хлеба умрешь».

Жгучий вопрос о разрешении наших сношений нужно было разрешить во что бы то ни стало. Прогулка вдвоем нас не удовлетворяла, даже тогда, когда мы сходились не по назначению, а по своему выбору; она походила скорее на брак по расчету, на принудительную связь, а не на союз по склонности. Монологи и диалоги были приятны до поры до времени, а жажда более широкого общения у тюремного обитателя такая естественная потребность, которую не искоренит никакое гонение. Долго и напрасно мы просили о прогулке втроем. Начальство признало всю силу наших доводов, но категорически отказалось подымать этот бесполезный вопрос, считая наше желание утопичным; и все дальнейшие переговоры и попытки показали, что департамент полиции в этом пункте, на основании неизвестных соображений, не сделает послабления. Долго так мы томились и, наконец, обходными путями нашли выход. Заборы, разделявшие клетки и огороды, упирались в крепостную стену, и место встречи забора со стеной было забито вертикально поставленной доской. Один из товарищей сообразил, что такое положение доски указывает на щель в этом месте. Исследование подтвердило догадку. Эти доски были оторваны с помощью

заступов и кольев. Конечно, вышел большой переполох. Доски опять были прибиты в наше отсутствие на место; но их снова оторвали, и так нам удавалось через щелку в вершок ширины отчасти видеться и переговариваться с соседними парами. Но такая игра не стоила свеч: слишком мало было видно и не особенно удобно было говорить. Однако, мы попали на верную дорогу, и мысль продолжала работать в этом направлении. Наша тюремная общественная жизнь на каждом шагу подтверждала социологические взгляды Тарда на исключительное значение факторов изобретения и подражания. Усложнение нашей общественности обозначалось всегда так: является изобретатель, который, впрочем, не всегда был вожаком: изобретателями были часто более пылкие и даже импульсивные люди, а даровитые являлись подражателями, и это, может быть, зависело от того, что наши изобретения имели чисто практический характер. Целесообразное же приспособление было делом наиболее даровитых, подхватывающих и разрабатывающих сырую идею изобретателя.

И тут не было «бессознательного и мимовольного подражания» (Н. К. Михайловский). Затем уже наступало повальное подражание, в данном случае принявшее форму объединенного действия. В других случаях, о которых будет сказано, подражание принимало характер «психического заражения» (Михайловский) и объяснялось, может быть, нашей психической расстроенностью. В данном же случае было так: одна и та же мысль заботила всех. Однажды, бог весть и по какому наитию, один из товарищей бросился из огородика в мастерскую и возвратился оттуда с коловоротом и ножевкой (ручная маленькая пила). В нескольких словах он объяснил своему партнеру, что нужно делать. Один вертел коловоротом сквозные дырки в заборе, другой пропиливал ножевкой доску между дырками. Они выбирали такое время, когда дежурный жандарм начинал прохаживаться, и в заборе очень скоро была проделана форточка в соседний огород приблизительно в 6 вершков по обоим измерениям, и соседние пары обменялись рукопожатием. Тогда только набежали жандармы во главе со смотрителем. Вместе с тем везде распространилась весть о том, что между двумя огородами NN «прорубил окно», и в ту минуту, когда там происходило разбирательство и препирательство, другие бежали в мастерские, и по всей линии закипела работа. Когда стали разводить по камерам, таких форточек оказалось уже несколько. На другой день эти форточки были заколочены; но отломать доски, их закрывавшие, было очень не трудно. Однако, такие pro и contra продолжались недолго, и форточки были завоеваны. В каждой тюрьме порядок нарушается неизбежно, но так же неизбежно он восстановляется. Но то, что теперь случилось, можно назвать потрясением основ.

тюрьмы: это было завоеванием нового права. Как же объяснить такую уступчивость властей? Комендант своей властью не мог узаконить такой переворот. Очевидно, он настойчиво ходатайствовал за нас, потому что были налицо слишком уважительные причины. В тюрьме только что приостановилась повальная смертность; но ни один пророк не мог бы предсказать, что будет далее. Чахотка и цынга перестали косить, но гибель приняла более ужасную форму — форму помешательства. Помешанные жили с нами, превращая наше обиталище в преисподнюю. Глядя на сумасшедших, здоровые видели воочию свою страшную судьбу и оценили вполне, какой это коварный дар: бессрочное пребывание в тюрьме взамен смертной казни. В таком положении добровольная смерть будет лучшим выходом. Какие же меры могло принять начальство для восстановления порядка? Отобрать инструменты? Закрыть мастерские? но мы могли бы, по образу и подобию пещерных людей, действовать и первобытными способами, без коловорота и ножевки. Мы стали бы, наконец, прыгать к друг другу через забор. Следовательно, нужно было запереть нас всех в камерах и лишить прогулки навсегда, другими словами, уморить; а на это власти не решались и предложили нам компромисс: нас просили сделать к форточкам подвижные занавески из доски, чтобы эти четыреугольные отверстия не зияли в наше отсутствие, и просили не пользоваться форточками при высоких посетителях.

Другая сторона нашей деятельности, т.-е. наши занятия, развлечения и увлечения, тоже складывались своеобразно, Иначе и быть не могло, так как наша жизнь протекала при необычных обстоятельствах. В этих именно случаях очевиднее сказалось «бессознательное подражание», которое и объясняется отчасти бедностью и бессодержательностью существования, а отчасти нервной расстроенностью. Может быть, случайное обстоятельство или особенное настроение натолкнуло изобретателя на его затею; но стоило ему сделать первый шаг или показать пример, как начиналось повальное увлечение, и такое увлечение продолжалось иногда очень долго, а потом неожиданно сменялось новым увлечением, которому предавались с не меньшей страстностью.

Посторонний наблюдатель не предсказал бы, какой вид примет наше новое увлечение; но ему было бы виднее со стороны, что этот жар, с которым предавались люди модному занятию или развлечению, — жар напускной, искусственный; что эти люди себя обманывают для того, чтобы забыться или чтобы наполнить чем-нибудь свое существование. Рано или поздно охлаждение к излюбленному занятию наступало, но при этом происходил интересный отбор. Одни отставали бесповоротно, другие же оставались при этих занятиях до конца, так как они

отвечали их действительной, а не фиктивной склонности, т.-е. они находили свое любимое занятие.

Шахматное поветрие одолело нас в самую глухую пору, когда не было порядочных книг; мастерские и огороды только проектировались, а прогулки были коротенькие. До сих пор никто, за исключением Буцинского[1]) и Шебалина, не знал этой игры и ни мало не интересовался ею. И вот Буцинский и Шебалин объяснили через стенку своим соседям правила игры, а вскоре повсюду открылись шахматные турниры. Труд обучения через стенку был, конечно, нешуточный; но этому не следует удивляться, и самые маленькие задачи в тюрьме не легко поддаются разрешению. И, может быть, упорная энергия для достижения какой бы то ни было цели оживляла нас и спасала от гибели.

М. П. Шебалин, математик и отличный преподаватель, прочитал в оконную форточку своему соседу, рабочему К. Ф. Мартынову, курс геометрии, при чем он, как стриж, цеплялся за оконную стенку, стоя на крутом подоконнике, а пальцами изображал чертежи. Шахматные фигуры лепили из хлеба, доску чертили на столе или на бумаге; и по всей тюрьме раздавался стук в таком роде: е 2 на е 4., в 1 на с 3 и т. д. Когда открылись мастерские, у всех явились точеные фигуры и шахматные доски, а когда стали давать в переплет «Литературное прибавление» к Ниве за истекший год, то стали решать задачи и следить за партиями знаменитых игроков и выписали «Руководство к шахматной игре». Затем, мало-по-малу, игра эта потеряла свою привлекательность для большинства. Зато два товарища сделались записными игроками и состязались, вероятно, до своего выпуска. Когда я уезжал, они сыграли уже друг с другом более десяти тысяч партий.

Однако, шахматное наваждение оставляло достаточно простора и для других увлечений, напр., для увлечения стихотворством. Первое стихотворение, если не ошибаюсь, было опубликовано Юрием Богдановичем, а затем каждый день приносил новое стихотворение и нового поэта, пока вся тюрьма не превратилась в Парнас, на который, не по своей воле, попал и автор этих записок, у которого не оказалось ни малейшей способности не только к поэтическому творчеству, но даже и к версификации. Однажды появились в свет, совершенно для меня неожиданно, стихотворения за моей подписью. Оказалось, что мой сосед Г. А. Лопатин писал á la Чаттертон поддельные стихотворения. Больше всего у нас процветала лирика и, в этом роде, по общему признанию, встречалось несколько действительно поэтических стихотворений В. Н. Фигнер, Н. А. Морозова и П. С. Полива-

[1]) Дмитрий Тимофеевич Буцинский умер в Шлиссельбурге 4 июля 1891 г. *Ред.*

нова [1]). Писали элегии, думы, песни, послания, эпиграммы-поэмы и даже большие романы в стихах. В 900-х годах, когда опять начались притеснения, я разбирал с М. Ф. Фроленко его бумаги, предназначенные им к истреблению, и нашел там прекрасное стихотворение и по своей музыкальной форме, и по силе просто и трогательно выраженного чувства. Фроленко, по своей феноменальной скромности, не решался его показать товарищам. Он остался верен себе и в этом случае: делать молча больше других — таковым он был всегда: молчал и работал за десятерых [XXXIII]. Стихотворная горячка, однако, тянулась недолго. Публика от поэзии перешла к прозаическому творчеству, и остался только один певец, которого можно назвать нашим лауреатом, хотя он и писал в особом роде. Г. А. Лопатин отзывался на каждое малое и большое событие в нашем мире эпиграммой или сатирой, так что по его поэтической летописи можно было бы восстановить всю нашу жизнь. Всегда блестящие и остроумные, его стихотворения напоминали несколько стихи Гейне. Они бывали часто очень злы, и бич его сатиры хлестал немилосердно и по своим, и по чужим. Наши прозаические писания были очень разнообразны. В них мы нашли разумное и любимое дело, которое отвечало настоятельной потребности в осмысленном труде, в обмене мыслями и свободном выражении убеждения. Каждый из заключенных задумывал вести дневник, но это, к сожалению, было невозможно, так как нас тщательно обыскивали приблизительно до 1896 года, да и потом, шарили в бумагах, а изливать свою душу на глазах у гонителей мы не хотели. Дневники показали бы живую картину трагической жизни, в которой погибло так много персонажей, или, по меньшей мере, дали бы фотографические снимки с этой жизни. Настоящие записки есть только бледная схема, лишенная яркости, живости и патетизма. Но если каждый из освобожденных напишет свои записки о тюрьме, то наш коллективный труд даст, может быть, нечто значительное.

С самого начала мы занимались много переводами и для практики, и для того, чтобы познакомить товарищей, не читавших на иностранных языках, с интересными книгами или статьями. В конце-концов мы почти все стали читать свободно на двух или трех иностранных языках, а некоторые, кроме того, изучали, напр., Вера Николаевна Фигнер еще итальянский, Поливанов — итальянский, испанский и польский, а Лопатин — латинский и греческий. Очень хорошие переводы на прекрасный русский

[1]) Богданович умер в Шлиссельбурге 18 июля 1888 г.; Г. А. Лопатин и Н. А. Морозов амнистированы в 1905 г., В. Н. Фигнер вышла из Шлиссельбурга осенью 1904 г., П. С. Поливанов был сослан на поселение в Сибирь, откуда бежал и в 1903 г. застрелился заграницей. Г. А. Лопатин умер 25 декабря 1918 г., в Петербурге. *Ред.*

язык, с немецкого и английского, сделаны Верой Николаевной. Она отлично переводила труднейшие ост-индские рассказы Киплинга. Последним ее трудом в тюрьме был перевод романа Киплинга «Ким». Сочинение Маудсли «The Will and Body» было переведено дважды — Похитоновым и Шебалиным, и, кроме того, эта книга была переведена в сокращенном изложении. Затем переведены три тома истории Англии Маколея, 1-й том романа Теккерея «The wanily fair» и три драматических хроники Шекспира: Генрих IV и Генрих V. Последние три автора далее не переводились, так как мы получили полное собрание их сочинений на русском языке. С французского переведена Панкратовым книга Тэна «Происхождение современной Франции». Поливанов перевел несколько стихотворений своего любимого поэта Аккермана. Затем переводились интересные статьи из журналов: Review of Reviews и Times Weekly. Наша оригинальная прозаическая литература была довольно обширна: было написано несколько романов. В неоконченном романе Юрковского изображены картинно и увлекательно сцены из жизни революционеров [XXXIV]. Его рассказ о побеге из Карийской тюрьмы очень интересен. Романы из фабричного мира другого очень наблюдательного автора правдиво рисуют типы и черты рабочей жизни. Несомненно талантливыми, хотя и очень неплодовитыми беллетристами, по моему мнению, были В. Н. Фигнер, Поливанов (рассказ «Кажись, кончился») и С. А. Иванов. В. Н. Фигнер писала прелестные сказочки и поэтические воспоминания из своей ранней жизни; С. А. Иванов талантливо изображал жизнь политических ссыльных в Западной Сибири и на севере России, а бегство оттуда ссыльного и его мытарства, пока беглец не нашел успокоения и пристанища в нелегальном кружке, описаны были с немалым юмором. О беллетристике других авторов писать не стану, потому что говорю о том, что мне кажется выдающимся и наиболее характерным. Упомяну только об остроумных фантазиях Н. А. Морозова, написанных для популяризации некоторых естественно-научных положений [XXXV]. Своим остроумием и наглядностью они напоминают несколько те страницы Дюринга, где он говорит об абсолютном различии между понятиями о бесконечно большом и бесконечном [1]). Кроме того, писали очень задорные бойкие памфлеты о представительном правлении, о правах меньшинства и большинства, о пропорциональном представительстве. Писались рефераты, монографии и трактаты об общине, капитализме, народничестве, о марксизме. Здесь состязались, главным образом, Н. П. Стародворский на одной стороне и И. Д. Лукашевич—

---

[1]) Прыжок в бездну при переходе от понятия количественного к качественному.

на другой [XXXVI]. Почти все делали выписки, извлечения, компиляции из книг, а Морозов и Лукашевич написали обширные исследования: первый «о строении вещества», а второй создал целую систему философии. Под философией он разумел не теорию самой науки, не теорию познания, а общий свод частных научных обобщений, т.-е. энциклопедию знания. Введением в систему служит учение об абсолютных единицах. Затем следовало изложение данных и обобщений физики, химии, минералогии, геологии, биологии, психологии, как отдела биологии, социологии и последние выводы. Социология и последние выводы были еще не окончены. Интересны его психологические воззрения. Решительно отрицая психологический параллелизм, он говорит, однако, о функциональных отношениях между явлениями сознания и протяженными. Явления сознания он называет «психической энергией», которая является в организованных телах как новая форма превращенной физической энергии, при чем, конечно, превращение одной формы в другую совершается на основании эквивалентности. Разъяснения и возражения на подобные теории Паульсена и Вундта он не признает доказательными и считает их метафизиками. Я слушал лекции Лукашевича: он блестящий лектор с очень большими знаниями и владеющий даром прекрасного, ясного и точного изложения. Его лекции возбуждали (т.-е. только психология, теория познания и социология) большие состязания. Многотомное исследование Морозова «О строении вещества» не совсем доступно неспециалисту: слишком много там математики. Зная его способность популяризировать самые запутанные вопросы, мы, профаны, просили его изложить для нас свою книгу в более доступной форме, и он мастерски справился с такой нелегкой задачей. Судьба его сочинения такова: он просил одного из высокопоставленных посетителей передать на рассмотрение свою книгу проф. Менделееву. Разрешение долго не выходило; наконец, после неоднократных его заявлений, ему разрешили отдать свое сочинение на рассмотрение не Менделееву, а профессору Коновалову. Коновалов возвратил рукопись с весьма лестной рецензией. Он признавал за автором большую эрудицию, большое остроумие, но нашел, что гипотезы Морозова при настоящем состоянии знания не всегда допускают экспериментальную проверку. После этого Морозов просил об отсылке своей книги к матери для напечатания, но в этом ему отказали наотрез [XXXVII].

Журналы или, лучше сказать, периодически выпускаемые сборники разнообразных статей, у нас не принялись. В первом сборнике «Винигрет» с иллюстрациями и карикатурами, поставляемыми Лукашевичем, участвовало большинство. Ежемесячную хронику составлял Лопатин. Другая меньшая группа

выпускала журнал «Рассвет» под редакцией Лаговского. «Винигрет» и «Рассвет» немедленно вступили в ожесточенную полемику. Опытный и ядовитый полемист «Винигрета» слишком допекал противников своими сарказмами, а другой сотрудник злыми карикатурами. Противная сторона, люди боевые, отвечали резкостями. Некоторая часть сотрудников «Винигрета», считая такое положение нежелательным, вышла из состава редакции и стала выпускать третий журнал «Паутинка» — сборник без полемики. Вскоре все три журнала прекратили свое существование [1]).

Рядом с занятием поэзией и писательством многие увлекались приручением птиц, сначала голубей и воробьев, потом ласточек и даже синичек. Это увлечение явилось прямо-таки с ветру или со двора. Поливанов сначала кормил птиц на дворе; потом надумал заманить их через форточку в камеру, и это удалось, но голуби были доверчивее воробьев. В камерах, выше дверей, были две отдушины, которые почему-то назывались вентиляторами; там голуби и стали плодиться. Родоначальником обширной стаи был общий любимец «Жар», который вскоре после отъезда Поливанова умер в глубокой старости. Глядя на Поливанова, стали подражать и другие, но скоро это стало невыносимо: во все открытые форточки налетали незванные голуби и располагались в камерах, как дома; пришлось поставить перед форточкой сетку. Так и окончилась эта затея. Только Поливанов разводил голубей до своего отъезда, да еще один товарищ подбирал выброшенных бурею из гнезда молодых ласточек и выкармливал их насекомыми до осеннего отлета.

Любовь к цветам была какая-то неровная, порывистая: то исчезала, то являлась. Глаз, утомленный мрачным фоном нашей жизни, на котором мелькали серые шинели, да синие мундиры, отдыхал в ярких и душистых цветниках. Цветники были у всех. Там были розы, душистый горошек, ландыш, сирень, воздушный жасмин, незабудки и многие однолетние и многолетние растения. Полюбилась нам никтериния, а так как она благоухает по вечерам, то мы сажали ее в горшки и брали вечером с собой в камеру. Настоящими же цветоводами были С. А. Иванов и особенно И. Д. Лукашевич. У С. А. Иванова клумбы были всегда красивы: когда одни цветы отцветали, другие распускались — фиалки, превосходный левкой, душистая вербена, красивая циния и пыш-

[1]) О Шлиссельбургских журналах см. у В. С. Панкратова «Жизнь в Шлиссельбургской Крепости», стр. 46 и сл. *Ред.*

ный ароматный пион; а потом флокс многолетний, роскошные астры, дельфиниум, шпажник и барская спесь. Лукашевич превратил весь свой огород в цветник. Он разводил луковичные и оранжерейные растения, для чего устроил две теплички. Кроме гиацинтов, лак-фиола, нарцисов, лилий, тюльпанов, ирисов, у него бывали: бегония, азалеа, китайская роза, глоксиния, пеларгониум и много редких цветов. Цветов было так много у нас, что в наши праздники вся клетка, где гуляли В. Н. Фигнер и Л. А. Волькенштейн, была украшена венками, гирляндами и букетами, а их камеры утопали в цветах. Оригинальная пестрая цветочная грядка была у Поливанова; он посеял густо один только махровый мак. В каждом огороде и клетке были беседки, по которым вились хмель или вьюнок, или ипомеа.

Огородное дело не только укрепилось, но и постоянно совершенствовалось отчасти потому, что у нас были опытные руководители: бывший петровец М. Ф. Фроленко и М. Р. Попов, которые огородничали с великим увлечением отчасти потому, что огородничество, поставленное на большую ногу, требовало общего труда, а также потому, что приносило нам видимую пользу, улучшая наше питание и внося в него такую зелень, которая была нужна для страдавших цынгою. Когда у нас завелись парники, еще зимою начиналась подготовительная работа в мастерских: делались вновь или ремонтировались подрамники и рамы, щиты для закрывания парников, вязались соломенные маты. Осенью занимались посадкой молодых ягодных кустов и выкорчевыванием старых, посадкой фруктовых деревьев, для чего рыли глубокие ямы. Земля с грядок сбрасывалась в одну кучу и просеивалась, для чего мы сделали несколько грохотов. На месте бывшей грядки копали глубокие, иногда аршина в $1^1/_2$, ямы до подпочвы и выносили на носилках камни и плитняк; затем переносили из парников перегной и смешивали его с огородной землей. В начале весны таскали на носилках навоз в парники и в ямы для будущих грядок. От такой работы упаришься, и по возвращении в камеру приходилось менять рубашку, у кого был второй экземпляр, а у кого не было, тот надевал вместо мокрой рубашки летнюю холщевую куртку. Когда у нас явилось много парников, то приходилось помогать огороднику снимать рамы и накрывать парники, а также поливать. Огороды давали нам достаточно всяких овощей. Брюкву и кольраби мы пекли или варили и ели с постным маслом. Редьку, лук, салат—ели все лето. Луку, чесноку, огурцов хватало до нового года в урожайные годы. Огурцы солили. Редьку ели зимой в тертом виде, с постным маслом. Лук-поррей фаршировался в осенний наш праздник. Цветную капусту получал каждый раза четыре в лето. Свеклу мариновали. Зеленый укроп сушили на солнце и сохраняли в виде порошка. В удачные годы парники

давали много помидоров, так что раза два-три в неделю один товарищ, поочереди, варил в кухне при мастерских из помидоров с постным маслом и стручковым перцем соус. Этот соус примешивался к щам и кашам. Выращивали еще немного картофеля и кочанной капусты. С. А. Иванов и М. Р. Попов выращивали еще 2—3 дыни и 2—3 тыквы. С. А. Иванов пробовал разводить японские огурцы, жидовскую вишню, алданский (якутский) виноград, шампиньоны и кукурузу. Он и Фроленко кормили всю братию отличной клубникой (Лакстон, Кох). Малины, смородины было очень много, крыжовнику мало. Яблони долго ничего не давали, потому что даже в лучшие годы ветер обивал цвет и сбивал плоды. Вызревала иногда боровинка настолько, что можно было есть; антоновка, апорт и др. не дозревали, и мы ели их в печеном виде, или в пирогах [XXXVIII].

После смерти Грачевского [1]), керосиновые лампы, освещавшие камеры, вставлялись в кольцо, на них накладывалось нечто вроде намордника, который вахмистр затворял замком; на лампы были наложены оковы. На стекло лампы мы надевали легкий таганчик из жести, на который можно было поставить эмалированную кружку и даже небольшой эмалированный чайник. Так мы варили варенье из клюквы и делали конфеты из молока с сахаром. При полковнике Гангарте купили три небольшие керосиновые печи в сапожную, столярную и переплетную мастерские, для варки клея, приготовления клейстера и т. д. Эти керосинки не возбранялось уносить, когда это было нужно, в камеры. Мы поделали себе жестяные сковородки, формочки и духовые печи. Наш духовой шкаф видом и размерами был похож на гарнец. Такой шкаф ставился на керосинку, в него вкладывалась формочка, наполненная тестом на взбитых белках и желтках с сахаром. Все это покрывалось крышкой, и в 1/4 часа маленький тортик был готов. Несколько таких тортиков, поставленных один на другой, переложенных клюквенным вареньем, посылали имениннику. Именинник, получивший со всех сторон такие подношения, делил их и рассылал, так что и в пиршестве принимали равное участие все. Так зародилось пирожное и кондитерское искусство, но оно получило широкое развитие впоследствии, когда для нас была открыта кухня с плитой и настоящим духовым шкафом, при мастерских в старой тюрьме. Варенье из своих ягод варили на плите в эмалированной посуде. В духовом шкафу выпекались разнообразные большие торты, пирожные, пряники, пироги, сдобные и простые булки, калачи, баранки, а на Пасху—куличи. В масленицу пеклись блины. Настоящими кондитерами и булочниками были С. А. Иванов

---

[1]) Грачевский покончил с собой в Шлиссельбурге, посредством самосожжения, облившись для этого керосином [XXXIX].

и П. Л. Антонов. Необходимый для тортов материал получался так: мука для тортов часто заменялась толчеными сухарями из белого хлеба; молоко оставалось от обеда; масло давали к каше и селедке, и его можно было накопить, а пара сырых яиц выдавалась по желанию, взамен ужина. Корицу, гвоздику, миндаль, какао, ваниль можно было получить вместо чая.

ГЛАВА IV.

Цветы, птицы, шахматы, торты, огороды—в сущности нам не были нужны. Нам нужна была свобода; мы боролись за попранное человеческое достоинство, за разумную жизнь, за естественные права. Конечно, огороды были полезны нам; но они были не менее полезны нашему начальству. Начальство делало из них эффектную смотровую выставку. Вельможам, посещавшим тюрьму, показывали наши цветники, парники, столярные изделия, музей, когда он был устроен. Посетители любовались и благодарили коменданта. Нас хотели изолировать, чтобы молодая Россия забыла наши имена; хотели нашего бесшумного удаления со сцены, но мы удалялись из жизни и удалялись со скандальной быстротой и оглаской. Эти люди, читавшие вечно в сердцах, не знали вовсе психологии заключенного. Сначала они хотели нас сломить; но нас можно было убить, а не согнуть. [XL]. Тогда они задумали довести нас до покорности и смирения лаской, т.-е. задумали купить нашу душу за двугривенный; сам дьявол ценил человеческую душу несравненно дороже: он платил за нее всемогуществом. Когда уже решено было реформировать тюремные порядки, лучший и разумный комендант говорил, что «делать нам облегчения нужно с большой осторожностью потому, что если нам протянуть палец, то мы сядем на шею!» Тут как бы сказывалась общая тенденция нашей внутренней политики: одной рукой насаждать, а другой искоренять. И, действительно, каждый новый комендант считал своим долгом выдумывать какое-нибудь новое стеснение. Даже в либеральные времена нас лишили $1/2$ кубической сажени воздуха в камерах: углы камеры, прилежащие к двери, заложили так, что четыреугольная маленькая камера стала шестиугольной. При объяснениях с комендантом оказалось, что это сделано для нашей пользы: «Видите ли в чем дело! Когда вы заходите в эти углы, дежурные теряют вас из вида, а потому беспокоятся, нервничают и вас же раздражают!» Затем наши ватерклозеты для того, чтобы дежурные не нервничали, вынесли чуть ли не на середину камеры, так что куда ни пойдешь, ватерклозет оказывался на носу. Так как больших облегчений нам сделать не хотели или не могли, то принята была поистине адская система: давали льготу, потом начинались стеснения, отменявшие эту льготу,

а затем она же нам даровалась после какого-нибудь высокоторжественного дня, как новая льгота. Таким образом, единая льгота размножалась, как неразменный рубль, а нам приходилось испытывать муки Тантала и раздражение, доходившее до бешенства. «Видите ли, объяснял один смотритель, мы хотим довести нашу систему до идеального совершенства». Следовательно, они так действовали не случайно, а по расчету. Затем, давая льготы, начальство не предусматривало тех последствий, которые необходимо вытекали из них. Эти последствия были тесно связаны с самими льготами, а для начальства они являлись, повидимому, неожиданным сюрпризом, который приходилось признать или не признать.

Непризнание лишало льготу всякого смысла и значения, превращая ее в звук пустой; следовательно, признание всех последствий льготы было неизбежно. Начальство же томительно его оттягивало, как бы дразнило нас, наводило на мысли о том, что нас обманывают, над нами издеваются, что нас хотят извести мелочами. А при этом нас уверяли, что льготы страшно усложняют труд наблюдения и всю службу надзирателей, что они сбились с ног, что приходится ходатайствовать об увеличении состава надзирателей—все это было неосновательно потому, что теперь состав надзирателей оставался тот же, а нас стало вдвое менее, следовательно, служба жандармов стала легче. Немного ниже я покажу, по сколько человек стражи приходилось на каждого из нас; теперь же сделаю некоторые объяснения к предыдущему. Нам разрешили пользоваться в камерах 3-мя керосинками для варки клея и клейстера, потому что ажурные работы производились в камерах и там же склеивались. Керосинки также допускались в переплетных и других мастерских, находившихся в жилой тюрьме, где не было кухни. Из этого вышло кондитерское и пирожное производство—осложнение, на которое не рассчитывало начальство. В старой тюрьме было 10 камер и кухня с плитою. Клей разогревался в кухне. Одну камеру занимал унтер-офицер, заведывающий мастерскими, другая была слишком сыра, и мы из нее сделали кладовую для овощей на зиму и для наших солений, варений и т. д. Из восьми мастерских две камеры № 1 и № 10, выходили на двор с парниками и цветниками, и туда чаще заглядывало солнце, поэтому мы отвели эти мастерские для В. Н. Фигнер и Л. А. Волькенштейн. В остальных 6-ти мастерских, обращенных в другую сторону, где солнца никогда не бывало (окна выходили на двор при тюрьме Иоанна Антоновича), было 5 столярных и одна токарня. Так как столяров было больше, чем столярен, то приходилось в старой тюрьме на одну столярню по 2 хозяина. Каждый из них сделал себе верстак. Камеры были очень малы, и там трудно было поворотиться. Из этого выходило, что много необходимых

для работы предметов пришлось держать вне камеры, не говоря уже о том, что лес для работы можно было сложить только в коридоре, перед мастерскими. Там же помещалось и точило для точения топоров, резцов, стамесок и проч. Кругляки для токарной работы тоже невозможно было держать в рабочей камере, козлы для большой пилы стояли вне тюрьмы—на дворе. Как только начиналась работа (от 10 до 3-х часов), дежурному поминутно приходилось отворять камеры: одному нужно было выбрать себе доску и отпилить кусок ее; другому выбрать кругляк и распилить его на части на козлах; третьему нужен был клей или тиски для склеивания досок (тиски лежали около кухни); четвертому нужно было наточить топор или другой инструмент, и т. д. И так этот круговорот совершался непрерывно в течение 5 часов. Такой порядок, действительно, был неудобен для жандармов, и кончилось тем, что нас перестали запирать в мастерских, предоставив каждому выходить куда ему нужно по делам. И установился такой порядок: офицер и дежурные наблюдали только за тем, чтобы не находилось одновременно более 2-х человек в коридоре, 2-х в кухне и 2-х на дворе, да еще чтобы наши дамы не встречались с нами ни на коридоре, ни на дворе, ни в кухне. Зато в мастерских у дам была всегда открыта форточка, и около нее, по приглашению В. Н. Фигнер и Л. А. Волькенштейн, стояли 2 человека, занимаясь беседой, чаепитием, чтением. А в 1895 г. перестали запирать и самую тюрьму, где были мастерские, и установилось более широкое общение: в коридоре, кухне и мастерских собирались без счету, и только при посещениях коменданта нас просили разойтись по камерам. При этом и дежурным стало несравненно легче; они перестали себя изводить ненужным надзором. Как несостоятельны были уверения властей, что льготы увеличивают труд надзора, видно из следующего расчета, не говоря уже о логической нелепости такого утверждения, потому что льгота есть освобождение от надзора. За нами надзирало: комендант, два его старших помощника (один из них смотритель), младший помощник, или заведующий мастерскими и кухней, начальник строевой команды и его помощник. Итого 2 штаб-офицера, 4 обер-офицера, 30 унтер-офицеров с вахмистром и заведующим кухней, строевая команда в 75 рядовых при нескольких унтер-офицерах и 30 человек нестроевых. Итого 105 рядовых, т.-е. на каждого из нас приходилось по 5 рядовых, по $1^1/_2$ унтер-офицера и 1 офицер на 3 заключенных. Такой надзор обходился государству 80.000 руб. в год; так что в 1904 г., когда в крепости оставалось 12 человек, содержание каждого стоило по 6.666 рублей в год. При этом, конечно, на заключенных собственно выходило очень немного. Когда нас было 20 человек, то наше довольствие стоило 1.656 руб., чай 212 руб., на мастерские около 200 руб., потом стали давать на книги 140 руб.

и по 10 руб. на рождество и пасху на всю тюрьму. Итого 2.228 р. на всю братию. Отопления на нашу долю приходилось немного: всегда было холодно. Освещения слишком много потому, что не позволяли тушить лампы ночью [1]), одежда, белье и обувь стоили весьма недорого.

Из сказанного о льготах, данных начальством, и о расширении их нашими личными силами не следует заключать об устойчивости этих облегчений. По моему мнению, в последнем счете все тут зависело от веяний, которые существовали в высших российских сферах. И нам казалось, что по отношению к нам и нашим делам ближайшего начальства мы могли составить представление, конечно, довольно туманное, о существовавших настроениях правительства. В зависимости от этих настроений и веяний успехи развития нашего общения в тюрьме походили на шествие правоверного мусульманина в Мекку: в более счастливые времена мы делали два шага вперед и шаг назад, в менее счастливые времена два шага назад и шаг вперед.

После опубликования коронационного манифеста нас посетил министр Горемыкин [XLI]. Это было важным для нас событием по своим последствиям. До этого времени шлиссельбургских заключенных обходили не только все манифесты, но на них не распространялись и общие льготные постановления для каторжан уголовных и политических. Год нашего каторжного пребывания состоял полностью из 12 месяцев; разделения на разряды испытуемых и исправляющихся не существовало: все были испытуемыми; перевода в вольные команды не полагалось. Нас неоднократно оповещали, что шлиссельбургская тюрьма — особая тюрьма, что она вне закона, что бессрочные останутся в заключении до смерти, а срочные по окончании срока, день в день, будут высланы на поселение в отдаленнейшие места. Мы просили министра о дозволении получать русские и иностранные журналы и газеты, о переписке с родными и о разрешении получать от родных книги и деньги, о свидании с товарищами в камерах, о прогулке втроем, о замене трех верхних досок в заборах, что вокруг наших огородов, деревянными решетками, чтобы на деле было возможно огородничество и садоводство и чтобы видеться с соседями хоть через решетку, и об увозе душевно-больных в психиатрические лечебницы. Наши просьбы были уважены отчасти: было разрешено обмениваться письмами с родными (мать, отец, брат, сестра, муж, жена, сын, дочь) два раза в год, но с подчинением переписки тюремной и департамент-

---

[1]) Потом у нас было электрическое освещение, и лампочки можно было тушить.

ской цензуре, с обязательством ничего не писать о тюрьме и тюремных порядках. Денег, книг или каких-нибудь посылок от родных получать не разрешалось, на книги и журналы дано было, кажется, 140 или 130 руб. в год. Русские газеты не допускались к выписке, иностранные же даже за текущий год были дозволены. Русские журналы можно было получать только за прошлый год, иностранные — за текущий. Свидания втроем воспрещались. Решетки в огородах были сделаны, и, наконец, постепенно стали переводить больных в психиатрические лечебницы. Еще раньше из департамента прислали старую «Ниву» за 1883, 84, 85 и, кажется, за 86 г.г. Желание знать о том, что делается в России, что переживает теперь родина, было так велико, что мы дорожили всякой печатной бумагой. Мы дорожили каждым замаранным клочком газеты, занесенным ветром на наш двор. Жандармы давали нам в переплет свои книги, и мы их подвергали тщательному исследованию в надежде встретить там, если не прямое указание на событие, то хоть какую-нибудь опору для заключения о событиях. Но все наши поиски были напрасны: не таковы были эти книги, а мы занимались этим безнадежным делом с упорством маниака. Слово «новости» для нас имело очень большое значение. Это было первое слово, которым мы обменивались утром при встрече друг с другом.

За неимением лучшего, мы жадно подхватывали и передавали далее наши домашние новости. Отсюда видно, каким событием для нашей личной и общей жизни было получение журналов даже за прошлый год. Деньги были ассигнованы, и мы выписали «Русское Богатство», «Мир Божий», «Review of Reviews», «Times Weekly», «Revue des Revues». С каким мучительным и радостным чувством мы переживали последние дни, последние часы ожидания! Для чтения русских журналов мы разделились на две равные группы. Книжка давалась на 4 дня, и к ней прилагался маршрут, по которому следовали от одного к другому книжки в группе. По прочтении 12-го № последним, происходил обмен журналов между группами. Потом, чтобы дать возможность каждому поскорее познакомиться с особенно интересными отделами журнала, этот порядок был реформирован: книги выдавались не на 4 дня, а иногда на день, или на 2, а потом каждая книжка с той же последовательностью выдавалась второй раз еще на 2 дня. Потом мы выписали «Научное Обозрение» и «Хозяин». Иностранные журналы читались без срока, но не задерживались. Иллюстрированный журнал Стэда «Review of Reviews» нам нравился потому, что за 7 шиллингов давал много интересного материала, конечно, в сокращенном изложении, из английских, американских, австралийских, французских, немецких и итальянских журналов. Кроме передовых статей с обзором событий за месяц в каждом № помещалась

биография какой-нибудь знаменитости, напр., Гладстона, Гавелока (друг и ученик Роберта Оуэна; интервью по поводу 100-летней годовщины его жизни), Бернса, Рёскина, Виктории, Мак-Кинлея и т. д. и, в конце книги, роман какого-нибудь знаменитого автора в сокращенной передаче. В «Times Weekly» помещались все передовые и важнейшие статьи за неделю из ежедневного Times'а, парламентские заседания и пр. Один год, по недоразумению, мы получили «The Idler», иллюстрированное ежемесячное издание, оказавшееся сборником рассказов, где самыми интересными являлись похождения сыщика Шерлока Хольмса, Конан-Дойля, и французскую националистическую газету «Echo de Paris»: мы были наказаны за то, что польстились на дешевку. Морозов выписывал для себя журнал Крукса «The Chemical News».

Наконец, дружным натиском на коменданта Обухова, мы добились разрешения получать «Сын Отечества» Шеллера за текущий год и дешевую газету Молчанова «Петербург». «Сын Отечества» получали менее года, а «Петербург», кажется, два года. Но это завоевание принесло нам много огорчения. «Сын Отечества» выдавался очень неаккуратно: одни №№ задерживались, другие попадали к нам с вырезками. В этом же году «Сын Отечества» прекратил свое существование. Начальство этим поспешило воспользоваться и другой газеты выписать не позволило. Люди каются в дурных делах, наши опекуны покаялись в добром деле: газеты были запрещены и запрещены «для нашего блага»: «Вас газеты слишком волнуют!» Департамент бесповоротно запретил газеты. А вскоре изъяли с той же благодетельной целью «Хозяина» и «Книжные Известия» Вольфа. Я думаю, что издатель «Книжных Известий» будет очень удивлен, узнавши, что есть такие люди, которых волнуют его каталоги.

Полковник Гангарт давал нам «Русскую Мысль», «Исторический Вестник» за прошлый год и «Ниву» с приложениями за текущий год. Следующий комендант давал только «Вестник Иностранной Литературы». Все получаемые журналы от тюремного начальства мы возвращали в переплетах или сброшюрованными и, хотя нам предлагали за это плату, но мы от нее отказались, так что переплетной работы у нас было очень много, и потому она стала обязательной. Каждый должен был в год переплесть 12 средней величины книг или сброшюровать 24 книги. Одна большая книга, например, «Нива», считались за две. За выпиской журналов и газет, на книги оставалось около 50 руб. в год; да еще М. Н. Тригони [1]) отдал на книги уцелевшие каким-то чудом и высланные ему департаментом 100 руб., отобранные при

---

[1]) После двадцатилетнего заключения был сослан на Сахалин в 1902 г., умер в Балаклаве 5 июля 1917 г. *Ред.*

аресте. Наш доктор Н. С. Безроднов, который, к сожалению, пробыл у нас недолго, оказал нам большую услугу: он стал нам доставлять из музея при Соляном Городке [XLII] коллекции, новые книги и новые журналы: «Русское Богатство», «Мир Божий», «Вестник Европы», «Жизнь», «Новое Слово», «Revue de deux Mondes». В уплату за рассмотрение коллекций мы переплетали музейские книги и журналы и отправляли в музей свои коллекции, очень изящные работы по органографии на стеклянных пластинках (В. Н. Фигнер, М. В. Новорусский, И. Д. Лукашевич, В. Г. Иванов), гербарии и исполняли по заказу другие работы для школ, например: вычерчивали и раскрашивали в увеличенном масштабе таблицы и диаграммы из иностранных статистических временников. Вторые экземпляры всего этого оставались для нашего музея. Кроме этого мы получили от своего начальства два больших заказа: сделать ограду из точеных колонок к памятнику павших на штурме Шлиссельбурга воинов и парты со школьными досками для школы, которая открылась в крепости для жандармских детей. Деньги за эти работы пошли на покупку книг. Таким образом, до 1904 г. у нас составилась порядочная библиотека в 2.000 с лишним томов. Если исключить оттуда совсем негодные и ненужные книги прежней библиотеки, затем обширный отдел изящной словесности, все же останется несколько сот хороших книг.

Мы жадно глотали книги, особенно журналы, читая и днем и ночью. Некоторые поглощали по 300 страниц в день, и нельзя сказать, что такое чтение было бесполезно. Мы очень отстали от текущей жизни; в журналистике мы встречали новые имена, «новые слова», новые мысли, новую постановку вопроса, новые формулы и сначала должны были узнать эти незнакомые явления лично, не доверяя пересказу товарищей; поэтому нужно было читать все сплошь, сначала начерно, чтобы охватить сразу всю картину, а потом уже остановиться на деталях, заслуживающих особенного внимания, т.-е. мы читали «на-чисто», вторично все замечательное. Все были трудолюбивы. В первое время, когда не было порядочных книг, и когда нас охватила филологическая и огородная горячка, один заключенный переписал для себя словарь Александрова, а другой руководство ботаники. Но такое трудолюбие, может быть, объясняется пустотой и бессодержательностью тюремной жизни. Но трудоспособность иных товарищей удивительнее потому, что вместе с нею проявлялась благотворная целебная сила труда. С. А. Иванов и Н. А. Морозов видимо таяли и умирали на наших глазах, но никогда не валялись на кровати, а, перенося страдания на ногах и в трудах, выхаживались. Например, С. А. Иванов: у него кровотечение, он еле дышит, а бежит, не выспавшись, в огород, и там копает, таскает носилки, делает нелегкую, но привычную ему работу, оттуда

несется в столярную, рубит, стругает; затем спешит на кухню, варит, маринует или печет пирожки, которые посылает к обеду товарищам. После обеда он уж в сапожной шьет башмаки для В. Н. Фигнер или Л. А. Волькенштейн. На вечерней прогулке слушает лекцию или принимает живейшее участие в дебатах. А если среди этого водоворота интересующих его занятий кто-нибудь из товарищей призовет его на помощь, он бросает свое дело и с тем же увлечением помогает. При всем этом несет общественную службу старосты или библиотекаря и находит время читать и делать обширные выписки, компиляции и писать оригинальные и прекрасные рассказы. Так забывал в трудах он о себе и о своих недугах, и недуги тоже его забывали. Совершенно то же следует сказать о М. Ф. Фроленко, прибывшем к нам из Алексеевского равелина еле живым: его могло спасти только чудо, и этим чудом являлся неустанный труд [XLIII]. Фроленко принадлежал к симпатичнейшему типу вечного искателя правды, забывавшего о себе и на костре. Речи этого человека, искавшего чистую и светлую правду, имея всегда перед собой одну кривду, были очень трогательны. Тоже Н. А. Морозов до того был поглощен своими идеями и научными трудами, что ему некогда было думать о своей болезни, и это его спасало. А между тем в тюрьме легко развивается мнительность и наклонность давать слишком много места самонаблюдению.

Решетки были сделаны, и огороды стали освещаться лучше; но нам нужны были свидания. 1-й, самый обширный огород имел с одной стороны общий забор с 5 и 6 клетками, и в этом месте могли видеться три пары; но так как заборы были очень высоки, то для свидания через решетку нужно было сделать платформы со ступеньками. Закипела дружная работа, и не успело начальство опомниться, как везде возникли крытые беседки, и открылись свидания. Начальство, повидимому, искало приличного предлога, чтобы уступить, а приличный предлог был под рукой: нам нужно было где-нибудь укрываться от постоянного летнего дождя. При 1-м огороде, где сходились три пары, при чем в 5 клетке обыкновенно бывали дамы, открылись аудитория, клуб, и собирались митинги. Там Лукашевич читал несколько лет свои лекции, там демонстрировались чужие и свои коллекции, читались рефераты, происходило общее чтение некоторых журнальных статей и книг, велись дебаты по некоторым жгучим вопросам, которые волновали Россию; там происходило общее пиршество в наши праздники: одни уходили, другие приходили на их место, так что все успевали принять участие в общем веселии, или высказать свое мнение на митинге. Тут велись прения с книгами в руках. Эти прения протекали чисто

по-русски: плохо выслушивали друг друга, говорили вместе, разъясняли вопрос не по существу, прибегали к утонченному, схоластическому толкованию мелочей, вносили слишком много жару и нетерпимости в возражения. Зато возражения на лекции и рефераты подавались с парламентской правильностью. Горячность в прениях нужно скорей отнести к нашей болезненной раздражительности, чем к теоретическому разногласию, а в практических делах мы всегда были единодушны. Вспомните, как наши великие деды расходились на многие недели из-за феноменологии Гегеля (см. «Былое и Думы»), или из-за различного постижения таинственного процесса «преобразования и проступления духа!» И тогда станет понятно, что различное понимание даже несущественных вопросов может послужить поводом для ссоры обитателей за решеткой. Наша практика нас мирила и соединяла; наши же ссоры, пожалуй, служили показателем, что со стороны внешнего на нас давления было благополучно. Мы ссорились и умели мириться; по мере того, как наш кружок редел, мы сходились теснее и дружнее, и когда нас осталось 13, всякие ссоры отошли в область преданий [XLIV]. Замечательно, что в первые свидания через решетку мы не соразмеряли силу голоса с расстоянием, разделявшим пары: мы кричали, словно переговаривались через реку, а между тем тюрьма обострила наш слух; потом это мало-по-малу прошло.

При содействии Н. С. Безроднова мы приобрели недорогой микроскоп и под руководством Лукашевича делали несложные наблюдения, а Морозов устроил небольшую химическую лабораторию, где и читал лекции по химии.

Все наши льготы, в сущности, состояли в позволении снимать пенки со снятого и разбавленного молока, так, напр.: нам разрешили съедать только одну часть своего хлебного пайка, за другую долю покупать сласти, молоко, масло, муку, изюм, кофе, какао и т. д. Я брал ежедневно $^1/_4$ фунта черного хлеба, таким образом у меня в месяц составлялась экономия от 1 руб. 50 коп. до 1 руб. 55 коп. Не могу сказать, кто подал сигнал к новому почти всеобщему увлечению: мы занялись винокурением. Наши рабочие искусные мастера сделали из жести несколько кубов с змеевиками. Сахарный сироп с изюмом в суповой чашке ставился около калорифера. Когда брожение достигало известной силы, забродившая жидкость сливалась в куб; куб замазывался по швам и ставился на керосинку; а змеевик укладывался в умывальную раковину под кран, из которого пускалась вода, охлаждавшая спиртовые пары. Зимой охлаждали снегом, который таскали со двора в наволочке. Затем

перегоняли вторично через толченый уголь, и получалась крепкая и чистая водка, но обходилась страшно дорого. Из водки делали ликеры, подбавляя ягодного сока. Замечательно, что дежурные видели все это и молчали. Такое потворство было непостижимо. Во время брожения и перегонки около камеры носился тяжелый кабацкий дух, а они и вида не подавали. Кроме того, готовая водка хранилась в камере, и в наше отсутствие они ее видели. Комендант о винокурении ничего не знал; смотритель же Федоров молчал до поры до времени, чтобы подсидеть коменданта. Потом с целью ссадить коменданта, он написал донос, не сообразивши, что он доносит и на себя. Приехал ревизор. Нас успели предупредить, и все было спрятано: ревизор нашел только шлем к кубу. Смотритель был уволен, а нас просили ликвидировать винокурение, а чтобы не было соблазну, запретили покупать изюм.

Один из товарищей курил капустные листья, а в цветниках между другими цветами попадалась никоциана. Таково было, повидимому, начало наших табачных плантаций. Кому-то пришло в голову выписать табачные семена и руководство к разведению и приготовлению табака [XLV]. По нашей неписанной хартии, список книг, которые мы желали купить, подвергался строгой, многостепенной цензуре; выписка же огородных и цветочных семян была свободна от цензуры. Таким образом, мы получили и посеяли Гаванну, Огайо, Гунди Виргинский, выносливый сорт, и Амерсфорт, т.-е. голландскую махорку. В первый раз урожай вышел хороший, особенно Виргинского и махорки, Гаванна не удалась, но и Виргинский приходилось для куренья смешивать с махоркой. На второй год лето удалось сухое и солнечное. Сбор был большой, и приготовление табака было удачнее. Табачные грядки очень украшали огороды, и начальство любовалось ими, ничего не подозревая. Дежурные недоумевали, когда мы складывали в камерах листы в папуши, заворачивая кучу простыней и халатом, разбирали и сортировали папушу, а потом, нанизав листы на шпагат, развешивали в мастерских и огородах для просушки. Староста добыл кремня, мастера сделали стальные кресала, а трут каждый делал из старых портянок. Наши загадочные манипуляции стали понятны, когда мы закурили свои папиросы и сигаретки. Унтера пришли в восхищение от огненной махорки, а старшее начальство дивилось нашей изобретательности. Кажется, на третий год д-р Безроднов стал убеждать нас бросить куренье доморощенного табаку, признавая его вредным и отравляющим воздух, особенно во время брожения в папушах, и обещал хлопотать о снабжении нас настоящим табаком в виду того, что

в тюрьме цынга никогда не прекращалась. Действительно, последовало разрешение, и была ассигнована небольшая сумма, и каждый курящий мог получить 1 фунт табаку в 1 рубль, папиросную бумагу и несколько коробок спичек. Тогда мы ликвидировали разведение табаку.

В ноябре 1896 г. комендант прочитал бумагу тем, до кого это касалось, о применении к ним коронационного манифеста. Срочным сбавляли от 1 до 3-х лет, и они отправлялись на поселение: Л. А. Волькенштейн и Манучаров на Сахалин, Шебалин и Мартынов — в Вилюйск; Суровцев и Янович — в Средне-Колымск, Панкратову был сокращен срок, но он должен был сидеть до 1898 г. Три бессрочных: Поливанов, Стародворский и я переводились в 20-ти летний разряд. Остальных манифест не коснулся [XLVI].

ГЛАВА V.

Дорогие товарищи уехали; наша жизнь стала еще беднее, и мы углубились в книги. Наступила пора специализации по разным научным областям. В этом периоде процветали лекции. Кроме правильных курсов Лукашевича и чтений Морозова были и случайные лекции. Один товарищ по желанию В. Н. Фигнер, которое для него, как и для многих других, было законом — иначе он не дерзнул бы выступать лектором,—читал или, скорее, передавал своими словами превосходное сочинение Риля: «Теория науки и метафизики», которое у нас имелось в невозможном переводе, изобиловавшем дикими терминами: напр., «затреба», «помета», «видозвод», «винословные отношения», «мань» и т. д. Социологией интересовались все. Наиболее популярными авторами были: Гиддингс, Арнольди, Штамлер; Энгельс и Каутский имели у нас своих сторонников. Вместе с русским обществом мы заинтересовались философией, или собственно теорией познания. Популярными авторами были: Риль, Авенариус, Геффдинг, Мах, Оствальд. Читали с большим вниманием книги и статьи Михайловского, Чернова, Струве, Бельтова, Ильина, Туган-Барановского, С. Булгакова, Бердяева [XLVII.] Беллетристы: Короленко, Чехов, Горький, Вересаев имели для нас особенное значение. Кто - то сказал, что писатель это— пророк нашего времени. Нам нужен был пророк — обличатель, указующий выход из бесплодной, безводной, безмолвной пустыни. Струя свежей поэзии если и не напоила нас, то освежила нашу надежду и оживила веру в грядущее новое. То же, по-моему, можно сказать о публицистике последнего времени. Книги, которые мы выписывали, подвергались необъяснимой цензуре,

словно рукою цензора водила прихоть. Комендант нам объяснил: «Я знаю, что вас не испортит никакая книга (читай: «горбатого могила исправит»), но департамент руководится своими соображениями»... Департамент же дозволял к чтению 2-й и 3-й т. т. «Капитала», а «Свободу торговли» Янжула запрещал; сочинения Достоевского находил опасными для нервно-расстроенных заключенных, а несравненно более опасное пребывание между нами помешанных игнорировал, пока они не стали разбивать головы жандармам.

В это время мы стали разводить кроликов. Они слишком плодились и портили огороды и кустарники, поэтому было решено распродать их, но покупателей не находилось, а сами есть свои выводки мы не хотели, и пришлось раздать их жандармам.

Всякий раз, когда подобные увлечения проходили, мы спрашивали себя, какое же новое увлечение явится на смену? Кто-то в данном случае предложил премию за предсказание, и предсказателя не нашлось, а через несколько дней в одной клетке явились петух с курицей, и возникло куроводство. Увлечение было так серьезно, что построили в двух клетках по избушке для кур. Куроводство нам принесло существенную пользу: мы ели цыплят и свежие яица. Куроводство было запрещено во время погрома, о котором будет сказано.

В 1898 г. вывезли В. С. Панкратова в Вилюйск; в 1901 г. М. Н. Тригони, отбывшего полностью свои 20 лет, отправили на Сахалин, а в 1902 г. Поливанова в Степной край. Нас осталось 12 чел. старых и 1 вновь прибывший П. В. Карпович. С 1887 г. до 1901 г. к нам не прибывало новых товарищей [1]. О прибытии и трагической смерти Софьи Гинсбург мы ничего не подозревали. Много времени спустя один жандарм рассказывал, что она провела в старой тюрьме несколько дней, что, по ее заявлению, ей дали швейную работу, иголки, ножницы. Ночью она вскрыла себе артерии, и утром дежурные нашли ее мертвой. Карпович прибыл в июне, когда у нас цвели розы, и мы приветствовали его цветами и дарами, т.-е. послали ему все то, чего он не мог получить от жандармов, а должен был заводить постепенно: полотенце, платки, гребенку, зеркало, стул, кофейник, варенье, кофе, масло, яица, торты, бумагу, карандаш, перочинный ножик [XLVIII]. Познакомились с ним в тот же день. Перестукиваться с ним было невозможно: он не знал нашей системы, да и потом не научился: но мы прямо подходили к двери его камеры и разговаривали с ним минуту - другую. Он принес нам добрые вести о пробуждении России. Первыми его словами

[1]) См. прим. LIV.

были: «Г.г., через 3 — 4 года в России будет революция, и падут русские Бастилии»! Для гулянья ему назначили крайнюю 1-ю клетку, которая отделялась от соседней 2-й клетки забором без решеток. Разговаривали с ним около двери, ведущей в его 1-ю клетку.

Можно сказать, что в течение 3-х месяцев у нас издавалась свободная политическая газета, дававшая обстоятельный отчет о недавних событиях. Карпович, одаренный удивительной памятью, передавал программы партий; резолюции съездов, воспроизводил содержание нелегальных изданий и знакомил с интересными литературными произведениями, напр., с романом Степняка «Андрей Кожухов», в сокращенном изложении. Мы, со своей стороны, знакомили его с нашей жизнью и порядками и с нашей прошлой деятельностью.

Начальство стало стеснять наши сношения с ним, тогда один из товарищей прыгнул к Карповичу через забор. На другой день, когда мы собрались на дворе, у парников, Карпович тем же путем отдал нам визит. Комендант вступил в переговоры. Мы потребовали, чтобы Карповичу дали свидания. Комендант клялся, что это вне его власти. Разговоры у дверей продолжались. Через 3 месяца Карпович потребовал, чтобы ему дали работу под руководством товарища в столярной. Мы поддержали его требования. Начальство уверяло, что раньше года на это рассчитывать невозможно. Карпович стал голодать, а мы перестали выходить на прогулку и работу. Карпович голодал 9 дней. В тюрьме ежедневно происходили бурные объяснения с начальством, которые при нашей раздражительности могли ежеминутно завершиться рукопашной. Из Петербурга приехал доктор для дипломатических переговоров. Карповичу объявили, что ему разрешат работу в мастерских в скором времени, если он перестанет голодать. Он не шел ни на какие компромиссы и объявил, что до сих пор он пил воду, а теперь для ускорения развязки не будет пить. Так прошло еще два дня. На 11-й день ему объявили, что его желание будет исполнено немедленно. В непродолжительном времени его стали сводить с нами на прогулке. Первые встречи с ним лицом к лицу в нашем клубе были замечательным моментом в тюремной жизни. Он нас словно омолодил, заразил нас своей бодростью, энергией, неистощимой веселостью и твердой уверенностью. Около него один товарищ сменял другого, и там не умолкали шумные разговоры, оживленные речи, общие возгласы.

У нас было присвоено каждому какое-нибудь прозвище. Зашла речь, как окрестить Карповича? Кто-то предложил назвать его: «Счастье ревущего стана!» (см. рассказ Брет-Гарта за таким же заглавием). Это было очень удачное, но длинное название, и его назвали «Вениамином». Карпович очень

даровитый человек, руки у него поистине золотые. Менее, чем через год, он стал прекрасным столяром, хорошим переплетчиком, шил товарищам башмаки, стал слесарем и кузнецом, огородником, цветоводом и прекрасным рисовальщиком. Он срисовал с небольших рисунков, взятых из «Всеобщей Энциклопедии» [1]) и из учебников 25 или более ботанических таблиц большого размера, изящно отделав их красками. По случаю моего отъезда, он взял два или три урока у В. Н. Фигнер и связал мне плотную шерстяную фуфайку. Не научился он только перестукиваться.

Один мыслитель говорит, что опасно все то, что случается неожиданно или приходит с неизвестной стороны. Сущность нашего заключения состояла в том, что мы были оглушены, ослеплены и разъединены для того, чтобы парализовать самооборону, чтобы соединиться. Понятно, что неведомая опасность есть главная стихия тюремной жизни, и обитатели тюрьмы всякую минуту пребывают как бы на вулкане.

Мы воображали, что наши вольности укоренились в то время, когда надвигалась гроза, которая унесла их. Сначала отобрали старую тюрьму с кухней, которая была для нас так необходима. Это было равносильно упразднению 8 мастерских. Мастерские предложили перенести в общую тюрьму, но это было неисполнимо, даже если б там и нашлось достаточно места, так как шумная работа в жилой тюрьме раздражала больных и мешала здоровым отдыхать и заниматься. Старую тюрьму на наших глазах переделали для помещения там новых заключенных. Две камеры № 2 и № 6 были спешно отделаны и ежедневно отоплялись, отсюда мы справедливо заключили, что на-днях привезут новых пленников [LXIX]. Вместе с тем мы лишились и большого двора при старой тюрьме. Таким образом, упразднилось наше парниковое хозяйство, цветники, теплички; пропадали для нас ягодные кусты и 15 или 20 яблонь и груш, которые только что стали приносить плоды. Мы лишились ледника, устроенного нами на этом дворе, и потеряли возможность пользоваться круглой пилой, потому что некуда было перенести длинный сарай для этой пилы. Кузницу пришлось перенесть в один из огородов. Затем стали стеснять переписку с родными. Запрещено было писать о своих занятиях и о своем здоровье, так что оставалось писать только о погоде, и, наконец, нам объявили, что получение журналов русских и иностранных запрещено, и перестали выдавать для переплетов жандармскую «Ниву» и единственную русскую газету, которую мы получали: «Хозяин». Запретили даже «Книжные Известия» Вольфа и календарь Гатцука. Все это указывало на какие-то важные события в Рос-

---

[1]) У нас не хватало денег на покупку Энциклопедии. П. В. [Карпович] отдал возвращенные ему 60 руб., и тогда Энциклопедия была выписана.

сии. В этот момент к нам в огород занесло ветром отрывок газеты, в котором сообщалось о смерти Сипягина. Мы насторожились. Из крайней камеры № 40, в верхнем этаже видна была та часть крепостного двора, где расположены офицерские флигеля, канцелярия, дом коменданта и крепостные ворота. В нашу старую тюрьму с жандармского двора проходили через караульный дом, который стоял шагах в пятнадцати против общей тюрьмы. В ворота около караульного дома проносили только наших покойников, да провозили дрова, песок, навоз и громоздкие предметы. Однажды в сумерки квартирант № 40-го заметил на крепостном дворе особенное движение. Пронесли в канцелярию тюфяк и подушку, потом комендант, офицеры и вооруженная команда прошли через крепостные ворота на пристань. Скоро оттуда возвратилась толпа; остановилась на минуту около канцелярии и разошлась по домам. П. Л. Антонов говорил, что видел в толпе высокого блондина—больше ничего не было видно, так как стало темно. Поздно вечером заскрипели железные ворота возле караулки, и солдаты пронесли несколько бревен к старой тюрьме, за которой находился двор (у башни Иоанна Антоновича), где казнили. А глубокой ночью через дверь караулки проследовала большая толпа к старой тюрьме. Когда рассвело, оттуда прошли назад группами: комендант с офицерами, священник, за ним солдат с сложенной ризой под рукой, доктор, команда; а потом уже днем обратно пронесли бревна, рабочие инструменты и пустое ведро, в котором, очевидно, была известь. Эти наблюдения указывали, что там совершилась в это утро казнь. Впоследствии я узнал, что тогда казнили Балмашева. Но как и когда провели в старую тюрьму Сазонова (№ 2?) и Качуру (№ 6), мы не заметили. И узнали-то, что там есть новички, когда туда стали носить в судках обед и ужин.

Наконец, чтобы завершить поворот к старому порядку, комендант Обухов и смотритель Гузь учинили, без всякого вызова с нашей стороны, насилие над больным товарищем. Дело было так: в нестроевой команде, которая убирала коридоры, выметала стружки из мастерских, носила обед и кипяток и проч., был один очень услужливый, добродушный и словоохотливый солдатик. Сообщить нам что-нибудь интересное он не мог, потому что не интересовался тем, что для нас важно. М. Р. Попов, возмущенный последними стеснениями в переписке с родными, склонил этого солдатика бросить написанное Поповым письмо к матери в почтовый ящик в городе. Так Попов думал избежать жестокой цензуры. Солдатик взялся за это дело. Адреса наших родных и наш почерк были известны начальству, и Попов из предосторожности просил солдатика написать адрес своей рукой. Солдатик писать не умел и обратился за помощью к своему товарищу, а потом бросил письмо в почтовый ящик, прибитый у дверей

коменданта. Попов не подозревал существования такого почтового ящика в крепости, а солдатик по наивности не догадался, что вся крепостная корреспонденция, даже идущая от офицеров, просматривается комендантом. На другой день Обухов, разбирая письма к отправлению в шлиссельбургскую почтовую контору, заметил письмо с адресом матери Попова. К дознанию был привлечен надписавший на конверте адрес солдатик и оговорил своего товарища, а тот признался. Обухов объявил Попову, что донесет о его поступке [LI]. В тот же вечер Обухов и Гузь и толпа надзирателей внезапно ворвались в камеру С. А. Иванова, повалили его, надели на него смирительную рубашку и завязали ему рот. С ним сделался глубокий обморок; послышались заглушенные звуки и возня. В тюрьме поднялся адский шум; раздавались бранные выражения, требования объяснения. На успокоительные заявления Обухова и Гузя протестовали оскорбительными словами и требованием открыть камеры и показать нам С. А. Иванова. Попова, потребовавшего, чтобы его впустили посмотреть, что случилось с С. А., не впустили, а втолкнули обратно в камеру. Одного товарища отвели к С. А. Иванову, на котором смирительной рубашки уже не было. Насилие над больным в объяснении Обухова приняло вид совершенно невероятного у нас наказания за то, что С. А. закрыл стеклышко в двери, что у нас нередко практиковалось, когда дежурные слишком допекали заглядыванием. Такая крутая мера никогда и прежде не применялась за это; да и по инструкции наказания за маловажные поступки назначались в известной постепенности. Но коменданту нужен был первый подвернувшийся предлог, чтобы открыть новую эру. Жандармы, не желая сначала вызывать доктора, сняли с С. А. смирительную рубашку, долго старались привести его в сознание; но это им не удалось, и был вызван доктор, который в течение 20 минут не мог привести его в сознание. В протоколе доктор обозначил болезненное состояние С. А. как истеро-эпилептический припадок. В этот же вечер (4 марта) В. Н. сдала письмо к матери. Это письмо должно было показать департаменту полиции, что у нас неблагополучно. 5-го утром смотритель потребовал, чтобы В. Н. вместо этого письма написала другое; когда же она от этого отказалась, смотритель объявил, что лишает ее переписки с родными. Так как этим у нас отнималась последнее средство предать гласности факт насилия над товарищем, то В. Н. сорвала погоны у смотрителя и прокричала нам об этом.

В. Н. просила нас, из уважения и любви к ней, не мстить за предстоящее ей наказание, не подходить к ее двери, не расспрашивать ее и, если ее уведут, чтобы изолировать, то отнестись к этому с возможной сдержанностью. Лучший, любимый, самоотверженный товарищ, нравственное влияние которого было так

спасительно для изнемогающих, попал в когти к злому врагу— это было поражение; а между тем, имея в руках такую заложницу и не ожидая отпора с нашей стороны, власти продолжали ощипывать наши вольности: нам объявили, что решетки в заборах будут заделаны досками, и предложили сдать все книги, якобы для ревизии. Момент был выбран удачно: теперь было не до решеток, когда в их власти оставалась такая драгоценная заложница. Мы исполнили желание В. Н. и не беспокоили ее, но каждый решился, без всякого соглашения с другими, отвечать на насилие над Верой Николаевной насилиями до конца. Это и было выражено одним товарищем коменданту. После такого заявления доктор, присланный из Петербурга заменить Н. Е. Безроднова впредь до назначения штатного доктора, обратился к нам с успокоительными уверениями, что «все окончится благополучно»! Через несколько дней приехал из департамента полиции чиновник для расследования, а вскоре вышла резолюция: Попов за недозволенную переписку лишался совместной прогулки и работы в мастерских на месяц, а относительно В. Н. осталось в силе распоряжение местного начальства о лишении переписки.

По делам видно мастера: так возвратил нас Плеве в первобытное состояние. Теперь нам, как Сизифу, приходилось снова подымать скатившийся вниз камень. Из всех льгот удалось удержать за собою книги, да между шестой клеткой, 1-м, 2-м, 3-м, 4-м, 5-м и 6-м огородами временно была оставлена решетка (6-ой огородик В. Н.); так что там продолжались свидания с В. Н. и лекции. Нам разрешили получать только один ежемесячный английский естественно-научный журнал «The Knowledge». Все книги и вещи из Подвижного Музея, между прочим поляризационный микроскоп, были отобраны для сдачи по принадлежности. Однако, музей ни микроскопа, ни многих книг и вещей не получил.

Приблизительно через $^1/_2$ года после описанных событий В. Н. получила бумагу о переводе ее в разряд 20-летних.

В этот глухой период мы поглотили страшное множество романов. Мы купили, кажется, 12 томов in folio «Dicks Edition»; там за 10 руб. давалось 60 полных романов: Теккерея, Диккенса, Смолетта, Фильдинга, Купера, Стерна, Томаса Гуда, Эженя Сю, Дюма отца и сына и, наконец, Поль-де-Кока. Интересно, что нам приходилось читать французских авторов на английском языке, а Вальтер-Скотта, например, на французском.

В 1904 г., по разным неуловимым признакам, по отношению к нашим заявлениям, по готовности выслушивать нас и сравнительной предупредительности, мы убедились, что наступили новые веяния. Тогда мы заявили о выписке журналов русских и иностранных за прошлый год. Новый комендант полковник

Яковлев ответил: «Что же, времена меняются: может быть, и дам русские журналы; но только вперед говорю: обкарнаю!» И, действительно, нам выдали «Русское Богатство» и «Мир Божий» за 1903 г. без хроники, политики, научного отдела и без библиографии; не пощадили даже беллетристики: в повести Вересаева «На повороте» была вырвана середина, а Горького совсем не дали, при чем комендант пояснил: «видите ли, г.г.! Горького не любят в департаменте!»

Наконец, наступил день нашего отъезда [LII]. Мы простились; товарищи радовались нашему освобождению; отъезжающим было тяжело и совестно покидать их... Я и В. Г. Иванов были перевезены в Дом Предварительного Заключения, а В. Н. Фигнер в Петропавловку. Первые ночи мы провели без сна; нас мучили галлюцинации; едва закроешь глаза, в поле зрения начинали двигаться оживленные лица покинутых товарищей, слышались их голоса, голоса сливались в общий шум, и шум возрастал до грохота, подобного морскому прибою. Бромистый натрий успокоил нервное раздражение и прогнал галлюцинации.

Первые вести, полученные нами по освобождении, были очень печальны: мы узнали о гибели многих, вышедших раньше из крепости, товарищей: Янович, Мартынов, Поливанов застрелились; Тригони слепнет. И я скоро на себе заметил, как трудно переживается после долгой неволи такая благодетельная перемена, как освобождение. Сначала я был ошеломлен, испытывал боязнь широкого простора, открытого места, уличного движения и шума. Я избегал людей потому, что чувствовал себя одичавшим, избегал большого собрания потому, что не потерял еще, как говорит В. Н. Фигнер, «вкуса к одиночеству». Затем я заметил, что я неправильно реагирую на воспринятое: крупные события и факты меня не удивляли, а мелкие оценивались не пропорционально своей маловажности. Это указывало на расстройство координации. На меня сразу нахлынула такая масса живых, свежих, ярких впечатлений, что подавленный этим мозг не мог правильно ассоциировать, и такая ненормальность проходила очень медленно. Я не знаю, как переживают крутую перемену от тяжкой неволи к вольной жизни мои высокоодаренные и наделенные исключительными силами товарищи. Более совершенная и нервная организация их отличается и большой устойчивостью; но высокое развитие и дарования не спасают человека от цынги или иных нажитых в тюрьме болезней. Кроме того, исключительные люди и занимают в жизни исключительное положение, со всеми, вытекающими отсюда последствиями. Например, Г. А. Лопатин, блестящий, страстный, в высшей степени общительный человек, всегда чувствовал себя

одиноким—ведь такова грустная привилегия высокого развития. Или В. Н. Фигнер, душа которой душа апостола, прикованного к скале, томилась жестоко. Ей недоставало широкой арены, а она, подавляя страдания, забывая себя и болея за других, великодушно снимала долю тяжелой ноши с них и несла ее на себе. Энергичная, отважная, самоотверженная, она всегда была впереди; и неудивительно, что в больших и малых делах все взоры невольно обращались к ней, ожидая от нее слова, знака или примера. Я думаю, что такая интенсивная и щедрая жизнь не оскудеет в силу своего богатства, своей глубины и полноты.

Заключительные слова в дневнике коммунара Мейера (кажется), бежавшего из Каенны: «во всяком случае я вышел на волю больше человеком, меньше моллюском», я могу повторить только с оговоркой: да, и после 22-летнего плена мы остались людьми, но вышли из плена людьми израненными [1]).

---

[1]) Статья эта помещена была в январской книжке «Былого» за 1906 г., следовательно, М. Ю. Ашенбреннер написал ее еще в 1905 г. За исключением некоторых поправок, сделанных автором по поводу столкновения В. Н. Фигнер с смотрителем Гузем, статья эта печатается без изменений. *Ред.*

ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА ВОЛЬКЕНШТЕЙН.

Я должен начать свою заметку о Людмиле Александровне Волькенштейн признанием своего бессилия дать характеристику, достойную этой идеально-чистой, благородной женщины [LIII].

Первая встреча с такими людьми, как В. Н. Фигнер, Л. А. Волькенштейн, неизгладимо волнует душу, волнует подобно картине моря или тропического леса при первом созерцании. В этих необычайных, свежих эмоциях есть неуловимая поэтическая прелесть, которая редко повторяется дважды в жизни, и только психологический анализ показывает, что чудесная, пожалуй, таинственная власть над душой такого объекта, невыразимо взволновавшего человека, не имеет в себе ничего мистического.

Раньше моего знакомства с В. Н., я встречал в судебных отчетах фамилию Фигнер. Сестры Фигнер, вследствие невольного смешения, слились в моей памяти в один образ очень молодой девушки, беззаветно преданной своей идее, энергичной и вездесущей девушки. Потом у нас на юге возникли кружки, а у меня завязались знакомства. Однажды пришел ко мне ныне покойный Иван Иванович Сведенцев («Иванович») и говорит: «Что это вас давно не видно? Почему вы перестали бывать у нас?» Я ответил, что очень занят, что меня назначили председателем комиссии для поверки отчетности военно-санитарных поездов (дело было после турецкой войны). «А я уже думал, что вы отлыниваете, и мы решили подействовать на вас женским соблазном. Приходите-ка сегодня ко мне вечером; я вас познакомлю с очень хорошенькой дамочкой». Я надел новенький сюртучок и отправился к Сведенцеву. Долго мы распивали чай втроем: хозяин и еще один молодой человек, приехавший из Киева, которого мне рекомендовали, как Ивана Ивановича Иванова. Наконец, дрогнул звонок: Сведенцев побежал в переднюю, и в комнату вошла небольшого роста, в черном платье, молодая женщина, которая подошла прямо ко мне и крепко пожала руку. Она

стояла передо мной и пытливо на меня смотрела; я видел только ее большие темные внимательные глаза. Она села и заговорила с И. И. Сведенцевым; я же сидел молча, в раздумье. Она назвалась Еленой Ивановной N (фамилию забыл). В душе моей подымались из подсознательной глубины смутные воспоминания, имевшие какие-то тонкие связи с настоящим. Что-то новое, но давно желанное, ожидаемое и призываемое, наконец, предстало... И, вот, в силу какого-то озарения во мне явилась непонятная, но несокрушимая уверенность, что я вижу перед собой не Елену Ивановну, а ту Фигнер, которая давно занимала мои мысли, и вместе с этим явилась другая уверенность, что эта женщина будет иметь большое влияние на мою жизнь. Мое предчувствие меня не обмануло: это была В. Н., а о ее громадном влиянии на дела и на людей незачем распространяться.

Из врученного мне обвинительного акта я впервые узнал о Л. А. Волькенштейн. Там свидетели ее описывали, как красивую молодую даму—и только. Немногие же ее заявления обличали бесстрашие и спокойное достоинство. Она отвечала только на вопросы о факте, за который ее судили, и о своей принадлежности к партии, подчеркивая свое глубокое сочувствие к тем фактам, в которых она не принимала участия, так что прямо бросалось в глаза ее безусловное убеждение в правоте своего дела. Мое воображение мне рисовало в тюрьме, когда я вдумывался в эти данные, благородного фанатика в лице молоденькой и красивой женщины.

На суде я увидел ее в первый раз. Она сидела на второй скамейке, на крайнем левом месте. Лицо ее сияло радостью, точно она пришла на праздник; она весело улыбалась, рассматривая нас, и, очевидно, радуясь свиданию с товарищами. Защитника она не пожелала взять и на вопросы председателя ответила, что не признает этот суд компетентным и может только заявить— о своей принадлежности к партии Народной Воли, за все действия которой она принимает на себя ответственность. Л. А. сидела рядом с В. Г. Ивановым, и они сейчас же вступили в веселую беседу, которая тянулась во все дни судебного заседания, несмотря на неоднократные замечания председателя: «Подсудимая Волькенштейн, перестаньте разговаривать!» «Подсудимая В., перестаньте смеяться!» Когда прочитали смертный приговор В. Н., Л. А. и шести офицерам, один из защитников довольно громко проговорил: «Какой варварский приговор! бедная Волькенштейн!» Мы невольно посмотрели на нее: у нее было такое светлое и ясное лицо, словно она шла навстречу небесному жениху. Но когда заседание было закрыто, и мы прощались друг с другом и подходили к Л. А., ее оживленное и прекрасное лицо выражало глубокую скорбь и сострадание: она радовалась за себя и страдала за других. Л. А. заменили

казнь 15-летней каторгой и, как я узнал потом, она была этим обижена, обижена, конечно, потому, что не все товарищи получили равное смягчение.

В первые годы заключения мы не видались друг с другом и сносились только стуком с соседями. Однажды она подошла к двери моего соседа Ф. Н. Юрковского и, не обращая внимания на двух жандармских унтеров и смотрителя, громко проговорила у двери: «Вы, г.г., живете точно на другой планете! Заведите переговоры с нашей стороной!» Это предложение вызвало впервые и довольно неудачные опыты сношения стуком с противоположной стороной, на которой обитала Л. А., и, наконец, по ее совету, мы начали стучать в калорифер и в двери; так установились, несмотря на все гонения, общие тюремные переговоры. Через несколько лет я увидал на прогулке Л. А. через щель между забором и крепостной стеной, но эти щели были забиты, и взамен того были завоеваны маленькие форточки в заборах между клетками, где прогуливались заключенные. С тех пор мы виделись с нашими дамами очень часто. Л. А. изменилась очень мало и, вообще говоря, оставалась до конца самым здоровым человеком в тюрьме. Стены и перегородки и всякие разделявшие нас ухищрения не помешали, конечно, нашему сближению: у нас стали завязываться дружеские связи не только с соседями, но и с товарищами более удаленными. Нас переводили из камеры в камеру только на время, по случаю, например, ремонта. Потом, когда мы стали гулять и работать попарно, начальство не запрещало меняться местами по взаимному соглашению. Тогда к В. Н. и Л. А. потянулись все: каждому хотелось быть поближе к ним—к нашим любимым товарищам, и нашим дамам приходилось внести в это дело некоторый порядок, что и было исполнено с большим нелицеприятием. И мне удалось быть соседом В. Н. около года, а с Л. А. несколько месяцев. У Л. А. были друзья: Н. А. Морозов, М. Н. Тригони, Л. Ф. Янович, С. А. Иванов, М. П. Шебалин, Н. Д. Похитонов и Иованес-Манучаров—«Азиат», как мы его называли. Меня она почтила своей дружбой не скоро, хотя и знала о моей горячей любви к ней. Она часто была недовольна мной и справедливо недовольна. Ей были совершенно чужды и непонятны лукавые оговорки, хитроумные оправдания, двусмысленное положение: на все таковое она смотрела как на служение богу и мамоне. Чистая душа ее вела непреклонно прямой дорогой. Пламенное красноречие ее увещаний, несравненная доброта и глубокая убежденность нередко спасали от безумия ожесточенного страданием товарища. Однажды после такого сеанса я, восхищенный ее словами, может быть и несвоевременно, заметил: «Милая, право, ты очень красноречива!» Она рассердилась. По своей скромности эта чистая альтруистка, болевшая только за

других до самозабвения, и не подозревала в себе никаких дарований.

Л. А. занималась ажурными и столярными работами и немного токарной и переплетной. Мне она сделала табуретку, которой я пользовался до освобождения, и связала фуфайку, которую я носил 10 лет. 16-го и 18-го сентября, дни ее именин и рождения, мы праздновали и дарили ей цветы. Она любила розы, и в ее камере и огородике было их много. Когда у нас процветали лекции, она была постоянной слушательницей, и сама прочитала нам курс остеологии. Я, В. С. Панкратов и она занимались вместе английским языком и прочитали несколько английских книг («История Англии»—Маколея, сочинения Свифта и один роман Теккерея). Она заставляла нас работать. Так, по ее желанию, Похитонов перевел книгу Маудсли «The Will and Body», а мне она предложила изложить устно историю великой революции.

Я не буду следить шаг за шагом за всеми перипетиями пережитого нами в заключении; да это и не нужно потому, что там и большие и маленькие события носили один и тот же характер. Это была жестокая борьба за существование, жестокая и отчаянная, потому что мы боролись за разумное существование в тюрьме. Единственным выходом из непримиримого положения была сама борьба, потому что она была самое разумное дело в нашем положении. Эта борьба была чудесным копьем, целившим наносимые нам раны; таков был выход из заколдованного круга. Зачастую это была мелочная борьба; а главная особенность ее состояла в том, что это была ежедневная, непрестанная борьба без передышки, тянувшаяся многие годы. Весьма понятно, что существует предел всякой выносливости. Борцы изнемогали и гибли, а те, кто остался в живых, приспособлялись. Тут поистине оправдывалась формула: «функция строила орган». В этой борьбе и в этом устроении нашей жизни самое видное место, на передовом посту, занимали бессменно В. Н. и Л. А. Поистине их энергия и выносливость казались неистощимыми; а самоотвержение и самое пристальное и заботливое внимание поддерживали бодрость усталых и изнемогающих. Источником их влияния было самоотречение. Это были люди долга, люди совести и чести; отсюда вытекало их авторитетное влияние на всех и каждого. К этому еще нужно прибавить личное обаяние: Л. А. привлекала своей мягкостью, теплотою отношений и несравненной добротою. Она как-то умела стоять всегда на одном уровне со всеми, оставаясь собой. Но человек немыслим без недостатков. У Л. А. были недостатки, делавшие ее обаятельной, если их можно считать недостатками. Друзья не раз упрекали ее за неудержимое влечение к самопожертвованию, даже по неважному поводу, чтобы прикрыть собою других от всяких

напастей. Она на это отвечала, что в прежней ее деятельности не имеется больших заслуг и что единственной ее заслугой может быть только мученичество. Отсюда, повидимому, выходило, что она искала мученичества; переживала она это мученичество с твердостью и самозабвением аскета. Когда настал час ее освобождения, она заявила, что желает остаться в тюрьме, пока не будут выпущены все товарищи. Никакие увещания коменданта не помогали, и он объявил, что с завтрашнего дня прекращается отпуск от казны денег на ее довольствие. «Меня будут кормить товарищи!»—ответила она. «Но, ведь тюрьма не инвалидный дом, не богадельня!» Она ответила: «Я добровольно не поеду: везите меня силою!» И только убеждения товарищей склонили ее, но прощание наше с ней было мучительным.

10-го января 1906 г. Л. А. убита во Владивостоке. Она шла под руку с мужем, когда в депутацию от митинга, ходившую хлопотать от имени солдат за доктора Ланковского, был пущен залп из пулеметов.

Я не в силах дать изображение Л. А. во весь рост и предлагаю только слабый очерк. Для изображения положительных типов нужна великая художественная сила и еще нечто: недаром же великие древние мастера, приступая к созданию своих мадонн, подготовлялись к таковому подвигу постом и молитвою.

ПРИМЕЧАНИЯ.

I. Вас. Ив. Красов (1810—1855), сын протоиерея, родился в г. Кадникове, Вологодской губернии, окончил Словесный факультет Московского университета. Был близок с Станкевичем и его кружком. Был адъюнктом русской словесности в Киевском университете, а затем преподавателем в средних учебных заведениях в Москве; умер в крайней нужде.

II. Ламеннэ, Фелиситэ, Робер (1782—1854), аббат, знаменитый французский писатель и общественный деятель. После революции 1830 г. издавал (с Манталамбером, Лакордером и др.) журнал «L'Avenir», в котором пропагандировал отделение церкви от государства, гарантии личности, уничтожение палаты пэров, избирательного ценза и требовал всеобщего избирательного права. В 1834 г. он написал свою известную книгу «Paroles d'un croyant» («Слова верующего» перев. по-русски в 1906 г.), которою положил основание возникновению *католического социализма*.

Лакордер, Жан, Батист (1802—1861), католический проповедник и писатель, сотрудник Ламеннэ. По собственному признанию умер «кающимся католиком и нераскаянным либералом».

III. Звераковский командовал польскими отрядами Литвы и взят в плен при неудачном нападении на город Опатов. Был известен под псевдонимом «Топор». Повешен в Вильно 11 февраля 1864 г.

IV. Сигизмунд Сераковский (1836—1863). Еще будучи студентом Петербургского университета по обвинению в участии в «Союзе Литовской молодежи» был арестован и сослан рядовым в Оренбургский линейный полк. Затем произведен был в офицеры и перешел в драгуны. В 1859 г. участвовал в издававшейся в Петербурге и на 15 номере запрещенной польской газете «Slowo» (И. Огрызко, В. Спасович, Чернышевский и др. были ее сотрудниками). Сераковский в 1863 г., воспользовавшись служебной командировкой, явился в Литву, провозгласил себя воеводой Ковенским и Литовским, под именем «Доленго», и вскоре собрал отряд в 5 тысяч человек. Он пытался пробиться в Лифляндию, но 25 и 26 апреля был дважды разбит и взят в плен. 15 июня того же года казнен в Вильно Муравьевым. В романе «Пролог пролога» Н. Г. Чернышевский вывел С. под именем Соколовского.

Ярослав Домбровский (1835—1871), офицер генерального штаба до 1860 г. Участник экспедиции Гарибальди. Во время польского восстания был арестован и ссылался в Сибирь, но из Москвы кружок Каракозовцев помог ему бежать заграницу. Член Парижской Коммуны 1871 г. и командующий юго-западным фронтом обороны Парижа. При вступлении версальцев в Париж был смертельно ранен (21 мая 1871 г.).

V. Дело о революционном кружке офицеров в Варшаве в 1862 г. известно лишь по опубликованному тогда же приговору военно-полевого суда, да по мемуарной литературе (Огородникова, В. фон-Роткирха и др.). В архиве

III Отделения нет дела об Аргнгольдте, Сливицком 2-м и др., и фамилии их встречаются лишь в связи с другими делами («О распространении возмутительных воззваний»—1 эксп., 1862 г., № 230, «О поручике Каплинском», № 140).

Повидимому, все материалы по этому делу (а также по делам участников Польского восстания 1863 г.) оставались до войны в архивах Варшавы и Вильно и в течение минувшей войны были эвакуированы в центральные губернии России, а теперь, по Рижскому договору, возвращены Польше. Таким образом, сведения историков о революционном движении среди русских войск в Польше и Литве в годы предшествовавшие восстанию и во время его—весьма скудны в данное время, и их придется в будущем искать в Варшаве.

В последнее время А. А. Шилов поместил в Сборнике I «Музея Революции» очерк о деле Аргнгольдта и др. В нем дана библиография этого вопроса и напечатано факсимиле прокламации: «Духовное Завещание поручиков Аргнгольдта и Сливицкого, унтер-офицера Ростковского и рядового Щура, погибших мученическою смертью 16 июня 1862 года в крепости Новогеоргиевске».

Дело, насколько оно пока выяснено, началось с обыска в феврале 1862 г., у поручика 4-го Стрелкового баталиона Василия Телесфоровича Каплинского. Наместник Царства Польского ген.-арт. Лидерс частным письмом сообщил об этом $\frac{\text{22 февраля}}{\text{6 марта}}$ шефу жандармов кн. В. А. Долгорукову и приложил к письму копию рукописи, найденной у Каплинского. Из содержания ее (в ней переписаны 3 номера «Великорусса», перемежающиеся с личными сообщениями автора письма о петербургских новостях и слухах) видно, что автор был близок к образцовым войскам в Царском Селе (к артиллеристам, вероятно), на что в своем письме указывает и Лидерс. Некоторые места личных сообщений автора интересны, как определяющие тактику тайного петербургского центрального общества. Так он пишет: «всего важнее, чтобы друзья свободы действовали заодно. Для этого передовые прогрессисты (по современной терминологии — *революционеры. Ред.*) должны подождать (ждать недолго!), пока отставшие от них в своем политическом развитии конституционалисты будут приведены событиями к принятию истины... Сообразно тому следует испытать на первый раз мирные средства (автор рекомендует подачу адреса о созыве депутатов для выработки конституции)... Прогрессисты же должны составлять местные комитеты, которые должны организовать и систематизировать движение». «Ничего не вверять бумаге», «никто из членов партии не должен предпринимать важного без санкции комитета города». Затем говорится о необходимости сближения с войсками, с солдатами и офицерами, об организации «областных обществ» и пр. И далее: «получив эту записку, подумайте серьезно о распространении ее во всей дивизии, переписав для 6-й бригады сами, в 5-й есть кому передать, а 4-я перепишет сама, квартируя в Варшаве». Из содержания этого письма видно, что организация военных связей с войсками 1-й армии была еще в зародышевом состоянии, только еще налаживалась с Петербургом; а последующие аресты кружка Аргнгольдта и его единомышленников, повидимому, окончательно погубили и эту попытку. По сведениям «Колокола» и Огородникова («Дневник заключенного», И. В. 1882 г. №№ 6—9) 33 офицера и унтер-офицера переведены были по этому делу в другие полки, расположенные в глубине России и на окраинах. Затем 24 июня отслужена была панихида по казненным, за которую пострадало также много офицеров (будто бы до 50 чел.), в том числе офицеры П. О. Огородников, Зан, Горский-Данилевич, Рашковский. Первые двое заключены были в крепость на 1 год, а Горский-Данилевич—на 9 месяцев, все с отставлением от службы. Панихиды были отслужены (по сведениям III Отделения) и в Петербурге, в Казанском и Знаменском соборах, но-

так как власти узнали об этом post factum, то никто не пострадал, хотя присутствующих—штатских и военных—на них было очень много.

При рассмотрении Следственной военной комиссией бумаг, отобранных у Сливицкого 2-го, обнаружилось, что он состоял в переписке с братом, поручиком Сливицким 3-м (16 стрелк. бат.), и поручиком 4 стр. бат. Верещагиным, находящимися в Стрелковой Офицерской Школе в Царском Селе. По обыску у них ничего предосудительного не найдено, кроме литографированной «Силы и Материи» Бюхнера, взятой у Верещагина.

Затем на следствии было обнаружено, что Сливицкий 2-й был дружен с поручиком 4 артилл. бригады Берлинским, который переведен был в 12 артилл. бригаду, квартирующую в Землянском уезде (Воронежской губ.). У него также произведен был безрезультатный обыск, а равно и у прапорщика 6-й сводной артиллерийской бригады Заржецкого, бывшего в переписке с поручиком Каплинским.

К июню следствие было закончено, и 6 июня ген.-ад. Лидерс предписал военному суду судить поручика 4-й стрелк. бат. Ивана Арнгольдта, подпоручика, начальника фехтовальной команды того же батальона, Петра Сливицкого 2-го, того же батальона поручика Василия Каплинского, столоначальника Штаба начальника артиллерии 1 армии поручика Станислава Абрамовича, унтер-офицера Франца Ростковского и рядового Льва Щура, «с тем, чтобы приговор о них был постановлен на основании Полевых Законов, и суд кончен не далее пяти суток». 14 июня Лидерс конфирмовал приговор полевого суда. Поручик Арнгольдт и подпоручик Сливицкий 2-й признаны были виновными в распространении среди нижних чинов фехтовальной команды ложных и дерзких рассказов о царе и царской фамилии, в превратном толковании реформ по крестьянскому делу в Царстве Польском, в возбуждении солдат к неповиновению начальству и даже бунту, в имении и распространении среди солдат возмутительных сочинений, в распространении «вообще» среди нижних чинов крайне зловредных идей.

Унтер-офицер Ростковский—в распространении среди солдат брошюр возмутительного содержания, в участии в преступлениях Арнгольдта и Сливицкого 2-го, в том, что взялся исполнить поручение Сливицкого подговорить нижних чинов Шлиссельбургского и Олонецкого пехотных полков не отвечать на приветствие, во время смотра, начальника. Все трое приговорены были к расстрелу.

Рядовой Щур признан виновным в участии в преступных замыслах Арнгольдта и Сливицкого 2-го и в том, что взялся, вместе с унтер-офицером Ростковским, подговорить солдат Шлиссельбургского и Олонецкого полков не отвечать на приветствие начальника, что не было исполнено им только потому, что полки были уже выведены на смотр. Щур присужден к наказанию шпицрутенами через сто человек шесть раз и к ссылке в рудники на 12 лет. Он умер после наказания палками.

Поручик Василий Каплинский, признан виновным в хранении и распространении «Великоросса» и «Исторического Сборника» и в упорном запирательстве на первоначальных допросах и приговорен к 6 годам каторжных работ на заводах.

Поручик Станислав Абрамович, признан виновным в том, что, взяв у Каплинского сочинение «Великоросс», не только не представил его по начальству, но давал читать его своим сослуживцам; приговорен к отставлению от службы, 3 месяцам ареста в Новогеоргиевской крепости и к 3 годам полицейского надзора.

Казни совершены были во рву Новогеоргиевской крепости 16 июня 1862 г., а накануне, во время прогулки наместника Лидерса в Саксонском саду, в Варшаве, неизвестный (по некоторым сведениям офицер Ан. Афан. Потебня; убит в битве под Песковой скалой—4 марта 1863 г.) стрелял в него и ранил в челюсть...

Дальнейшая судьба участников этой первой попытки военной организации 60-х годов неизвестна, за исключением двух лиц—упомянутого М.Ю. Ашенбреннером офицера Фенина, который, по примечанию, сделанному редакцией «Былого», сражался в рядах польских отрядов, а затем эмигрировал и умер в начале 900-х годов заграницей. Судьба осужденного на 6 лет каторги поручика В. Т. Каплинского характеризует порядки, царившие в III Отделении Собственной его величества Канцелярии. Там о нем *позабыли*, и так бы без вести и пропал он в Сибири, если бы в конце 1879 г., т.-е. через 17 лет после его осуждения, его старуха-мать не обратилась к шефу жандармов Дрентельну с просьбою о смягчении его участи. На этом прошении имеется такая надпись, сделанная, очевидно, самим Дрентельном: «3 Отделению неизвестен. Вероятно, не политический, иначе был бы освобожден, а если из очень важных, то был бы известен 3 Отделению. Спросить ген.-губ. Северо-Западного края». 24 октября Виленский ген.-губ. ответил, что у него сведений о Вас. Каплинском нет, а по сведениям, собранным в месте жительства его матери, Вас. Каплинский в Варшаве принял *участие в мятеже* и оттуда был выслан в Енисейскую губернию... Тогда III Отделение пишет ген.-губ. в Варшаву, справляясь уже о Каплинском, *сосланном в Енисейскую губернию за мятеж.* И только, получив ответ из Варшавы, III Отделение запросило Сибирь (и нашло у себя старое «дело о Каплинском»). В Сибири также, очевидно, забыли, что Каплинский сослан за государственное преступление (так как иначе он давно должен был бы быть освобожден), и отписались, что манифесты, освобождавшие сосланных за восстание поляков, к нему не применены («за дурное поведение» и другие подобные маловажные проступки, в том числе и «за прелюбодейную связь с девицею—за что он подвергся эпитемии»...).

В силу этой сибирской отписки в просьбе матери было отказано, и только ее же прошение царю по случаю коронации в 1883 г. освободило, наконец, Вас. Каплинского от ссылки в Сибири, и он мог в конце этого года, восстановленный в правах, выехать на родину, хотя и с учреждением за ним там гласного надзора полиции.

По поводу передаваемого М. Ю. Ашенбреннером, со слов очевидцев, сообщения, что учебная команда ворвалась в Александровскую цитадель, обезоружила караул и освободила Арнгольдта и Сливицкого, но в крепости ударили тревогу, собрались войска, и лишь уговоры Арнгольдта с товарищами заставили солдат удалиться, а сами они остались под арестом, А. А. Шилов говорит, что ни в переписке Александра II с вел. кн. Константином, ни в донесениях Александру II ген.-ад. Лидерса, ни в других материалах этого времени нет указаний на подобный открытый бунт; только в статье «Русские мученики и мучители в Польше» («Колокол» № 143) говорится, что «перед арестом 60 человек солдат *готовы были* защищать офицеров, и только приказание Сливицкого удержало их». «Очевидно, здесь «готовность к защите» офицеров превратилась в факт активной их защиты», замечает Шилов. Действительно, нельзя допустить, чтобы подобный акт бунта мог бы быть скрыт местными властями, даже при всем их желании «не выносить сора из избы».

Верна и другая поправка А. А. Шилова, что Арнгольдт не заведывал учебной командой, а был полковым адъютантом. Но нельзя согласиться с автором, когда он сомневается в принадлежности прокламации «Офицерам русской армии» (напечатана в приложении к «Колоколу» № 149) перу Арнгольдта и Сливицкого только потому, что она датирована 5 ноября, а они казнены были 16 июня 1862 г. До Лондона, при передаче с оказией, письмо могло итти и дольше.

Нельзя также согласиться с А. А. Шиловым, что Сливицкий 1-ый, брат казненного, не был доносителем, «так как Роткирх определенно указывает, что о кружке узнали из солдатских разговоров». Во-первых, Роткирх был членом следственной комиссии (и, очевидно, «хорошим», так как

на жизнь его совершено было покушение 10 декабря 1863 г. Покушавшийся Шиндлер казнен 31 января 1864 г., а другие двое—Шафранчик и Стрыцкий—через год), а, во-вторых, власти всегда скрывают подобных добровольцев сыска; в-третьих, если причиною провала были «солдатские разговоры», то, конечно, арестованы были бы в первую голову Аргольдт или Сливицкий 2-й, а не Каплинский, не занимавшийся пропагандою в солдатской среде.

VI. Муравьев-Апостол, Матвей Иванович, декабрист (1793—1886). Служил в Семеновском полку и после известных волнений в полку (1820 г.) вышел в отставку подполковником. Верховным Судом признан виновным в умысле на цареубийство, в восстановлении «Северного Общества» и знании умысла «Южного Общества». Взят с оружием в руках. Был приговорен к смертной казни, но, в виду чистосердечного раскаяния, назначен в каторгу. Но и она была заменена М. А. поселением. На поселении был в Вилюйске, в Бухтарминской крепости и в г. Ялуторовске (Тобольской губ.), откуда по манифесту 1856 г. вернулся в Россию и поселился в Москве, где и умер 21 февраля 1886 г. Его «Воспоминания» о Сибири в «Русской Старине» за 1886 г., № 8.

VII. Бестужев, Михаил Александрович, декабрист (1800—1871). 14 декабря 1825 г. вывел вместе с кн. Щепиным-Ростовским на Сенатскую площадь роты Московского полка.

Верховный Уголовный Суд приговорил его в каторжные работы без срока. В 1839 г. он вышел на поселение и поселился в г. Селенгинске (Забайкальской области), где занялся сельским хозяйством. Ему приписывают изобретение столь распространенной теперь в Сибири двуколки-«бестужевки». Он же, во время заключения в Петропавловской крепости, изобрел систему столь известной теперь «стенной азбуки». Вернулся Б. в Европейскую Россию в 1867 г. (в Москву). Его «Записки о 14 декабря» и о пребывании в Сибири в «Русской Старине», 1870 г., т. I и II, и за 1881 г., т. XXXII. О брате Александре (Марлинском) его воспоминания помещены в «Русском Слове» за 1860 г., декабрь. М. Юл., повидимому, встретил его при его поездке куда-либо из Москвы, а не при возвращении из Сибири.

VIII. Не следует смешивать героя Турецкой войны А. Е. Баранова с «героем» той же войны, командиром парохода «Веста»—Н. М. Барановым. Последний послан был гр. Лорис-Меликовым заграницу для надзора за революционерами. После 1 марта 1881 г. был петербургским градоначальником и прославился созывом так называемого «бараньего парламента» (для привлечения публики к охране). Потом он был нижегородским губернатором в голодные годы (1891—1892).

IX. Сведенцев, Иван Иванович (1842—1901), писатель-беллетрист—«Иванович», бывший офицер генерального штаба, сотрудничал в «Отечественных Записках», «Слове», «Деле», «Русской Мысли», «Вестнике Европы», «Сыне Отечества», «Новом Обозрении», «Тифлисском Листке» и др. период. изд. В «Р. Бог.» он поместил несколько публицистических статей (псевд. «Кавказец»). По убеждениям—народник, а затем народоволец. Наиболее известны его «Пришел, да не туда», «По тюрьмам» (очерки недавнего прошлого), «Никеша очнулся» и др.

Собрание его сочинений (неполное) издано в Москве, в 1897—1898 гг. В Одессе привлечен был, как обвиняемый, к народовольческому делу (деятельно помогал В. Н. Фигнер и М. Н. Тригони). Арестован в 1886 г. и в 1887 г. сослан был административно на 5 л. в Зап. Сибирь. Жил в Таре и Ишиме.

X. Николай Евгеньевич Суханов (1853—1882), лейтенант, один из первых сойдясь с народовольцами (А. И. Желябовым, Н. Колодкевичем, В. Н. Фигнер и др.), положил основание Военной Организации и вошел в Центральной Комитет ее первого состава (Желябов, Колодкевич, Суха-

нов, Штромберг и Н. М. Рогачев). Помимо деятельности среди военных, С., принятый в члены Исполнительного Комитета Народной Воли, участвовал в подготовке к акту 1 марта (в подкопе на М. Садовой ул. лично работал, а затем им, вместе с техниками И. К., заряжена была мина, заложенная в подкоп, и приготовлены разрывные снаряды, действовавшие 1 марта). С. судился по «процессу 20 народовольцев» и был расстрелян в Кронштадте 19 марта 1882 г.

Александр Викентьевич Буцевич (1849—1885), лейтенант, член Военного Центра Военной Организации, арестован 5 июня 1882 г. и по «процессу 17» (25 апреля 1883) приговорен к смертной казни, замененной по коронационному манифесту вечной каторгой. Умер в Шлиссельбурге от чахотки.

XI. К Нечаевскому процессу привлечены были два брата Голиковы Николай (22 л.) и Леонид (20 л.) Ивановичи. Оба были по суду оправданы. Третий Голиков—Василий Тимофеевич (род. в 1842 г.) впервые арестован был в июле 1881 г. и по так называемому «Стрельниковскому процессу 27» приговорен к 4 годам каторги.—Мих. Юл. говорит о Леониде Г., который в июле 1884 г. выслан был в Зап. Сибирь на 3 года, по делу Военной Организации.

М. Ф. Фроленко и А. И. Желябов см. далее, прим. XVI.

Виктор Федорович Костюрин (1853—1918), студент Одесского университета, вольноопределяющийся артиллерии, арестован и бежал из тюрьмы в 1877 г. Затем судился по «процессу 193» и по делу Малинки и др. в Одессе. Осужден на 10 лет каторги, которую отбыл на Каре, и поселен был потом в Якутской области. В 90-х годах переехал в Тобольск, где издавал местную газету. Недавно найдена рукопись его романа «Гнездо террористов», написанного им на Каре. Роман не окончен и носит автобиографический характер (хождение в народ, южные бунтари). Рукопись эта принадлежит П. Е. Щеголеву.

XII. В Кронштадте, еще до возникновения Военной Организации Народной Воли, существовал кружок, группировавшийся около мичмана Владимира Дружинина; основание кружка положено было еще в Морском корпусе в 1878 г., где учились Дружинин и его товарищи. К кружку принадлежали мичмана: Григ. Ив. Скворцов, Ал-др. Ал. Балк, Сергей Алекс. Вырубов, воспитанник Морск. Техн. учил. Иван Иванович Петров, унтер-офицер минер Потихонин, оружейный мастер Ал-др Вальтердорф и слесарь Василий Федоров. Кроме того, его членами были: отставной прапорщик морской артиллерии Вадим Ник. Лавров, лейтенант Андрей Порфирьевич Андреев, некий «Константин» (на канонерской лодке «Коршун»), матрос Сергей Иванович Сосин (сослан на 5 л. в В. Сибирь), гардемарины Ал. А. Пиротте и Евг. Крафт.

Литература для кружка доставлялась мичманами Анат. П. Булановым и Н. Лавровым. Кружок этот вел деятельную пропаганду между солдатами гарнизона и матросами флота. В 1881 г., когда Дружинин перешел в Центральный Военный кружок, его Кронштадтский кружок слился с «Кронштадтским Морским кружком».

XIII. В статье «Военная Организация Народной Воли» («Былое», 1906 г., № 7) М. Юл. приводит такие примеры злоупотребления властью командира полка:

«Нередко сами командиры помогали агитации. Жестокий, циничный и неумолимый командир одного полка беспощадно бил и порол солдат, невыносимо оскорблял офицеров и гнул их в три погибели. Его боялись и ненавидели. Полагая, что достаточно терроризировал полк, он стал бесстыдно бравировать своим беззаконием. Однажды, при писарях и офицерах, он обратился к квартирмейстеру так:

«Завтра привезите ко мне на квартиру сажень дров (казенных), да побольше! понимаете?»

«Слушаю»,—ответил ему поручик. На другой день командиру была доставлена сажень дров с большим походом, но он остался недоволен и, при тех же свидетелях, закричал:

«Поручик N! Я, кажется, русским языком говорили вам: сажень, да побольше! Берегитесь, бестолковый человек! Было бы болото, а черти будут!»

Особенно он свирепствовал, осматривая роты при разводе их в караул. За ним в свите следовали батальонные и ротные командиры. Для того, чтобы приступить к избиению, у него была своя замашка: он открывал затвор винтовки и осматривал канал ствола. Разумеется, при желании нетрудно усмотреть какую-нибудь пылинку на стенках канала. Тогда он бил солдата прикладом в грудь так, что грудь трещала, и приговаривал: «Бейте, г.г. офицеры, солдат! Русский солдат любит, чтоб его били!» Такую-то экзекуцию он однажды совершал в одном батальоне, где «рукоприкладства» не существовало. Солдатская грудь трещала, избитые шатались и падали, но молчали, а он кричал: «Г.г. ротные командиры! бейте солдат! За битого двух небитых дают! Не смотрите на вашего гуманного батальонного командира!» Но в этот момент выступил батальонный командир и заявил:

«Г. полковник! Вы возмущаете против меня перед солдатами подчиненных мне офицеров и призываете их к непослушанию. О таком беззаконии я немедленно заявлю высшему начальству, а командовать батальоном, где совершаются истязания, неслыханные даже в арестантских ротах, не желаю!»

Вслед за тем неожиданно подобное же заявление сделали все четыре ротных командира. Такой протест ошеломил трусливого буяна: «Г.г., зачем же выносить сор из избы?! Я погорячился! Не всякое же лыко в строку! Ну, хорошо, посмотрим, как вы оболваните русского солдата гуманными мерами!» Этот инцидент имел значительные последствия. Побои в этой части полка не повторялись; беззащитные солдаты, трепетавшие перед лютым начальником, поняли, что его укротить нетрудно.

Престиж батальонного командира вырос чрезвычайно.

Еще один случай: полковой адъютант просил председателя полкового суда от имени командира полка приговорить писаря NN. к зачислению в разряд штрафованных, чтобы его можно было сечь, так как его влияние на других командир признавал вредным. На это последовал ответ:

«Г.г., прошу быть свидетелями! Поручик! передайте командиру полка, что дело будет решено по закону и по совести, а я сейчас отправлюсь к военному прокурору и сообщу ему о противозаконном предложении командира полка!» Присутствовавшие офицеры поддержали председателя, и, таким образом, протест офицеров избавил отличного и развитого солдата от позорного наказания, которое можно было применять к штрафованным по усмотрению начальников. Такие легальные протесты—прямая обязанность всякого порядочного человека—имели воспитательное значение, поселяли доверие к офицерам и сомнение в авторитетности начальника, пользующегося своей властью не по заслугам и способностям».

XIV. Трудно определить, к какой казни относится описание Мих. Юл. Можно бы думать, что к повешению Лукьянова, так как рассказывается об одном казненном, но он был обыкновенным (и очень жестоким!) разбойником и казнен 2 декабря 1877 г., когда лагерного сбора не могло быть. Затем в Одессе были следующие казни: 2 августа 1878 г. расстрелян Ив. Март. Ковальский, 10 августа 1879 г. одновременно повешены были (близ Скотобойни) Дм. Андр. Лизогуб, Серг. Фед. Чубаров и Осип Яковл. Давиденко, 7 декабря того же года тоже одновременно были повешены: Викт. Алексеевич Малинка, Лев Осип. Майданский и Ив. Вас. Дробязгин. Следующая казнь—Степ. Ник. Халтурина и Ник. Алексеев. Желвакова (22 марта 1882 г.) свершилась уже в стенах тюрьмы. Других политических казней

в Одессе не происходило. Одесса в 1877—1878 годах, вследствие войны с Турцией, была на военном положении, поэтому возможно, что была в это время совершена еще смертная казнь кого-либо за уголовное или военное преступление.

XV. В статье «Военная Организация партии Народной Воли» («Б.» 1906, № 7) Мих. Юл. писал:

«Пропаганда велась сначала осторожно, а потом слишком смело и открыто. В одном южном кружке собирались у семейного товарища, связанного с кружком личной дружбой. Там после ужина, за стаканом вина в компании с двумя, тремя случайными гостями, свободно обсуждались текущие в России дела, а зачастую раздавались и мятежные речи. Но такие беседы проходили по крайней мере в закрытом помещении. В лагерное время нередко ходили ужинать в одну пивную на большой и людной улице. На улицу выходила веранда, обвитая диким виноградом. Тут стояли столики. Столики сдвигались, и после ужина приступали сначала к спокойному обсуждению, которое зачастую заканчивалось горячим призывом к возмущению. Однажды в этот город заехал один нелегальный, как офицерам почему-то показалось, для проверки слуха, что в кружке закутили. С этим «комиссаром» сначала поговорили о делах; потом его завели в пивную, где и началась обычная история, завершившаяся «возмутительными» речами. В это время на веранде сидел за своим столиком турецкий консул в феске, грек по происхождению, отлично говоривший по-русски. Когда оратор произносил зажигательный спич, консул отвел одного офицера в сторону и заговорил так:

«Этот офицер, должно быть, очень хороший человек, но только он очень неосторожен: такие речи говорить в России на улице опасно. Посмотрите: прохожие останавливаются и прислушиваются. Вы, господа, должны беречь своего товарища, иначе он пропадет!»

К этим словам прислушивался приезжий (наш гость) и горячо возразил:

«Нет! неправда! Если нам зажимают рот, то мы будем кричать. Если из нашего дома сделали проезжую дорогу, то мы на улице будем как дома!»

Так кончилась эта замечательная ревизия.

XVI. Александр Дмитриевич Михайлов (1856—1884), один из основоположников «Земли и Воли», а затем Народной Воли, выдающийся организатор и, по признанию самих товарищей,—«хозяин партии»: т.-е. он неуклонно наблюдал как за безопасностью партии, так и отдельных ее членов. Участник многих террористических предприятий. Умер в Алексеевском равелине 18 марта 1884 г. от общего отека легких. Судился по «процессу 20» и был приговорен к смертной казни, замененной вечной каторгой.

Николай Васильевич Клеточников (1847 — 1883) поступил, с целью обезопасить революционеров от розыскной деятельности тайной политической полиции, в III Отделение, а затем перешел в Департамент Полиции, где и прослужил около 3 лет, до своего ареста в январе 1881 г. Умер в Алексеевском равелине 13 июня 1883 г. от цынги и чахотки. Конрад Валенрод — герой поэмы Адама Мицкевича, литовский патриот, в стане врагов отечества достигает звания магистра Тевтонского ордена и направляет его деятельность к гибели и торжеству Литвы.

Андрей Иванович Желябов (1851—1881), выдающийся организатор и признанный вождь Народной Воли. Организатор цареубийства 1 марта 1881 г. и многих других террористических актов. Повешен на Семеновском плацу 3 апреля 1881 г. Достойная его памяти и его значения в партии биография еще не написана.

Михаил Федорович Фроленко (род. в 1848 г.), бывший шлиссельбуржец. Начал революционную деятельность как чайковец, затем последовательно был землевольцем и народовольцем, участвовал в многочисленных и разнородных предприятиях партии. Сборник его воспоминаний должен вскоре появиться в изд. «Каторги и ссылки».

В деле 1 марта 1881 г. ему поручена была одна из самых ответственных ролей: произвести взрыв мины на М. Садовой улице при проезде царя. Живет в Москве.

XVII. Э. А. Серебряков («Революционеры во флоте», Госизд. Петербург, 1920) говорит, что, окончательно организовав свой Морской кружок в Кронштадте (первоначальный его состав был: лейтенанты Штромберг, Завалишин, Разумов, Глазко, Серебряков, мичман-Юнг и два штурманских офицера—А. К. Корабанович и Ал-др Прокофьев), они выбрали своим представителем в Центральный Комитет Военной Организации барона А. П. Штромберга; Кронштадтский артиллерийский кружок, состоявший из 8—10 человек, послал поручика Вас. Ив. Папина; Петербургские артиллерийские академики (человек 5—6) послали штабс-капитана Похитонова; инженеры—капитана К. (?). Кроме этих делегатов в Центральный Комитет вошли: лейтенант Суханов, поручик Н. М. Рогачев, штабс-капитан Дегаев и два члена Исполнительного Комитета—Желябов и Колоткевич. Жандармские Обзоры, помимо упоминаемых лиц, говорят, как о членах Центрального Комитета, еще о Завалишине, Буцевиче и Дружинине, а после арестов Желябова и Колоткевича—о заместителях их от Исполнительного Комитета—Савелии Златопольском, А. П. Корба и В. Н. Фигнер.

Кроме того, в Центральный Комитет приглашены были: кончивший Артиллерийскую академию есаул А. М. Николаев и отставной капитан гвардейской артиллерии Н. А. Зиновьев.

По сведениям Обзоров, к морскому кронштадтскому кружку впоследствии примкнули еще: лейтенант Л. Ф. Добротворский, мичман Г. И. Скворцов, А. А. Балк, С. А. Вырубов и друг. (И. Петров, Похитонов, Вальтерсдорф и В. Федоров).

К артиллерийскому кронштадтскому кружку принадлежали: В. И. Папин, А. И. Вершинин, Н. А. Степурин, Леон. Л. Бубнов, Ал-й Ал. Прокофьев, М. И. Иванов, Б. П. Налимов, К. П. Мазовский и др.

К кронштадтскому пехотному кружку принадлежали: подпоручики А. Ф. Губаревич-Радобыльский и Н. П. Котов.

В Гельсингфорсе был сборный кружок: П. Сикорский, Пр. Ф. Кашинский, Н. Тарасов и др. (между прочим Н. М. Рогачев).

В петербургский артиллерийский кружок вошли (по инициативе Дегаева и Папина): Похитонов, А. М. Николаев, А. Н. Дудинский, Арк. Мих. Кунаев и др.

В кружок Константиновского военного училища вошли: Н. П. Котов, Д. Гр. Элиава, А. Фр. Губаревич-Радобыльский, В. А. Суворов (переведен в Донскую каз. арт.) и др.

Кружок обер-фейерверковский, по инициативе Н. Н. Богородского, организовался на Пороховых заводах.

«Сборный» кружок. В него входили: Похитонов, Рогачев, Дм. Ив. Чижов, Конст. Степурин и др.

В Москве во 2-м гренадерском Ростовском полку был прап. Дав. Григ. Элиава, окончивший Константиновское Военное училище (с ним в сношениях были офицеры: Гурийского полка пор. Литвинов и гренадерских полков подпор. Крутецкий, Юрасов и Виноградов; в Самаре, в 159 Гурийском полку, поруч. Вас. Ильинский, вольноопред. Е. Е. Лазарев (впоследствии известный эмигрант с.-р.), доктор Вл. Вит. Чаушанский, поруч. А. Сев. Литвинов.

В Саратове был кружок среди офицеров в 158 Кутаисском полку (туда приезжал из Петербурга штабс-капитан А. Н. Дудинский).

В Одессе—в кружке Люблинского полка были: М. Ю. Ашенбреннер, М. Н. Каменский, Б. А. Крайский, Ирин. Ф. Мураневич, Ф. В. Стратонович, П. Иос. Телье и Д. И. Чижов.

На Кавказе, в Гори, в Мингрельском полку офицеры: Н. А. Алиханов, Ф. П. Анисимов, А. П. Антонов, кн. Л. А. Вачнадзе, В. Л. Держановский,

Иос. Фелиц. Липпоман, А. Г. Манухин, Арчил И. Цицианов; в сношениях с кружком был С. Н. Шепелев.

(Из «Обзоров» за 1882—1884 годы.)

Этот официальный перечень почти совпадает со списком офицерских кружков Военной Организации «Народной Воли», составленным М. Ю. Ашенбреннером, по памяти, в настоящее время; но Мих. Юл. перечисляет также кружки, которые не были известны жандармам. Вот этот список:

«В г. Николаеве—армейский: Мицкевич, Талапиндов, Успенский, Маймескулов, Заинчневский, сапер Чижов, казак Попов.

Огромный Морской кружок (всего было человек 30): Янушевский, Главацкий, Бубнов и др.

В Одессе—армейский: Крайский, Стратонович, Телье, Каменский, Мураневич и др.

В Киеве: Бычков, Тиханович и др. и был еще не сложившийся кружок Трояновского.

В Орле—офицер Кузьмин и др.

В Пскове—Кирьяков и др.

В Минске—кружок Чечота и др. (всего человек 6).

В Риге—два армейских кружка, всего человек 8. В одном был Лебедев, в другом офицер, псевдоним которого был «Холява».

В Петербурге — кружок Артиллерийской академии — Дудинский, Кунаев, оттуда же попали в Центральный кружок Николаев, Дегаев, Похитонов. В Морской академии: Кудрицкий, Ювачев. Оттуда же прибыл в Николаев, по окончании курса, Янушевский. В Петербурге же к организации принадлежали также в Новочеркасском полку — Губаревич и в Московском Анненков. С кружками в Военных училищах я еще не успел познакомиться. О них знал хорошо Степурин, которому я сдал петербургские связи, отправляясь в объезд. Степурин покончил с собою в заключении.

В Кобеляках, Полтавской губернии,—два артиллерийские кружка (в которых Мих. Юл. был два раза, но знал одного Похитонова, вернувшегося туда из центра).

Кружок (артилл.?) в Вилькомире, куда Рогачев тоже вернулся из центра в свою батарею.

В Кронштадте находились: Центральный кружок, членами которого были сначала Суханов, Штромберг, Рогачев, Дегаев, Похитонов, Буцевич, Николаев, Серебряков, Завалишин, Папин. Последний его состав: Серебряков, Завалишин, Папин, Ашенбреннер, казак Н. Сенягин. Остальные были арестованы или уехали в свои части. В Кронштадте же существовали большие морские кружки, помню Прокофьева; в артиллерийском кружке: Иванов, Вершинин, Прокофьев 2-й; существовал и армейский кружок (фамилий не помню). Кроме того, были кружки в Гельсингфорсе артиллеристов; первый провалился. Я знал в них одного, кажется, Кашинцева (Прокофий Филипп. Кашинский. *Ред*.).

В Москве существовал кружок Элиава,—туда я не успел заехать. Существовали еще кружки в Ревеле, Двинске, Вильно; в эти кружки я не успел заехать, хотя имел рекомендации.

Существовал еще кружок на Волге (в Самаре. *Ред*.), но туда я не доехал.

Почти одновременно провалились Пензенский кружок, затем на Кавказе провалился кружок в Гори Мингрельского полка. Фамилии забыл.

Уцелели, кажется, маленькие группы в Пинске, Ревеле, в Двинске (в Минске и Риге. *Ред*.), остальное все рухнуло. Уцелевшие распались.

Арестовано было до 200 человек офицеров, но, судя по зашифрованной памятной книжке, которая находилась при мне и которую, к счастью, я успел уничтожить до ареста, этими 200 офицерами состав Военной Организации

далеко не исчерпывался. Правда, в эту книжку, по поверке, оказалось, попало несколько человек лишних».

15 ноября 1923 г. *М. Ашенбреннер.*

Э. А. Серебряков (в «Революцинерах во флоте») рассказывает о дальнейшей судьбе некоторых из членов кронштадтского Морского кружка, оставшихся на службе. «Из них,—говорит он,—погибли в бою при Цусиме, командирами броненосцев, П. О. Серебренников (бр. «Бородино»); Юнг (бр. «Орел»), Миклуха-Маклай (бр. «Ушаков»). Член бывшего Морского кружка А-н командовал одним из броненосцев в Порт-Артуре, а Добротворский—эскадрой на Дальнем Востоке в 1904 г. Артиллерист Вершинин был градоначальником в осажденном Порт-Артуре.

XVIII. Уставы Центрального и местного кружков и инструкция местным кружкам помещены в VI и VII Обзорах и перепечатаны были в «Былом» за 1906, № 8, под заглавием «Из истории народовольческого движения среди военных в начале 80-х-годов».

XIX. Сигизмунд, Иван Ник. Комарницкий, из дворян Волынской губернии, студент Харьковского университета. Член киевской народовольческой организации и Военной Организации. Арестован в Москве 4 января 1883 г. вместе с С. Никитиной и в следующем году выслан на 5 лет в В. Сибирь; жил в Енисейской г. и в г. Иркутске. В 1889 г. вернулся в Евр. Россию (в Саратов) и в первые годы принимал участие в революционной работе, но затем отстал и поселился в г. Екатеринославле. В. Н. Фигнер и другие возлагали на юношу Комарницкого большие надежды.

XX. Вопросы, заданные М. Ю. Ашенбреннеру о ген.-м. Ширинкине, начальнике дворцовой охраны, объясняются, вероятно, тем, что М. Ю., очевидно, заметила наружная охрана дворца, когда он проходил к Юзачеву. Наблюдавшие на Невском пр. (или на Фонтанке) филеры не могли, понятно, следовать за ним в пределы дворца и определить, к кому он ходит. Но они проследили его по выходе из дворца и установили его личность.

Об этом донесении наружной охраны жандармы должны были вспомнить, когда М. Ю. был арестован, как член Военной Организации Народной Воли, и по аналогии с попыткой гусарского майора Николая Александровича Тихоцкого, арестованного за год до этого по делу Грачевского и др., они заключили, что М. Ю. ходил в Аничков дворец с тою же целью, как и майор Тихоцкий. Всего проще, казалось бы, спросить самого генерала Ширинкина, но с ним у жандармов, вероятно, были обычные контры соревнования двух ближайших ведомств.

Дело в том, что по предложению Грачевского, снабдившего блестящего гусарского майора Тихоцкого средствами, чтобы он мог возобновить свои былые военные связи в Петербурге, Тихоцкий подал Ширинкину прошение о зачислении его в дворцовую охрану. Они познакомились, и Тихоцкий посетил несколько раз Ширинкина. Как передавал впоследствии Тихоцкий, Ширинкину он, видимо, понравился: о нем наводились справки в гусарском (Лубенском) полку, а до получения их Ширинкин вел с ним разговоры, посвящая его в частности будущей службы; он показывал ему, между прочим, обширные альбомы с фотографиями политических ссыльных и вообще неблагонадежных лиц и говорил, что майору придется запомнить физиономии многих из них.

Переговоры эти были прерваны вследствие ареста Тихоцкого, как и многих других лиц, прослеженного по сношениям с Грачевским, за которым следили уже в течение 3 месяцев (с марта 1882 г.). Аресты эти произошли в ночь с 4 на 5 июня.

В турецкую войну Тихоцкий командовал эскадроном Лубенских гусар, а службу в этом полку он начал с 1863 г., т.-е. за ним был уже почти 20-летний стаж беспорочной службы.

Он был замечательный стрелок из винтовки: на 50—70 сажен без промаха попадал пулей в игральную карту. Этим своим искусством он и хотел воспользоваться, чтобы застрелить Александра III в одну из его ежедневных прогулок по саду Аничкова дворца. И при этом у Тихоцкого были шансы на личное спасение, так как он мог стрелять издали.

Как известно, Ювачеву пришла та же мысль о возможности застрелить Александра III из окна дворца, во время его прогулки по саду.

Н. А. Тихоцкий (род. в Купянском у., Харьковской губ., в 1849 г.) в 1883 г. был сослан в Енисейскую губернию на 5 лет. Жил в Канском округе, затем переехал в Иркутскую губернию и служил на золотых промыслах. Умер в 90-х годах, в Сибири.

XXI. В. Н. Фигнер («Запеч. Труд», т. I, стр. 286) сделала предложение выйти в отставку и принять участие в Исполнительном Комитете офицерам: Завалишину, Ашенбреннеру, Крайскому, Похитонову и Рогачеву. Последний на это предложение согласился, М. Ю. Ашенбреннер—принципиально тоже. Отказались, по разным причинам, Похитонов, Крайский и Завалишин.

XXII. Из числа 14 осужденных по процессу 1884 г. (в Петербургском военноокружном суде—24—28 сентября) в настоящее время проживают в Москве В. Н. Фигнер и М. Ю. Ашенбреннер; В. Г. Иванов—заграницей, Д. Я. Суровцев—в г. Тотьме, В. И. Чуйков—в г. Иркутске, И. П. Ювачев—в Новгородской губернии, Л. В. Чемоданова-Кирхнер—в г. Чите.

Н. М. Рогачев и А. П. Штромберг повешены в Шлиссельбурге 10 октября 1884 г., А. П. Тиханович умер там же от чахотки, 29 декабря того же года, А. И. Немоловский—там же от чахотки, 29 марта 1886 г., Н. Д. Похитонов—в Николаевском госпитале 4 апреля 1897 г., Л. А. Волькенштейн убита во время манифестации в г. Владивостоке, 10 января 1906 г., А. А. Спандони—умер в Одессе 15 октября 1906 г.

XXIIa [1]). Слова о «почти повальном сумасшествии» в Шлиссельбурге, за первые годы его существования (1884—1889) не представляют никакого преувеличения. Примечание, которое тут делает автор, однако, далеко не исчерпывает всех случаев душевных заболеваний. Новейшая литература о Шлиссельбурге, в частности официальные документы, ставшие доступными для исследователей после революции, позволяют на много дополнить список фамилий, приведенный у автора, а отчасти и исправить его. Игнатий Иванов заболел психически еще в равелине. Об этом говорит М. Н. Тригони в воспоминаниях об Алексеевском равелине (см. «Минувшие Годы», 1908, № 4, стр. 65). Из равелина он был увезен в Казань, в психиатрическую лечебницу и оттуда, в октябре 1884 г., как выздоровевший, снова водворен в тюрьму, на этот раз Шлиссельбургскую. Здесь он скоро вторично впал в душевное расстройство. «Игнатий Иванов, привезенный из Казани, как выздоровевший, начал страдать бессонницей, а после меланхолией,—пишет Л. А. Волькенштейн,—и его шаги день и ночь гулко раздавались в камерах соседей» («Тринадцать лет в Шлиссельбурге», изд. «Нов. Мир», с пред. В. И. Засулич, стр. 26). О том же пишет В. С. Панкратов в книге: «Жизнь в Шлиссельбургской крепости» (изд. «Былого», стр. 14). В этой же книге см. официальные документы, в примечаниях Р. М. Кантора, стр. 98, 100. Умер Игнатий Иванов в Шлиссельбурге 21 февраля 1886 г., по официальному отчету «от туберкулеза». Похитонов, о котором говорится затем в примечании у М. Ю. Ашенбреннера, сошел с ума, в сентябре 1895 г. О его сумасшествии см. у В. Н. Фигнер в сб. «Шлиссельбургские узники» (изд. «Задруги», Москва, 1920) и в книге: «Запечатленный Труд», т. II, «Когда часы жизни остановились», стр. 85—94, также у В. С. Панкратова, ук. соч., стр. 63—72. Из Шлиссельбурга Похитонов был увезен в Нико-

---

[1]) Примечания о Шлиссельбурге, начиная с XXIIa и до LIII—составлены Е. К. *Ред.*

лаевский военный госпиталь 5 февраля 1896 г., умер там 4 апреля 1897 г. Но еще раньше не только Похитонова, а и Игнатия Иванова заболел Н. П. Щедрин. Начало его болезни относится тоже к равелину. В Шлиссельбург он был привезен душевно-больным и в течение всего времени пребывания там не поправлялся. Болезнь его прогрессировала с небольшими светлыми промежутками. О болезни Щедрина см. в статьях «Шлиссельбургские материалы», в № 121 «Киевской Мысли» от 4 мая 1912 г., где приведены официальные документы, а также в № 13 «Былого» за 1910 г., заграничное издание. В последнее время официальные документы о Щедрине приведены в больших извлечениях в примечаниях Р. М. Кантора к указанной выше книге В. С. Панкратова, на стр. 119—120. Душевнобольным в Шлиссельбурге и в равелине Щедрин пробыл 16 лет, и лишь в конце 1896 г. был отвезен в Казанскую психиатрическую лечебницу, где и находился еще перед войной 1914 г. Дальнейшая судьба его неизвестна. Точно так же чрезвычайно трагичной была судьба В. П. Конашевича, который, как и Щедрин, был отвезен в конце 1896 г. в Казань, в психиатрическую лечебницу, а заболел первоначально еще в Петропавловской крепости, в 1884 г. В заключении, будучи уже душевнобольным, он провел 12 лет. О нем см. в «Шлиссельбургских Материалах», в № 132 «Киевской Мысли» от 15 мая 1914 г., официальные документы. Историю его болезни по таким же официальным источникам см. у Кантора в примечаниях к В. С. Панкратову. О Конашевиче говорит также Л. А. Волькенштейн в указанной выше книге, стр. 48—49, 66—67. Как и Щедрин, Конашевич был еще жив перед войной 1914 г. Душевно-больным, заболевшим еще в равелине, был Айзик Арончик. О его болезни в равелине см. у Поливанова в книге: «Алексеевский равелин», изд. Распопова, стр. 111. Официальные документы см. в статьях «Шлиссельбургские материалы» в № 121 «Киевской Мысли» от 4 мая 1914 г. и у Кантора в примечаниях к В. С. Панкратову. Умер Арончик 2 апреля 1888 г. в Шлиссельбурге. Так как он кроме того был еще парализован, то несколько лет до самой смерти не сходил с койки. Ювачев, о котором говорит М. Ю. Ашенбреннер в том же примечании, был переведен в Шлиссельбург в октябре 1884 г. и вскоре заболел психическим расстройством, в форме религиозного помешательства. О нем см. у Волькенштейн, указ. соч. стр. 31. Из Шлиссельбурга увезен в 1886 г. Той же формой религиозного помешательства заболел тогда же Григ. Исаев (см. у В. Н. Фигнер «Шлиссельбургские узники», стр. 51—69), умерший от туберкулеза 23 марта 1886 г. Душевно-больным в тот же период был и Тиханович. О его психическом заболевании еще до суда, в Доме Предварительного Заключения, говорит сам М. Ю. Ашенбреннер, в статье о военно-революционной организации «Народной Воли», «Былое», 1906 г., стр. 22—23, кн. VII. В припадке душевной болезни Тиханович покушался несколько раз на самоубийство, но неудачно. Умер 29 декабря 1884 г. от туберкулеза. См. о нем также в книге В. С. Панкратова, прим., стр. 19 и также у Р. М. Кантора. Незадолго до Тихановича покончил самоубийством 5 октября 1884 г. М. Ф. Клименко, повесившись в камере № 26-ой, в которой потом долгое время находилась В. Н. Фигнер. Клименко был душевно болен. Страдали меланхолией в тяжелой форме также Буцевич и Буцинский. Последний галлюцинировал еще в Петропавловской крепости (см. у М. Р. Попова в № 5 «Каторги и Ссылки», в заметке о Буцинском). Грачевский, о котором говорит М. Ю. Ашенбреннер, страдал тяжелой формой нервного расстройства; о начинавшемся психическом заболевании у него есть доклад Шлиссельбургского врача Заркевича, приведенный в примечаниях Р. М. Кантора к В. С. Панкратову, стр. 108—112. О Гинсбург и ее душевном состоянии см. ст. «Шлиссельбургские Материалы», «Киевская Мысль», 1914 г., № 121 от 4 мая 1914 г., и у Б. Николаевского в статье: «С. М. Гинсбург в Шлиссельбургской крепости» в № 15 «Былого» за 1920 г., а также у Р. М. Кантора в примечаниях к В. С. Панкратову (всеподданнейший доклад

Александру III). О душевном состоянии Е. И. Минакова см. статью: «За что расстреляли Е. И. Минакова» в «Киевской Мысли» от 13 июня 1914 г. № 160, официальные документы, также у Б. Николаевского «Скорбные страницы Шлиссельбургской крепости», «Былое», № 13 за 1918 г., также у Р. М. Кантора в примечаниях к В. С. Панкратову. Всеми этими справками еще не исчерпываются случаи душевного расстройства в Шлиссельбурге за годы 1884—1889, о которых говорит в тексте М. Ю. Ашенбреннер. «Частое появление помешательства у содержащихся в тюрьме—статистический факт», писал осенью 1895 г. в одном из своих докладов Шлиссельбургский врач Безроднов. То же было отмечено в докладе о самоубийстве Клименко: «Наклонность к самоубийству весьма часто является последствием психического настроения арестантов, содержащихся поодиночно, при безусловной тишине, в тюрьме и при отсутствии всяких развлечений» (см. у Кантора, стр. 104, 119). Одновременно по § 66 «Инструкции» для Шлиссельбурга, несмотря на наличность постоянных заболеваний в тюрьме, не полагалось отдельной больницы. «Заключенные в случае болезни лечатся в своих камерах», говорится в указанном параграфе. Таким образом все перечисленные выше душевно-больные находились в тюрьме вместе со здоровыми, при чем некоторые из них провели там по 16 и по 12 лет, как Щедрин и Конашевич. Не трудно представить, какая обстановка создавалась благодаря тому и для здоровых! Всеподданнейшие доклады Александру III показывают, что царь обо всем этом прекрасно знал.

XXIII. Минаков был осужден 7 сентября 1884 г., а расстрелян 21 сентября. Мышкин судился 15 января 1885 г., а расстрелян был 26-го января. Оба они были расстреляны на большом дворе цитадели, который отделяется от Новой, народовольческой, тюрьмы высокой стеной. Тем не менее залп при расстреле был хорошо слышен в тюрьме. «Расстреляли чуть не на глазах», пишет Волькенштейн (см. ее книжку «Тринадцать лет в Шлиссельбурге» стр. 24 изд. «Новый Мир»).

XXIV. Ревизором был министр внутренних дел Дурново. Ревизия происходила 26 июня 1889 г. Книгу Кине (или Минье, кого именно в точности не установлено) Дурново увидел у С. А. Иванова. 9 сентября 1889 г. из департамента полиции последовало распоряжение «изъять из тюремной библиотеки некоторые книги, найденные по содержанию своему несоответствующими назначению тюремной библиотеки». Отказ от прогулки и голодовка относятся к концу сентября и началу октября 1889 г. Официальные документы об этом см. в примечаниях Р. М. Кантора к книге В. С. Панкратова о Шлиссельбурге (изд. «Былого», стр. 113 и сл.). В мемуарной литературе см. гл. 9 «Голодовка» в кн. В. Н. Фигнер «Когда часы жизни остановились». О переговорах путем ватерклозетных труб см. у Волькенштейн «Тринадцать лет в Шлиссельбурге», стр. 40 и сл. Эти «телефоны», по словам Волькенштейн, существовали месяцев шесть (стр. 44). Подробнее о них говорит М. В. Новорусский в «Записках Шлиссельбуржца», стр. 76 и сл. Применение этого способа сношений в Шлиссельбурге было сделано М. В. Новорусским и Юрковским. См. также стихи, написанные гекзаметром и принадлежащие Г. А. Лопатину об этих разговорах по трубам, в «Киевской Мысли», № 132 статья «Шлиссельбургские материалы», 1914 г.

XXV. Подробнее о «променадмейстере» см. у М. В. Новорусского, указ. соч., стр. 61 и сл. Первый официальный доклад об устройстве огородов, дошедший до нас, относится к 14 февраля 1886 г. Он носит название: «Донесение на предписание № 387 по предмету устройства огорода для заключенных». Доклад принадлежит коменданту полк. Покрошинскому. На подлинном экземпляре имеется резолюция директора департамента полиции: «Представить его превосходительству г. товарищу министра», т.-е. ген. Оржевскому. В докладе излагается план устройства огородов— «за зданием Новой тюрьмы вдоль крепостной стены, от разъединительной

стенки до лестницы, ведущей на крепостную стену, на пространстве длиною вдоль стены 15 сажен и шириною 6 сажен». Проектировалось тут устроить «шесть двориков так, чтобы в каждом можно было сделать по нескольку грядок». Полк. Покрошинский полагал, что дворики могут быть построены в месячный срок, так, чтобы с весны можно было открыть занятия заключенных работами на огородах. Замечательна резолюция на этом докладе ген. Оржевского. В ней говорится: «Разрешаю, при условии строжайшего надзора и в виде награды за примерное во всех отношениях поведение и с тем, чтобы при малейшем нарушении тюремной дисциплины и установленного порядка одним, прекратить немедленно для всех эту льготу; о чем и следует предварить всех допускаемых к работе в огороде». К этому было добавлено рукою директора департамента полиции Дурново (П. Н.): «Исполнить резолюцию г. товарища министра». См. этот доклад полк. Покрошинского в Деле № 10 Штаба Отд. корп. жанд. по донесениям Шлиссельбургского управления. Начато 24 августа 1884 г., кончено 23 декабря 1886 г. На 97 листах.

XXVI. Кроме этой яблони есть еще другая яблоня на большом дворе цитадели, посаженная также М. Ф. Фроленко. Она существует до сих пор. На этом большом дворе цитадели происходили обыкновенно казни; тут были расстреляны Минаков и Мышкин, тут же были повешены Штромберг и Рогачев, а также деятели «второго первого марта»: покушение на Александра III в день 1 марта 1887 г. По этому делу привлекались и были приговорены к смертной казни Андреюшкин, Генералов, Осипанов, А. И. Ульянов, Шевырев, которые и были казнены 8 мая 1887 г. «Впоследствии, когда весь этот двор мы превратили,—говорит М. В. Новорусский,—в культурный вид и заняли всю площадь его под садовые и огородные насаждения, мы узнали, что эшафот стоял как раз на том месте, где трудами М. Ф. Фроленко были посажены яблони и где они стоят, быть может, и до сего дня». Эти строки были написаны в 1906 г., когда «записки» М. В. Новорусского печатались в «Былом». Позже, в отдельном издании этой книги, М. В. Новорусский внес сюда примечание: «В январе 1919 г. одна весьма разросшаяся яблоня еще стояла здесь в целости». Стояла она в целости еще и осенью 1923 г. Так что до сих пор она является живым памятником того места, где стояла виселица казненных 8 мая 1887 года.

XXVII. О д-ре Н. С. Безроднове и коменданте Гангардте см. также у М. В. Новорусского «Записки шлиссельбуржца, стр. 138 и сл., и у В. Н. Фигнер «Когда часы жизни остановились», стр. 80—85. Более сдержанный отзыв о Гангардте см. у М. Р. Попова в ст. «Мечты о свободе», «Гол. Мин.», 1917 г., №№ 7—8.

XXVIII. См. об этом у М. Р. Попова в статье о Л. А. Волькенштейн, «Голос Минувшего», 1918 г., кн. IV—VI. Там приведен очень яркий пример борьбы такими приемами со стороны «Ирода»—Соколова с Панкратовым в старой тюрьме. Вообще вся эта статья дает богатый материал для характеристики отношений шлиссельбургской администрации к заключенным.

XXIX. Склад смирительных рубашек в Новой тюрьме находился внизу, в камере, где была ванная, в 1 этаже. Рядом с ванной, в камере № 15, долгое время сидел Н. А. Морозов. Смирительные рубашки в тюрьме применялись довольно часто. Когда надевали их, то заключенных обычно избивали.

Инцидент с К. Ф. Мартыновым подробно освещен в официальных документах и в воспоминаниях шлиссельбуржцев. Об этом см., например, у В. Н. Фигнер в кн. «Когда часы жизни остановились», стр. 109—110. «Мартынов лазил на окно своей камеры, чтобы бросить взгляд на гуляющих в огородах. Случилось однажды, что Федоров (смотритель) три раза подряд поймал его. Когда он в третий раз остановил его и стал делать выговор, Мартынов плюнул ему в лицо»,—так рассказывает об этом инциденте В. Н. Фигнер. Приблизительно так же передается этот инцидент в официальных документах. Ему посвящен рапорт полк. Покрошинского, за № 18 от 20 мая 1888 г., озаглавленный: «О буйстве арестанта № 17 камеры 38-ой». В рапорте,

направленном Покрошинским в корпус жандармов, говорится: «Сего дня при раздаче обеда арестант № 17 камеры 38-й нанес оскорбление ротм. Федорову, плюнув ему в лицо и назвав его громко мерзавцем. Ротмистр Федоров полагает, что причиной, побудившей арестанта № 17 нанести ему это оскорбление, послужило наложенное им на упомянутого арестанта взыскание, а именно: лишение прогулки на одинь день за неисполнение неоднократно отдаваемых ему приказаний не лазить на подоконник и не смотреть в фортку. Означенный арестант пояснил условным разговором соседнему арестанту № 10 (это был Юрковский) камеры 39-й, что он намеревался пустить ротм. Федорову в лицо чашку с горячими щами». Из штаба отд. корп. жанд. было предписано в ответ на этот рапорт подвергнуть Мартынова в старой тюрьме содержанию в темном карцере на хлебе и воде в течение 8 суток, с наложением оков (§ 57 инструкции), и сверх того лишить на 3 месяца прогулок и всех облегчений, указанных в § 42 инструкции (предписание от 22 мая 1888 г., за № 59). Из других документов видно, что в связи с поступком Мартынова в департаменте поднимался вопрос о применении к нему высшей дисциплинарной меры, предусмотренной § 6 «Инструкции», развешанной в камерах, т.-е. наказания розгами. Однако, этот вопрос там, повидимому, серьезному обсуждению не подвергался. С другой стороны; В. Н. Фигнер в указанной выше книге передает еще такую подробность: «Суда над Мартыновым (как того ждали заключенные) не было, и у нас это объясняли тем, что Лопатин послал в департамент полиции обширную докладную записку, в которой ссылался на болезненное состояние, в которое повременам впадает Мартынов и будто бы чуть не доходит до припадков эпилепсии» («Часы жизни», стр. 110). Оскорбление, нанесенное Мартыновым смотрителю, произошло после самосожжения Грачевского, когда режим в тюрьме начал смягчаться, и уже не было Соколова—«Ирода», которого и сменил Федоров. Иначе Мартынов, вероятнее всего, не избежал бы суда. Из Шлиссельбурга Мартынов был освобожден в 1896 г. и сослан в Якутскую область. Там он в начале 1900-х г.г. застрелился. Это показывает, что в Шлиссельбурге его душевная жизнь действительно была надломлена, и Г. А. Лопатин был, очевидно, прав в своей записке, поданной им в департамент по делу Мартынова. § 58 «Инструкции начальнику Шлиссельбургского жандармского управления по управлению Шлиссельбургской тюрьмою», утвержденной 4 августа 1884 г. ген. Оржевским, гласил: «Когда проступки сопровождались особенными обстоятельствами, увеличивающими вину, то нарушители могут быть наказаны розгами до 50 ударов (225 ст. XVII кн. св. военн. постан.)». По точному смыслу этого § он вполне мог быть применен к вышеописанному поступку Мартынова, но сделать это в департаменте не решились, несмотря, быть может, на все желание. Та же «Инструкция», но в кратком виде, была вывешена в камерах заключенных. Здесь § 58 был воспроизведен полностью под видом § 6-го.

XXX. О Тихановиче см. выше, примеч. XXII. Как там сказано, Тиханович неоднократно покушался на самоубийство, но неудачно. Умер он душевно-больным, от чахотки, 29 декабря 1884 г. Грачевский покончил с собою в старой тюрьме в камере № 9 через самосожжение 26 октября 1887 г. Об этом см. у В. Н. Фигнер «Когда часы жизни остановились», гл. 7-я и у М. Р. Попова в статье о Л. А. Волькенштейн в «Голос Мин.» 1918 г., № 4—6. Официальные документы о самоубийстве Грачевского, в том числе всеподданнейшие доклады, см. у Р. М. Кантора в примеч. к книге В. С. Панкратова о Шлиссельбурге (изд. «Былого»). Александру III неоднократно докладывалось о начинавшейся у Грачевского психической болезни, но он продолжал держать его в той же тюрьме. Самоубийство Софьи Гинсбург произошло 7 января 1891 г. О ней см. воспомининия П. Л. Лаврова в «Гол. Минувш.», 1917 г., кн. VII—VIII. Официальные документы о ее самоубийстве см. в статье Б. Николаевского: «Гинсбург в Шлиссельбурге». «Былое», 1919 г., кн. 15-я, и в статьях «Шлиссельбургские материалы» в «Киевской

Мысли» от 5 мая 1914 г. Всеподданнейший доклад о ее самоубийстве см. у Кантора в примеч. к Панкратову (стр. 125—126). О попытках Похитонова к самоубийству см. у В. Н. Фигнер «Когда часы жизни остановились» гл. 12 и в кн. «Шлиссельбургские узники», стр. 129—151.—Мих. Юл. не упоминает еще о самоубийстве Михаила Филимоновича Клименко—он повесился в Шлиссельбурге 4 октября 1884 г.

XXXI. Коменданты Шлиссельбурга служили в такой последовательности: с 1884 по 1889 полк. Покрошинский, в 1889—90 г.г. полк. Добродеев (пробыл всего полгода), в 1890—1891 г.г. полк. Коренев, с 1891 по 1897 полк. Гангардт, с 1897 по 1902 полк. Обухов, с 1902 по 1906 полк. Яковлев. Последний из комендантов, Яковлев, начал свою службу еще в равелине и всю жизнь провел или в равелине, или в Шлиссельбурге, или около Шлиссельбурга. О сумасшествии Покрошинского см. также любопытные данные в заметке П. С. Поливанова в кн. IV «Былого» за 1907 г. «В 1888 г. он стал пить запоем,—рассказывает Поливанов о Покрошинском,—и его постоянно преследовала мысль, что его убьют за совершавшиеся в Шлиссельбурге жестокости. Однажды он залез на стену и, увидев на озере какого-то рыбака, поднял страшную тревогу. Он был охвачен паническим ужасом и стал говорить, что это едут социалисты, что они взорвут крепость и убьют его, Покрошинского», и пр. (см. указ. ст., стр. 164-ая). О сумасшествии Покрошинского говорят почти все мемуаристы Шлиссельбурга (Фигнер, Янович, Волькенштейн и др.). Относительно других комендантов любопытно отметить, что полк. Добродеев был тем самым шт.-кап. Добродеевым, который 31 января 1878 г. в Одессе, на Садовой ул., в доме Каплуновского, арестовал И. М. Ковальского и его товарищей, оказавших при этом аресте вооруженное сопротивление. См. об этом в воспоминаниях Н. А. Виташевского: «Первое вооруженное сопротивление—первый военный суд». «Былое», 1906 г., кн. 1-я.

«Оскорбление действием», о котором тут говорит М. Ю. Ашенбреннер, было нанесено ротм. Гузю Верой Николаевной Фигнер: она сорвала с него погоны. По официальным данным это произошло в самом начале марта 1902 г. Подробный рассказ об этом см. у самой В. Н. Фигнер, «Когда часы жизни остановились», главы: «Погоны», «Под угрозой», «Казнь». Это один из наиболее драматических эпизодов шлиссельбургской жизни, и самый драматический во втором ее периоде. Поступок В. Н. Фигнер вызвал ревизию из Петрограда. Ревизором был назначен полк. Каиров, представивший обширный и очень интересный доклад в департамент полиции о результатах своей ревизии. Доклад этот до сих пор не опубликован. Свою ревизию полк. Каиров производил, как видно из его доклада, 7 и 8 марта 1902 г.

XXXII. Биографию М. Ф. Лаговского см. в «Галлерее Шлиссельбургских узников», т. I. Хотя по положению о Шлиссельбургской тюрьме в нее заключались только осужденные по суду и обычно на долгие сроки, тем не менее, по распоряжению Александра III, Лаговский был заключен в Шлиссельбург, в административном порядке, на 5 лет. В Шлиссельбург он был привезен 10 октября 1885 г., и в 1890 г. истекал срок его пребывания в тюрьме. К этому моменту и относится посещение тюрьмы ген. Оржевским. В тюрьме Лаговский отличался «дурным поведением». Он был долгое время лишен, например, прогулки вдвоем с кем-либо из других заключенных. В «Списке арестантов, не пользующихся правом прогулок вдвоем», о нем есть отметка: «беспокойного и дерзкого характера», объясняющая почему он лишен парной прогулки. В чем выражалась у Лаговского дерзость и беспокойный характер дает представление рапорт Покрошинского за № 35, от 14 августа 1888 г.: «О буйстве арестанта № 21 (Арестант № 21—М. Ф. Лаговский). Из рапорта видно, что «арестант № 21, находясь в своей камере, влезал на подоконник, вероятно, с целью посмотреть на выведенных в то время на прогулку других арестантов», за что был лишен прогулки. Вслед за тем упомянутый арестант опять стал взлезать на подоконник», вследствие

чего был переведен в здание старой тюрьмы. Там он стал «буйствовать, а именно: ломал железную крышку от ватерклозета, разбил несколько стекол в окне камеры, и когда на него надевали смирительную рубаху, то он обругал ротм. Федорова, назвав его «сволочью». Штаб корпуса в ответ на этот рапорт сделал внушение Покрошинскому за неуменье поддерживать на должной высоте тюремную дисциплину, несмотря на многократные приказания быть в этом отношении неумолимым. Штаб ставил на вид Покрошинскому, что относительно Лаговского он тоже «ограничился полумерой взыскания» и вновь подтверждал необходимость—«принять все меры к возможно строгому соблюдению заключенными правил тюремной дисциплины». При этом Покрошинскому предписывалось «виновных в нарушении таковых (правил) подвергать наказанию соответственно поступку каждого, без всяких послаблений» (предписание от 19 августа 1888 г., за № 35). Как наказание за дурное поведение Лаговскому и прибавили по высочайшему распоряжению 5 лет пребывания в Шлиссельбурге. Освобожден он был оттуда только в 1895 г., 10-го октября. Умер 29 мая 1903 г., утонув во время купанья в реке Хопре.

XXXIII. Стихотворение М. Ф. Фроленко, о котором тут говорит М. Ю. Ашенбреннер, тепер напечатано в статье В. Н. Фигнер о Фроленко (сб. «Шлиссельбургские узники», стр. 210). Оно начинается словами:

В камере грязной, сырой и холодной
Летом хоть солнце порой веселит:
Греет приветливо,
Светит так весело,
С лаской в окошко глядит.
Греясь в окошке и сидя на солнышке,
Меньше тоскует бедняга-душа:
Холоду, сырости больше не слышит...
Время скорее бежит.
В осень ненастную, в зиму холодную
Прячется солнышко... Где-то оно?
Холоду лютого, дня ли короткого
Точно боится оно.

и т. д.

XXXIV. Роман Юрковского, написанный им в Шлиссельбурге, но неоконченный, называется: «Булгаков». Он напечатан теперь в сборнике «Под сводами» (сборник повестей, стихотворений и воспоминаний, написанных заключенными в старой Шлиссельбургской крепости. Составлен Николаем Морозовым. Изд. кн. маг. «Звено», Москва, 1909 г.). Роман «Булгаков» (из эпохи 70-х г.г.) напечатан на стр. 97—175. Это, действительно, яркое и талантливое произведение, с несомненным большим автобиографическим элементом. Оно захватывает эпоху «хождения в народ», приблизительно годы 1874—1875-е, описывая одну из тогдашних «коммун», вроде известной «киевской коммуны».

XXXV. Об этом см. также у самого Н. А. Морозова: «Письма из Шлиссельбургской крепости» (СПБ 1910), стр. 242—244. Речь тут, как и у М. Ю. Ашенбреннера, идет о рассказе Н. А. Морозова: «Эры жизни», позже, в 1907 г., напечатанном в журнале «Современный Мир».

XXXVI. И. Д. Лукашевич привлекался по процессу «второго первого марта», в 1887 г., был приговорен к смертной казни, замененной ему бессрочным тюремным заключением. Он так же, как и его сопроцессник, М. В. Новорусский, был в Шлиссельбурге первым марксистом. Стародворский, приговоренный по процессу Лопатина, за убийство Судейкина тоже к смертной казни, замененной бессрочным заключением, напротив, отстаивал ультра-народническую точку зрения.

XXXVII. О работе Н. А. Морозова: «Строение вещества» см. подробнее в вышеуказанных «Письмах из Шлиссельбургской крепости», стр. 78—80, 140—141, 156—157, 176—178, 181, 186—195, 198, 210—218 и др. О работах И. Д. Лукашевича см. также у В. Н. Фигнер, сб. «Шлиссельбургские узники», гл. о Лукашевиче. Ср. также и главу о Н. А. Морозове.

XXXVIII. О мастерских, огородах, цветоводстве, увлечении ремеслами и пр. см. подробнее у М. В. Новорусского: «Записки Шлиссельбуржца», Гос. изд. 1920 г., в особенности гл. IV и V, «Расцвет хозяйственной и общественной деятельности» и «Исключительный эпизод». Книга М. В. Новорусского дает полное представление об этой стороне жизни в Шлиссельбурге, даже несколько односторонне сосредоточивая на ней внимание читателя. «Я приехал в тюрьму тогда,—говорит автор,—когда наиболее острый, так сказать, террористический период борьбы уже закончился и перешел в более мирный, о котором я и могу говорить только с точностью» (стр. 197). Этому периоду и посвящена книга М. В. Новорусского.

XXXIX. Самосожжению Грачевского посвящена В. Н. Фигнер особая глава в книге: «Шлиссельбургские узники», стр. 69—91, воспроизведенная также в ее записках: «Когда часы жизни остановились», стр. 46—56. Официальные документы о самоубийстве Грачевского см. у Р. М. Кантора в примечаниях в книге В. С. Панкратова. Там же всеподданнейший доклад. См. «Жизнь в Шлиссельбургской крепости», стр. 108—112. Самосожжение Грачевского произошло в старой тюрьме, в камере № 9 (по словам Л. А. Волькенштейн, см. ее «Записки», изд. «Нов. М.», стр. 35),—26 октября 1887 г. Это один из самых трагических эпизодов в Шлиссельбурге за все время его существования. В своей книге В. Н. Фигнер называет Грачевского «горящим факелом Шлиссельбурга», осветившим весь ужас установленного там режима.

XL. Шлиссельбургская тюрьма была открыта 2—4 августа 1884 г. В эти дни в нее были привезены заключенные из Алексеевского равелина и Трубецкого Бастиона Петропавловской крепости в количестве 21 человека. Тут были и бывшие «централисты» (Мышкин, Малавский, Долгушин), и бывшие карийцы (Попов, Минаков, Буцинский, Щедрин, Геллис, Кобылянский, Юрковский; карийцами были также все трое централистов), и равелинцы, участники процессов 20-ти и 17. Некоторые из числа заключенных, привезенных во вновь открытый Шлиссельбург, имели за собой по 10—11 (Долгушин), по 7—8 (Мышкин) и 6—7 (Минаков, Малавский) лет предыдущего пребывания в каторжных тюрьмах. И никто из привезенных не имел менее 2—3 лет тюремного стажа. Почти все первые заключенные находились в таких условиях в равелине и Трубецком бастионе, что прибыли в Шлиссельбург тяжело больными. Смертность в Шлиссельбурге за первые годы (1884—1889) доходила до максимальной степени: из всех 21 привезенных при открытии тюрьмы, в первые три—четыре года умерло от разных болезней, покончило с собой самоубийством, или довело себя до смертной казни путем оскорбления должностных лиц (Минаков, Мышкин),—всего 17 человек. Только четверо вынесли этот режим: Морозов, Тригони, Фроленко, Попов,—остальные погибли. Но ни один из них не сделал при этом ни одного жеста, который администрация могла бы истолковать, как просьбу о пощаде и помиловании. Все они предпочитали лучше умереть, чем стать отступниками, изменившими революционным заветам. Так что слова М. Ю. Ашенбреннера в тексте: «нас можно было убить, но не согнуть», точно соответствуют тому положению дел, какое было в Шлиссельбурге.

XLI. Горемыкин посетил Шлиссельбург летом 1896 г. После его ревизии были увезены в Казань в психиатрическую лечебницу двое душевно-больных: Конашевич и Щедрин. Щедрин пробыл в тюрьме душевно-больным 16 лет, а Конашевич не менее 12 лет. Распоряжение об увозе их из Шлиссельбурга (о чем безуспешно много раз поднимала вопрос шлиссельбургская администрация) Горемыкин сделал только потому, что лично на себе убедился, что означало пребывание в тюрьме душевно-больных наряду со здоровыми,

и как это должно было отражаться не только на заключенных, но и на чинах тюремного надзора. Вероятно, последнее обстоятельство и побудило его наконец-то убрать из тюрьмы и Щедрина и Конашевича, двух буйно помешанных, далеко не безопасных для администрации в моменты находивших на них припадков. Если бы не это посещение Горемыкина и не случайность, заключавшаяся в том, что ему пришлось пробыть с Конашевичем не менее четверти часа в одной камере, хотя и в сопровождении чинов тюремного надзора, и если бы не заботы Горемыкина об интересах администрации, то, вероятнее всего, оба душевно-больные, и Конашевич и Щедрин, оставались бы еще неопределенно-долгое время в том же положении. Замечательно также, что Александр III и Николай II оба знали прекрасно о болезни Щедрина и Конашевича из всеподданнейших докладов, представлявшихся им министрами вн. дел. См. об этих всеподданнейших докладах у Р. М. Кантора в примечаниях к Панкратову, стр. 99—100, 119—120. О посещении Горемыкиным Шлиссельбурга см. тоже у Панкратова, стр. 72—73, у Л. А. Волькенштейн «тринадцать лет в Шлиссельбурге», изд. «Нов. Мира», стр. 67, у В. Н. Фигнер «Часы жизни», стр. 153, а также в «Шлисс. Мат.», гл. «Сановники-посетители», «Киевская Мысль», № 148 от 4 июня 1914 г.

XLII. «Подвижной музей учебных пособий» представлял чрезвычайно интересную культурно-просветительную организацию конца 1890-х г.г. Но М. Ю. Ашенбреннер ошибается, приурочивая его деятельность к Соляному Городку. Это было совершено самостоятельное учреждение, созданное по частной инициативе. Во главе музея стояла М. И. Страхова, с которой и вел сношения д-р Безродный, приезжая по определенным дням в Петербург. Кроме М. И. Страховой к Музею очень близко стояла Е. Д. Стасова, впоследствии крупная деятельница РСДРП фракции большевиков, а в последнее время одна из самых ответственных работниц РКП в Петербурге. Столь же близкое участие принимал энтомолог Якобсон, коллекции которого, вероятно, неоднократно разбирались шлиссельбуржцами. Кружок, работавший в Музее, открыл свои работы в середине 1890-х в очень скромных размерах, но его деятельность стала быстро разрастаться. В 1896 г., когда у Музея начались сношения с Шлиссельбургом через д-ра Безроднова, Музей помещался на Подъяческой ул. в том же доме, где была известная в то время в Петербурге библиотека Н. А. Рубакина, который и сам был причастен к работе Музея. В виду этого близкого соседства с библиотекой Музей стал называться, как и библиотека, «Рубакинским». В жизни Шлиссельбуржцев этот—«Рубакинский» Музей (название это не соответствовало той роли, которую там играл Н. А. Рубакин, но привилось в виду популярности имени этого общественного деятеля того времени) приобрел в конце 1890-х г.г. огромное значение. «Об этом подробно рассказывает М. В. Новорусский в «Записках Шлиссельбуржца» (см. гл. V «Исключительный эпизод») и В. Н. Фигнер в «Часах жизни», гл. XV, стр. 119—126.

Что касается журналов, которые в то время (1896 г. и следующие) передавал из Музея в шлиссельбургскую тюрьму д-р Безродный, то они издавались под редакцией следующих лиц: «Русское Богатство»—под ред. Н. К. Михайловского и В. Г. Короленко; «Мир Божий» под редакцией А. И. Богдановича; «Вестник Европы» под редакцией К. К. Арсеньева, Л. З. Слонимского и Вл. С. Соловьева; «Жизнь» под редакцией В. А. Поссе; «Новое Слово» под редакцией П. Б. Струве и М. И. Туган-Барановского. Последний журнал, т.-е. «Жизнь», стал выходить уже после закрытия «Нового Слова» (ноябрь 1897 г.). Одно время параллельно «Жизни» выходил журнал «Начало» (1898—1899 г.г.), но в апреле 1899 г. он был уже закрыт. Из этих журналов «Русское Богатство» представляло народническое течение, а «Новое Слово» и «Начало»—чисто марксистское. «Жизнь» стояла на умеренно марксистской позиции с реформистским оттенком. Между «Русским

Богатством» и «Новым Словом», а позже «Началом», шла усиленная полемика. К марксистам «Новое Слово» перешло в марте 1897 г., а перед тем оно находилось в руках народников (Кривенко, В. В. Воронцов и др., разошедшиеся с Михайловским и ушедшие из «Русского Богатства»; это правая часть тогдашнего народничества). С марта по ноябрь «Новое Слово» находилось в руках марксистов. Это был боевой марксистский орган, очень ярко выражавший свое направление. Он сыграл роль в борьбе с народниками. Ср. слова В. Н. Фигнер в ее книге: «Когда часы жизни остановились»:—«Зимой 1895—96 г.г. Гангардт передал в переплетную журнал «Новое Слово». «Новое Слово!»—восклицает В. Н. Фигнер.—Мы не слыхали их за весь период, который прошел с тех пор, как 15 лет тому назад мы постепенно стали выходить из жизни, и последние, кто в 1887 и 1888 году пришел к нам, никаких новых слов нам не принесли. А теперь со страниц журнала целая лавина их обрушилась на наши головы и возмутила нашу застывшую жизнь» и пр. Эти слова показывают, какое впечатление произвел на шлиссельбуржцев новый журнал, но они требуют поправок в некоторых деталях. Как только что сказано, «Новое Слово», под редакцией П. Б. Струве и др. тогдашних марксистов, стало выходить с марта 1897 г., стало быть то, о чем (как уже упомянуто у нас в прим.) пишет В. Н. Фигнер, было позже зимы 1895—1896 г.г. Затем не совсем точно, что те, кто приходил в тюрьму в 1887 и 1888 г.г., не приносили никаких «новых слов». В 1887 г. пришел в Шлиссельбург И. Д. Лукашевич, который считал уже себя марксистом. Он, а потом и М. В. Новорусский, были первые марксисты в Шлиссельбурге, о чем пишет дальше сама В. Н. Фигнер, правда, не совсем того типа, как позднейшие, выразителем которых стало «Новое Слово», но все-таки марксисты. Вообще вся та группа, к которой они принадлежали, хотя она и называлась «Террористической фракцией «Народной Воли», но уже в программных вопросах склонялась к социал-демократическому мировоззрению (ср. у А. С. Полякова в ст. «Второе 1 марта», «Гол. Мин.», 1918 г., № 10—12). Но за исключением этих деталей цитата из книги В. Н. Фигнер очень ярко передает то впечатление, которое должно было произвести на шлиссельбуржцев появление в их тюрьме чисто марксистских органов конца 1890-х г.г.

XLIII. Серг. Андр. Иванов был занесен в арестантских списках Шлиссельбургской тюрьмы под № 28. О состоянии здоровья его находим в санитарных отчетах такие сведения: за март 1890 г. говорится, что «у арестанта № 28 замечено после бывшего кровохарканья и катарального состояния легких начинающееся хроническое воспаление легких, хотя в настоящее время здоровье его удовлетворительное». Однако, в отчете за август месяц снова говорится: «Общее состояние здоровья арестантов в течение месяца было удовлетворительное за исключением арестанта № 28, у которого на почве легочного процесса, сопровождающегося кровохарканьем, присоединилось воспаление плевры с обильным выпотом, арестант исхудал и крайне ослабел физически. Настоящее осложнение, по всем вероятиям, приведет к летальному исходу». Последнего, к счастью, не случилось, но в том же году в декабре месяце в сан. отчете опять отмечается, что у арестанта № 28 ночью 16 ноября появилось кровотечение горлом и продолжалось несколько дней. Все эти справки из официальных отчетов шлиссельбургских врачей показывают, в каком состоянии находилось в то время здоровье С. А. Иванова. Приблизительно в таком же положении находился и Н. А. Морозов, болевший, кроме того, еще и цынгой. Об этом см. в его «Письмах из Шлиссельбургской крепости», стр. 41—42 и др. О Фроленко пишет В. Н. Фигнер в кн. «Шлиссельбургские узники»: «Более, чем кто-либо иной, испытал он на себе страшные последствия заключения в этих казематах. Он страдал цынгой, ревматизмом и чем-то вроде остеомиэлита, так что долгое время не владел рукой и был совершенно глух,—и, кажется, ни одна система органов не осталась у него не пораженной каким-нибудь

недугом» (стр. 207). Все это пишет В. Н. Фигнер о пребывании Фроленко в Алексеевском равелине, но в таком же состоянии он находился первые годы и в Шлиссельбурге, и М. Ю. Ашенбреннер это и имеет в виду, говоря о Фроленко, что он прибыл в Шлиссельбург из равелина—«еле живым».

XLIV. В официальном «Списке Арестантов Шлиссельбургской тюрьмы от 5 сентября 1902 г. мы находим следующие фамилии: Михаил Фроленко, Петр Карпович, Николай Морозов, Михаил Попов, Петр Поливанов, Вера Фигнер, Василий Иванов, Михаил Ашенбреннер, Михаил Новорусский, Иосиф Лукашевич, Сергей Иванов, Николай Стародворский, Петр Антонов и (в старой тюрьме) Никита Чепегин. Чепегин и Карпович были уже людьми нового поколения. Остальные 13 и есть те, о которых в данном случае говорит М. Ю. Ашенбреннер.

XLV. О том, как стали получаться табачные семена, рассказывает М. В. Новорусский в «Записках Шлиссельбуржца». На стр. 67 он говорит: «Выписывая семена, Лукашевич с самого начала стал обозначать их латинскими названиями. Чуть ли не в первый год он, по желанию курильщиков, записал Nicotiana Tabacum, и семена табака, по неведению администрации, были спокойно переданы в наши руки, затем выращены на парниках, рассада высажена на грядку, а, когда к осени развились настоящие листья, они были собраны, заморены и высушены. Все это было проделано на глазах жандармов, ничего не подозревавших до тех пор, пока всюду не запахло табачным дымом».

XLVI. Людм. Ал. Волькенштейн (1857—1906) арестована была 26 октября 1883 года, в Шлиссельбург доставлена 12 октября 1884 г., освобождена в 1896 г., всего провела в тюрьме 13 лет. О ней см. дальше статью М. Ю. Ашенбреннера. Манучаров в Шлиссельбург был доставлен в 1886 году (арестован раньше, в 1884 году), из Шлиссельбурга увезен в 1896 г. на Сахалин, умер в 1909 г. Пробыл в Шлиссельбурге 10 лет, а всего в тюрьме 12 лет. Н. А. Мартынов, арестован в 1884 г., в том же году привезен в Шлиссельбург, пробыл там 12 лет. В начале 1900-х г.г. в Якутске покончил самоубийством. М. П. Шебалин, арестован 4 марта 1884 г., в том же году доставлен в Шлиссельбург, через 12 лет освобожден. В настоящее время находится в Москве, заведует музеем имени П. А. Кропоткина. Д. Я. Суровцев, арестован в 1882 г., в Шлиссельбурге пробыл с октября 1884 г. по 1896 г., всего 14 лет со дня ареста. В настоящее время живет в г. Тотьме. Л. Ф. Янович, арестован летом 1884 г., в Шлиссельбурге с 1886 по 1896 г. Всего в тюрьме провел 14 лет. Застрелился в Якутске 17 мая 1902 г. В. С. Панкратов, арестован в марте 1884 г., в Шлиссельбурге с декабря того же года по 1898 г. Всего 14 лет. В настоящее время находится в Петрограде. П. С. Поливанов из Шлиссельбурга вышел 23 сентября 1902 г., после 20-ти летнего тюремного заключения. Застрелился заграницей 17 августа 1903 г. Н. П. Стародворский вышел из тюрьмы в 1905 г. Умер в Париже уже после 1917 г. О нем см. в «Записках социал-демократа» Ю. Мартова, т. I, изд. Гржебина.

XLVII. Книга Риля «Теория науки и метафизика» вышла в начале 1890-х г.г., в переводе, действительно изобиловавшем «дикими терминами», как пишет М. Ю. Ашенбреннер. «Основания социологии» Гиддингса появились в русском переводе в 1897 г. Книга Арнольди (псевдоним П. Л. Лаврова) «Задачи понимания истории» вышла в издании М. М. Ковалевского в 1898 г. Книга Штамлера «Наука и народное хозяйство» в 1899 г. Все эти книги в конце 1890-х г.г. привлекали большое внимание революционной интеллигенции. О сторонниках Энгельса и Каутского в Шлиссельбурге см. выше примечание XLII, а также ср. у В. Н. Фигнер стр. 159—160 книги «Когда часы жизни остановились». Остальные авторы, перечисленные М. Ю. Ашенбреннером, выступили тоже в конце 1890 - х г.г. Первые статьи Чернова относятся к 1897—1898 г.г. (в «Русском Богатстве» и в «Вопросах философии и психологии»); книга Струве «Критические заметки по вопросу об эко-

номическом развитии России», сыгравшая у нас такую крупную роль в истории марксизма, вышла в 1894 г.; книга Бельтова (Плеханова) «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю»—в 1895 г.; первые работы Ильина (под псевдонимом «Тулина») относятся к 1894—1895 г.г., но М. Ю. Ашенбреннер имеет в виду не их (они выходили нелегально или бывали конфискованы и не получали распространения), а, вероятно, книгу его «Развитие капитализма в России», вышедшую в 1898 г. «Промышленные кризисы» Туган-Барановского появились в 1894 г., и т. д. К средине 1890-х г.г. относятся также выступление Горького и Вересаева. Оба они в то время обратили на себя всеобщее внимание первыми крупными своими рассказами, появившимися в «Русском Богатстве», повестью «Без дороги»—В. Вересаева (в 1895 г) и рассказом «Челкаш»—Максима Горького в 1896 г. Короленко и Чехов появились раньше, еще в средине 1880-х г.г.

XLVIII. Тригони, Мих. Ник., был арестован 27 февраля 1881 г. (у него в меблированных комнатах арестовали также Желябова), освобожден же был из Шлиссельбурга 9 февраля 1902 г., пробыв, таким образом, в тюрьме или, вернее, в тюрьмах (Петропавловская крепость, Алексеевский равелин, Шлиссельбург) 21 год. Тригони умер в Балаклаве 5 июля 1917 года. Его биографию см. у В. Н. Фигнер в сб. «Шлиссельбургские узники». О Поливанове и Панкратове см. выше, примеч. XLVI. Список заключенных в Шлиссельбурге в 1902 г. приведен также выше, в примеч. XLIV. О самоубийстве Гинсбург см. в примеч. Р. М. Кантора к книге В. С. Панкратова, там же указана литература о ней. Гинсбург покончила с собой 7 января 1891 г., днем в 3 часа, что было тотчас же замечено дежурившими жандармами, так что те подробности, которые сообщает в тексте М. Ю. Ашенбреннер, не точны. См. о ее самоубийстве также «Шлиссельбургские материалы» в № 121, «Киевской Мысли» от 4 мая 1914 г. Что касается П. В. Карповича, то он прибыл в Шлиссельбург 30 апреля 1901 г. О нем см. статью В. Н. Фигнер в сб. «Шлиссельбургские узники».

XLIX. «Новыми пленниками» были Качура и Чепегин, помещенные в старой тюрьме.—Чепегин, Никита Козьмич, по ремеслу столяр, покушался в Киеве 12 мая 1902 г. на жизнь отставного генерала Вейса, не игравшего никакой политической роли. Сам Чепегин никаких сношений с революционными партиями не имел. По характеру, его покушение было близко к так называвшемуся несколько позже «безмотивному» террору анархистов. Чепегина приговорили к каторжным работам на 20 лет. В Шлиссельбурге он появляется 19 августа 1902 г. Там он вскоре сошел с ума. Старые шлиссельбуржцы с ним не встречались. О другом вновь привезенном тогда пленнике, о Качуре, см. у Г. А. Гершуни: «Из недавнего прошлого».

L. Обстоятельства казни С. В. Балмашева изложены у М. Ю. Ашенбреннера не точно. Известие о смерти Сипягина пришло в Шлиссельбург уже после казни Балмашева. В видах конспирации говорилось тогда, что обрывок газеты с этим известием занесло ветром. На самом деле этот обрывок был передан в камеру Н. А. Морозова одним из солдат нестроевой роты, который завернул в него пару яиц, обычно приносившихся Морозову с кухни. Антонов заметил, еще с раннего утра 3 мая, что в тюрьме что-то готовится, и стал наблюдать из своего окна, из № 40, за двором. Он видел, как привезли Балмашева, но не знал, кто это. Подробности обо всем этом см. в мемуарах В. Н. Фигнер в кн. «Когда часы жизни остановились», гл. «Казнь», и у М. Р. Попова в ст. «Мечты о свободе», в «Гол. Мин. за 1917 г.», кн. IV—VI. Обе эти работы дают необходимые дополнения и поправки к рассказу М. Ю. Ашенбреннера.

К стр. 150—Не Сазонова, а Н. К. Чепегина.—О Чепегине см. выше.

LI. История с письмом М. Р. Попова и с оскорблением, нанесенным В. Н. Фигнер смотрителю Гузю, теперь подробно изложены в их мемуарах. См. у В. Н. Фигнер книгу. «Когда часы жизни остановились», главы 24—27-я. У М. Р. Попова см. статью «Мечты о свободе» в «Гол. Минувш.» за

1917 г. кн. 7—8. Фамилия солдата, о котором рассказывает М. Ю. Ашенбреннер,—Рыбальченко. Он сам предложил Попову послать письмо. Ревизором, приезжавшим из Петербурга, был полк. Каиров. Его ревизия, как это уже было упомянуто выше, происходила 6 и 7 марта 1902 г.

LII. М. Ю. Ашенбреннер был освобожден из Шлиссельбурга 28 сентября 1904 г. «Сегодня три часа сданы ротмистру Провоторову арестанты Иванов и Ашенбреннер»,—телеграфировал (шифром) комендант Шлиссельбурга, полк. Яковлев, в корпус жандармов. Телеграмма его была подана, в 4 ч. 41 м. пополудни. В тот же день полк. Яковлевым был послан почтой рапорт об освобождении М. Ю. Ашенбреннера и В. Г. Иванова. «Доношу,—сообщал он там,—что сего числа ссыльно-каторжные государственные преступники Василий Иванов и Михаил Ашенбреннер сданы мною помощнику начальника С.-Петербургского губ. жанд. управл., ротмистру Провоторову для доставления их в С.-Петербург в Дом Предварительного Заключения, на основании предписания министра внутренних дел от 23 сентября сего года за № 12122».— Одновременно была освобождена и В. Н. Фигнер.

LIII. Настоящий очерк, посвященный характеристике Л. А. Волькенштейн, был помещен первоначально в журнале «Голос Минувшего» за 1914 г., № 1. В Шлиссельбург Л. А. Волькенштейн была доставлена 12 октября 1884 г. В то время ей исполнилось 27 лет. Освободили ее из Шлиссельбурга в 1896 г., отправив на Сахалин. Дорогой ей пришлось задержаться в ожидании парохода в Одессе. Здесь, сидя в одесской тюрьме, Л. А. Волькенштейн написала свои воспоминания о Шлиссельбурге, вскоре вышедшие заграницей под заглавием: «Тринадцать лет в Шлиссельбургской крепости». О ее пребывании в Шлиссельбурге существует ряд статей и заметок. Общая характеристика Волькенштейн дана в книге В. Н. Фигнер: «Шлиссельбургские узники», где о ней есть специальная глава, и в книге: «Когда часы жизни остановились» (глава: «Тюрьма дает мне друга»). См. также статью о ней С. А. Иванова в «Галлерее шлиссельбургских узников», т. I. В Шлиссельбурге Л. А. Волькенштейн вела неустанную борьбу с администрацией и была у нее на дурном счету. В ведомостях по поведению об ней («арестантка № 12») все время встречаются неодобрительные отзывы. Об этой стороне жизни Л. А. Волькенштейн в Шлиссельбурге см. подробнее у М. Р. Попова в воспоминаниях, помещенных в «Голосе Минувшего» за 1918 г., № 4—6.

LIV. В марте 1889 г. в Шлиссельбург привезен был Б. Д. Оржих, осужденный на бессрочную каторгу, но арестован он был еще в начале 1886 г., т. е. за год ранее участников дела 1 марта 1887 г. К тому же, Оржих, подав прошение о помиловании (и даже скрыв это от соузников), сам исключил себя этим актом из среды «товарищей», о которых пишет М. Ю. Ашенбреннер. — В 1898 г. Оржих, неожиданно для других, был увезен из Шлиссельбурга и поселен на Дальнем Востоке. После октября 1903 г. он эмигрировал в Японию. В Нагасаки он издавал газету «Воля», эс-эрсвского направления, и обратился в Ц. К. партии с просьбой зачислить его в число ее членов. В этом ему было отказано.—Ред.

Список офицеров, обвинявшихся в участии в „Военной организации“. Приговоры.

Обвиняемые, принадлежащие к военным кружкам преступного сообщества, привлеченные к дознанию, производимому генерал-майором Середой [1]).

I. МИНГРЕЛЬСКИЙ ГРЕНАДЕРСКИЙ КРУЖОК.

1. *Алиханов*, Николай Александров, поручик, 28 лет.
2. *Анисимов*, Федор Петров, поручик, 28 лет, обвинялся кроме того в побеге со службы и в растрате казенных денег.
3. *Антонов*, Александр Павлов, поручик, 33 лет. (В Казанской лечебнице душевно-больных.)
4. *Вачнадзе*, князь Леван Александров, штабс-капитан.
5. *Держановский*, Владимир Людвигов, штабс-капитан, 29 лет.
6. *Липпоман*, Иосиф Фелицианов, штабс-капитан, 26 лет.
7. *Макухин*, Александр Григорьев, капитан, 36 лет.
8. *Митник*, Яков Епифанов, поручик, 26 лет.
9. *Цицианов*, Арчил Иванов, поручик.

Привлечены к ответственности по обвинению в принадлежности к образовавшемуся в видах социально-революционной пропаганды среди офицеров Мингрельского полка тайному кружку. Дальнейшим дознанием и откровенными показаниями некоторых офицеров помянутого полка, и, между прочим, Анисимова и Антонова, выяснено, что государственные преступники Дегаев, Чернявская и Корба принимали непосредственное участие в организации кружка военных и снабжали их произведениями революционной печати. Члены кружка сходились на сходки, на которых обсуждался план действий кружка, при чем Анна Корба читала программу Исполнительного Комитета, принятую кружком в основу будущей своей деятельности. В частности установлено, что Анисимов проживал по подложному паспорту, коим его снабдил Дегаев, принял предложение последнего устроить тайную типографию и находился в постоянных сношениях с Чернявскою.

[1]) Из VI «Обзора важнейших дознаний, производившихся в Жандармских Управлениях Империи с 1 января по 1 июля 1883 г., по делам о государственных преступлениях».

II. ОДЕССКИЙ ВОЕННЫЙ КРУЖОК.

10. *Ашенбреннер*, Михаил Юлиев, подполковник, 40 лет.

Состоя в непосредственных сношениях с Верой Фигнер, Ашенбреннер организовал военно-революционные кружки в г. Николаеве среди армейских и флотских офицеров, снабжал их революционными изданиями и поддерживал сношения между собой. Устроив, затем, конспиративную квартиру, он познакомил офицеров, вошедших в состав кружков, с осужденным впоследствии в каторжные работы за государственные преступления Буцевичем, а также и Фигнер, которые и способствовали сплочению помянутых кружков. Находясь в Одессе, Ашенбреннер стремился сблизить Николаевские кружки офицеров с Одесским кружком. С этою целью, вызвав нижеупоминаемых обвиняемых Ювачева и Талапиндова в Одессу, Ашенбреннер устроил сходку офицеров, которым Дегаев и Спандони излагали программу дальнейших действий революционного сообщества, именующегося «партией Народной Воли».

11. *Каменский*, Михаил Николаев, поручик, 32 лет.

Привлеченный к дознанию по обвинению в принадлежности к Одесскому военному кружку, Каменский, признав себя в том виновным, показал, что кружок, к коему он принадлежал, действовал по программе Народной Воли, состоящей в том, чтобы в виду ожидаемого народного восстания стать на сторону народа, а до того времени заниматься организационной работой и периодически вносить в кассу кружка деньги для нужд и потребностей преступного сообщества.

12. *Крайский*, Болеслав Антонов, штабс-капитан, 28 лет.

Принадлежа к Одесскому военному кружку, Крайский находился в непосредственных сношениях с государственной преступницей Верой Фигнер и вел шифрованную переписку с лейтенантом Буцевичем. После побега обвиняемого в государственном преступлении Дегаева укрывал его на своей квартире. По обыску у Крайского найдены адреса членов Кронштадтского военного-революционного кружка для сношений, пересылки денег и преступных изданий.

13. *Мураневич*, Иринарх Федосеев, поручик.

14. *Стратанович*, Федор Васильев, поручик.

Во время пребывания Веры Фигнер в Одессе Стратанович находился с нею в близких сношениях, вступил в члены революционного сообщества и принадлежал сначала к составу преступного военного кружка в Николаеве, а потом—в Одессе; после побега государственного преступника Дегаева Стратанович укрывал его на своей квартире и сопровождал его до Николаева.

15. *Телье*, Павел Иосифов, поручик.

По показанию Крайского принадлежал к преступному военному кружку, образовавшемуся в Одессе.

16. *Чижов*, Дмитрий Иванов, штабс капитан.

Принадлежа к военному кружку в Одессе, Чижов укрывал в течение нескольких дней на своей квартире бежавшего 14-го января с. г. государственного преступника Дегаева.

III. НИКОЛАЕВСКИЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ КРУЖОК.

17. *Афанасьев*, Александр Дмитриев, мичман.

Вступил в члены тайного кружка, образовавшегося среди морских офицеров в г. Николаеве и принявшего программу Исполнительного Комитета Народной Воли, посещал устраиваемые кружком сходки, на которых обсуждался план действий кружка, и делал пожертвования и взносы на революционное дело вообще и в частности для найма конспиративной квартиры.

Ашенбреннер, Михаил Юлиев, подполковник, 40 лет.

(См. Одесский военный кружок.)

18. *Бубнов*, Владимир Александров, мичман, 25 лет.

Привлечен к ответственности по обвинению в принадлежности к Николаевскому морскому кружку. Примкнув к этому кружку в августе 1882 г. через посредство обвиняемого Ювачева, Бубнов принимал участие в сходках кружка и делал денежные взносы на его потребности. Между прочим, после сделанного на одной из сходок предложения добыть денежные средства для нужд «партии» путем кражи из какого-либо государственного учреждения, Бубнов расспрашивал одного из офицеров, живущего в доме Отделения Государственного Банка в Николаеве, об устройстве кладовой. Затем, привезя

в Петербург от Ювачева шифрованное письмо его к одному из единомышленников, Бубнов участвовал в его расшифровании.

19. *Скаловский*, Дмитрий Николаев, лейтенант, 28 лет.

20. *Толмачев*, Николай Дмитриев, лейтенант, 26 лет.

Посещали сходки кружка, делали периодические взносы в кассу и читали на сходках преступные издания.

21. *Ювачев*, Иван Павлов, прапорщик, 23 лет, сын придворного полотера.

Был одним из главных организаторов военно-морского революционного кружка в Николаеве, завязывал сношения с подобными же кружками в других городах и вел со своими единомышленниками шифрованную переписку. На основании этих данных Ювачев привлечен к дознанию о военных кружках революционного сообщества в качестве обвиняемого и признал себя в том виновным.

22. *Янушевский*, Сергей Иванов, лейтенант, 26 лет.

IV. КРОНШТАДТСКИЙ ВОЕННЫЙ КРУЖОК.

23. *Дружинин*, Владимир Павлов, мичман, 23 лет.

24. *Завалишин*, Федор Иванов, мичман.

25. *Куприянов*, Александр Андреев, лейтенант, 30 лет.

26. *Прокофьев*, Алексей Александров, подпоручик, 24 лет.

При обыске у него найдены: «Что делать?» Чернышевского и «La Lanterne»—Анри Рошфора.

27. *Прокофьев*, Александр Александров, подпоручик, 28 лет.

Найдена тетрадь возмутительного содержания.

28. *Папин*, Василий Иванов, подпоручик, 28 лет.

Был в сношениях по делам кружка с государственной преступницей Верой Филипповой (Фигнер).

V. НИКОЛАЕВСКИЙ АРМЕЙСКИЙ КРУЖОК.

29. *Заинчневский*, Петр Васильев, капитан.

30. *Кирьяков*, Николай Андреев, подпоручик, 25 лет.

31. *Мицкевич*, Адольф Иванов, штабс-капитан, 35 лет.

32. *Маймескулов*, Николай Иосифов, капитан, 38 лет.

33. *Талапиндов*, Николай Степанов, штабс-капитан, 32 лет.

Привлеченный к дознанию по обвинению в принадлежности к военному кружку революционного сообщества в Николаеве, Талапиндов признал себя в том виновным и дал откровенное показание, коим, в связи с обстоятельствами дела, он вполне изобличается. Талапиндов, между прочим, был в сношениях с кружком флотских офицеров и предпринимал поездки в Одессу и Харьков для соглашений с руководителями революционного движения.

34. *Успенский*, Иван Иванов, подпоручик.

Ашенбреннер, Михаил Юльев, подполковник, 40 лет.

VI. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОЕННЫЙ КРУЖОК.

35. *Рогачев*, Николай Михайлов, поручик, 27 лет, брат государственного преступника Дмитрия Рогачева, осужденного в каторжные работы на 10 лет.

Обвиняется в принадлежности к центральному военному кружку революционного сообщества, при чем собственным сознанием изобличается в сношениях с членами партии Народной Воли, в особенности с Верой Фигнер, в организации террористического кружка для убийств должностных лиц и освобождения из-под стражи государственных преступников.

36. *Похитонов*, Николай Данилов, штабс-капитан, 26 лет.

Состоя в Артиллерийской Академии, обратил на себя внимание частым посещением врача Мартынова, одного из арестованных зимою 1881—1882 г.г. членов кружка действовавших в Петербурге террористов. С тех пор Похитонов находился под негласным надзором; обвиняется в принадлежности к центральному военному кружку.

VII. ОБВИНЯЕМЫЕ В ДРУГИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ.

37. *Тиханович*, Александр Пахомов, подпоручик, 27 лет, проживал в Киеве.	Обвиняется в принадлежности к тайному сообществу, именующемуся партией «Народной Воли», и в том, что, будучи начальником караула в Киевской тюрьме, освободил содержавшегося в оной государственного преступника Василия Иванова.
38. *Сенягин*, Николай Григорьев, сотник Астраханского казачьего полка, 27 лет.	Обвиняется в сношениях с принадлежащими к революционному сообществу Рогачевым, Похитоновым и Верой Фигнер, с которой находился в переписке по предмету предположенного съезда их в г. Кобеляках. Независимо сего Сенягин принял сделанное ему от имени Исполнительного Комитета предложение организовать террористический кружок для убийств должностных лиц. Готовый, по словам Рогачева, приступить к исполнению возложенного на него поручения, Сенягин ожидал лишь назначения ему соучастников.
39. *Фомин*, Матвей Павлов, хорунжий Донского Казачьего полка 27 лет.	Привлечен к дознанию об Ашенбреннере и Талапиндове, в виду установленных преступных с ними сношений, а также в виду знакомства с Верой Фигнер, отзывавшейся о нем как о человеке, готовом к революционной деятельности.
40. *Шепелев*, Сергей Никитин, поручик, 26 лет.	В бытность свою на службе в Гельсингфорсе, Шепелев находился в близких сношениях с большинством обвинявшихся в то время в государственных преступлениях лиц и в особенности с главным обвиняемым Сикорским. Дознанием о преступном кружке Мингрельских офицеров выяснено, что государственная преступница Анна Корба познакомила членов кружка с приехавшим в Тифлис артиллерийским офицером, назвавшимся Кавелиным и впоследствии оказавшимся Шепелевым. Означенный Шепелев, присутствуя на сходках кружка, произносил возмутительные речи, приглашая слушателей к участию в деятельности преступного сообщества и к участию в подготовляемом народном возмущении.

Дознание об офицерах, привлекавшихся по делу Военной Организации и не судившихся 28 сентября 1884 г. (Рогачев, Штромберг, Ашенбреннер, Похитонов, Тиханович, Ювачев), разрешено было 30 июля 1884 г. административным порядком.

Высланы были в Вост. Сибирь на *пять* лет: Б. Крайский, Дм. Чижов, Ф. Стратанович, Ад. Мицкевич, Ник. Сенягин.

В Зап. Сибирь на 4 *года:* В. Папин, Ф. Завалишин, Н. Кирьяков, М. Фомин. Подчинены гласному надзору полиции в выбранных ими губерниях на *три* года: И. Успенский, П. Заинчневский, Н. Маймескулов, Н. Толмачев, В. Бубнов, С. Янушевский, Д. Скаловский, П. Телье, М. Каменский.

На *два* года—Н. Талапиндов.

На четыре года, вне местностей, объявленных на положении усиленной охраны, Ир. Мураневич, на два года Д. Попов.

По Гельсингфорсскому кружку Павел Сикорский—выслан в Вост. Сибирь на пять лет (и Александр Львович Блек—студент Петербургского университета—на пять лет в Зап. Сибирь), на три года гласного полицейского надзора, вне местности усиленной охраны, Прок. Кашинский и Николай Тарасов.

По делу Мингрельского полка выслан в Зап. Сибирь на 3 года С. Шепелев; вменено предварительное заключение и подчинены гласному надзору полиции на три года в местах, избранных ими для жительства: А. Антонов, Н. Апихалов, А. Цицианов и И. Липпоман; на два года: А. Макухин, В. Держановский; на один год: Л. Вачнадзе и Я. Митник. По отношению к Федору Петр. Анисимову дознание прекращено—«в виду услуг, оказанных им при дознании».

Сведений о дальнейшей судьбе остальных офицеров, привлеченных к следствию о Военной организации Н. В., найти не удалось.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ.

ОГЛАВЛЕНИЕ.


ОБЩЕСТВО БЫВШИХ
ПОЛИТИЧЕСКИХ
КАТОРЖАН И ССЫЛЬНО:
ПОСЕЛЕНЦЕВ